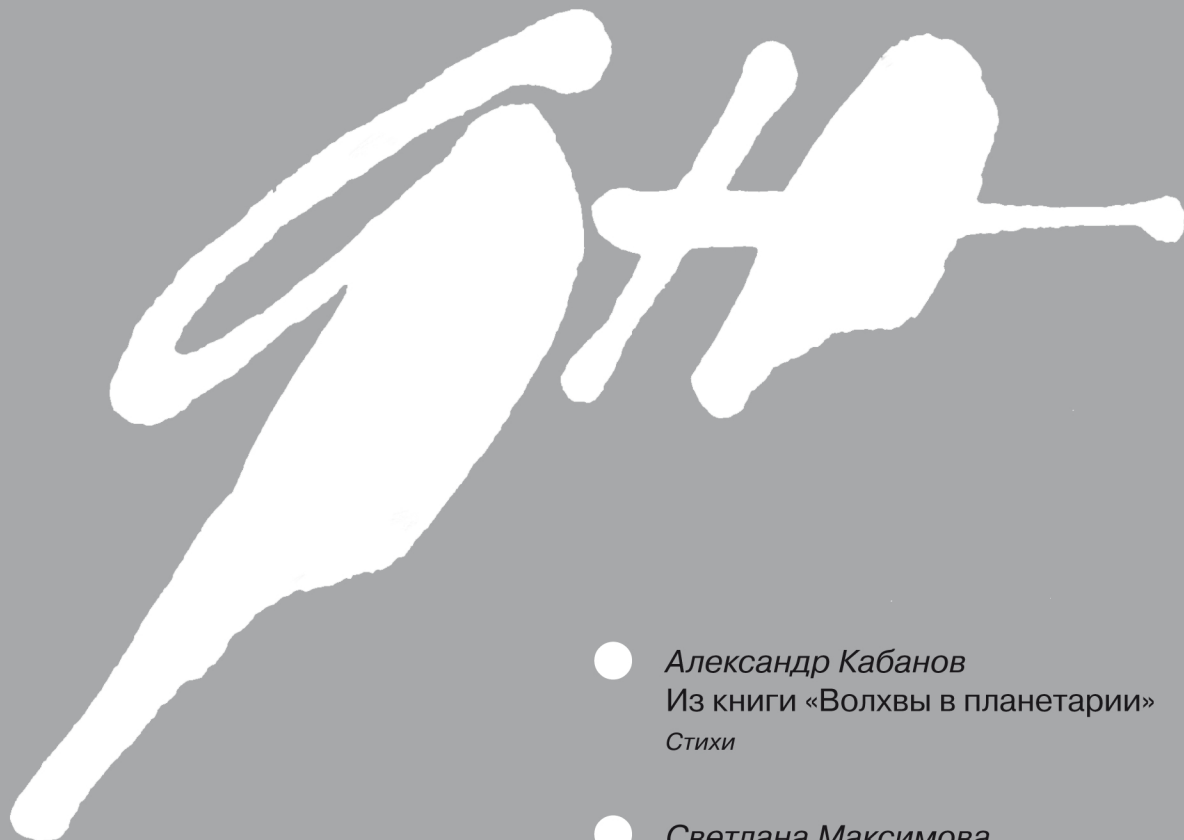


ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 7/2014



7'2014

- *Александр Кабанов*
Из книги «Волхвы в планетарии»
Стихи
- *Светлана Максимова*
Колибри-блюз
Венесуэльские хроники
- *Ветер с Гудзона*
Антология современной
русской поэзии Америки
- *Александр Бушковский*
Как сплести канатик
Рассказ
- *Юрий Каграманов*
Призрак Закона

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2014.
Подписано в печать 25.06.2014.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7.
Уч.-изд. л. 18,63. Тираж 2000 экз.
Заказ 6035. Цена свободная.

Дружба народов

7'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ
Лев
АННИНСКИЙ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА
Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Резо
ГАБРИАДЗЕ
Алла
ГЕРБЕР
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Александр
КЛЯЧИН
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр КАБАНОВ. Из книги «Волхвы в планетарии». Стихи	3
Светлана МАКСИМОВА. Колибри-блюз. Венесуэльские хроники	6
Ветер с Гудзона. Антология современной русской поэзии Америки. Геннадий КАЦОВ; Ирина МАШИНСКАЯ; Филипп НИКОЛАЕВ; Хельга ОЛЬШВАНГ; Давид ПАТАШИНСКИЙ; Наталья РЕЗНИК; Григорий СТАРИКОВСКИЙ; Александр СТЕСИН; Елена СУНЦОВА; Алексей ЦВЕТКОВ; Владимир ЭФРОИМСОН. Окончание	89
Александр БУШКОВСКИЙ. Как сплести канатик. Рассказ	108
Ирина КОТОВА. Всюду время. Стихи	116
Ирина БАТАКОВА. Масуд. Рассказ	119

События. Суждения. Судьбы

Игорь БОГАЦКИЙ. Полный камуфлет. Заметки геолога. Вступительная заметка Евгения Попова	132
---	-----

Золотые страницы «ДН»

Ярослав СМЕЛЯКОВ. Стихи и переводы	155
Матвей ГРУБИЯН. Море. С еврейского. Перевод Ярослава Смелякова	160
Евгений АБДУЛЛАЕВ. Дети «Детей» (Анатолий Рыбаков. «Дети Арбата»)	160

Нация и мир

Алие АЛИЕВА. Очерки былой и теперешней жизни крымской татарки из Узбекистана	163
Александр ЗОРИН. Табгха — далекая и близкая	176

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. Призрак Закона	193
---------------------------------------	-----

Критика

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ Никита ТРОФИМОВИЧ. Не хочу числиться ни героем, ни жертвой	212
--	-----

Культурная хроника

Галина ЗАЙНУЛЛИНА. Да, тюрки — мы! Да — театралы!	223
---	-----

Эхо

Портрет Дориана Уайльда. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	237
Summary	240

Александр Кабанов

Из книги «Волхвы в планетарии»

* * *

Володе Ткаченко

День гудел, не попадая в соты,
и бельё висело на столбах,
так висят классические ноты,
угадай: кальсоны или Бах?

Воздух был продвинутый, красивый,
и неописуемый пока,
пахло псиной и поддельной ксивой,
молодильным яблоком греха.

Пепел ударения сбивая,
я уснул в беседке у ручья,
мне приснилась родина живая,
родина свободная, ничья.

Осень, где подсолнухи одеты
в джинсовое небо с бахромой,
поступают гопники в поэты
и не возвращаются домой.

Кабанов Александр Михайлович — поэт. Родился в 1968 г. в Херсоне. Окончил журфак Киевского университета им. Т.Г. Шевченко. Автор 10 книг стихов, организатор поэтического фестиваля «Киевские лавры», главный редактор журнала культурного сопротивления «ШО». Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» и многих других. Живет в Киеве.

Летки

Затеял снег — пороть горячку,
солить дрова, топить аптечку,
коты впадают в речку Спячку,
а что поделать человечку?

А женщины — не пахнут домом,
они молчат пасхальным басом,
уходят с офисным планктоном,
рожают с креативным классом.

Пить самогон и лузгать семки,
включить планшет, отфрендить брата,
и солнце, как жетон подземки —
едва пролазит в щель заката.

Так что поделать человечку:
обнять кота, спасти планету,
разрушить храм, и Богу свечку
поставить — эту или эту?

* * *

Мой глухой, мой слепой, мой немой — возвращались домой:
и откуда они возвращались — живым не понять,
и куда направлялись они — мертвецам наплевать,
день — отсвечивал передом, ночь — развернулась кормой.

А вокруг — не ля-ля тополя — заливные поля,
где пшеница, впадая в гречиху, наводит тоску,
где плывёт мандельштам, золотым плавником шевеля,
саранча джугашвили — читает стихи колоску.

От того и смотрящий в себя — от рождения слеп,
по наитию — глух, говорим, говорим, говорим:
белый свет, как блокадное масло, намазан на склеп,
я считаю до трёх, накрывая поляну двоим.

Остаётся один — мой немой и не твой, и ничей:
для кого он мычит, рукавом утирая слюну,
выключай диктофоны, спускай с поводков толмачей —
я придумал уют, чтоб загладить чужую вину.

Возвращались домой: полнолуния круглый фестал,
поджелудочный симонов — русским дождём мороса,
это низменный смысл — на запах и слух — прирастал
или образный строй на глазах увеличивался?

* * *

Хмели-сунели-шумели, хмели-сунели-уснули,
и тишина заплеталась, будто язык забулдыги,
к нам прилетали погреться старые-добрые-пули,
и на закате пылали старые-добрые-книги.

Крылья твои подустали, гроздья твои недозрели,
йодом и перламутром пахнут окно и створка,
хмели мои печали, хмели мои б сумели,
если бы не улитка — эта скороговорка.

* * *

Съезжает солнце за Ростов, поскрипывая трёхколёсно,
и отражения крестов — в реке колеблются, как блёсна,
закатный колокол продрог звенеть над леской горизонта,
а это — клюнул русский бог, и облака вернулись с фронта.

Мы принесём его домой и выпустим поплавать в ванной:
ну, что ж ты, господи, омой — себя водой обетованной,
так — чешую срезает сеть, так на душе — стозевно, обло,
не страшно, господи, висеть — промежду корюшкой и воблой?

Висеть в двух метрах от земли, а там, внизу — цветёт крапива,
там пиво — вновь не завезли, и остаётся — верить в пиво.

* * *

В стеклянных скобках — граппа,
чья участь решена,
какой ты — римский, папа, —
мне говорит жена.

А я смотрю на сына,
на свой любимый крест,
как — сохнет древесина,
как он — спагетти ест.

* * *

Был четверг от слова «четвертовать»:
а я спрятал шахматы под кровать —
всех своих четырёх коней,
получилось ещё больней.

Вот испили кони баюн-земли,
повалились в клетчатую траву,
только слуги царские их нашли,
и теперь — разорванный я живу.

Но, когда приходят погром-резня,
ты — сшиваешь, склеиваешь меня,
в страшной спешке, с жуткого бодуна,
впереди — народ, позади — страна.

Впереди народ — ядовитый злак,
у меня из горла торчит кулак,
я в подкову согнут, растянут в жгут,
ты смеешься: и наши враги бегут.

Светлана Максимова

Колибри-блюз

Венесуэльские хроники

Пролог

Вот уже три месяца я покачиваюсь в кресле-качалке между кокосовой пальмой и деревом папайи, которую здесь называют лечосой. А само экзотическое «здесь» довольно сонно отражается в плотно прикрытой стеклянной двери одной из улиц маленького венесуэльского городка Пунто-Фихо. Улица называется Санта-Ирена, и названа хозяином дома в честь своей младшей дочери Ирины. Он всю жизнь старался превратить это венесуэльское захолустье в город — строил дороги, мосты, называл улицы именами своих детей.

— Жизнь прошла. Захолустье осталось захолустьем...

Это говорит он — высокий костлявый старик, сидящий у моих ног на маленькой скамеечке. Даже сложенный втрое, на этой скамеечке он достаточно высок, чтобы сидеть со мной лицом к лицу и ревниво контролировать нажатие кнопки диктофона. Ему восемьдесят лет и у него феноменальная память. Он выписал меня из-за океана, оплатил заграничный паспорт, визу, билет и бесконечное пребывание в этом кошмарном городе только для того, чтобы день за днем рассказывать все, что происходило с ним от рождения до именно этого мгновения, когда я сижу перед ним и нажимаю на кнопку диктофона. Я думаю, вечность нам гарантирована — по крайней мере, как только он решится на это странствие. Но вот уже три месяца старик никак не может приступить к работе. Он зависает, как компьютер, на одной и той же истории, все не решаясь рассказать ее. В результате на диктофон записываются одни междометия, вздохи и птичий щебет тропического сада. Дремота одолевает меня, но тут кончается кассета в стареньком диктофоне. Я протягиваю руку за новой...

И вдруг какое-то радужное пятно бросается мне в лицо с нависшей ветки

Максимова Светлана Борисовна — поэт, прозаик, музыкант. Родилась в г. Харькове (Украина). Окончила Литературный институт им. А.М. Горького (1987 г.). Печатается в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Грани» и др. Автор 4-х книг стихов. Руководитель музыкально-поэтической группы «Этно-миф». Живет в Подмоскowie.

И вдруг какое-то радужное пятно бросается мне в лицо с нависшей ветки папайи. Резко отпрянув, я тут же понимаю, что кто-то передвинул кресло-качалку, и осознаю это, уже ударившись затылком о ствол дерева.

Он поднял глаза на маленькую радужную птичку, зависшую между нами и пожал плечами.

— Это колибри, — объяснил он. — Она так летает. И без всякого перехода повторил: — Она так летает... Она тоже так говорила. Только это была не колибри, конечно. Какие колибри в Европе. Это была стрекоза. Но, в принципе, они чем-то похожи. Когда кружат, крыльев почти не видно. В университете она училась на биологическом. Говорила — в Ленинграде. Тогда я даже повторить за ней этого не мог — в Ленинграде. А теперь ничего. Получается. И он опять повторил: — В Ленинграде... — Потом вдруг бесцветным, ничего не выражающим голосом: — В Санкт-Петербурге у моего деда было тридцать домов... Помолчал и опять уже прежним тоном:

— На биологическом училась. Так говорила. Про птиц все знала. И про насекомых тоже. Хотя многое придумывала. Я потом уточнял.

Он говорил уже как-то странно отрывисто. Сухо, как будто отвечая на вопросы, которые слышал он один. Как будто на допросе. И выжидал одну-две минуты после каждой фразы, словно выслушивая следующий вопрос.

— А увидел ее в первый раз так. Она сидела на корточках и пропускала землю сквозь пальцы: выискивала что-то, ну, муравьев хотя бы, или личинки какие-нибудь. Хотя там, на этой *территории*, давно уже ничего не могло быть.

Мне не понравилось это слово — территория. И то, как он произнес его, слегка оскалив зубы.

— Но она все равно сидела там часами и пропускала землю сквозь пальцы. И что-то все-таки находила. И это «что-то» похрустывало у нее на зубах. На стрекозе мы и познакомились. Она попросила поймать ей эту стрекозу. Ну как — попросила... Пальцами показала издалека. Стрекоза как раз на колючую проволоку присела. А я мимо проходил... Я снял эту стрекозу и тут же испугался, что она съест ее прямо при мне, у меня на глазах. А она уже рядом была, тут как тут. Посмотрела мне в глаза и поняла. Усмехнулась — не бойся, не буду. И только когда я передавал ей эту стрекозу, заметил, что та сухая совсем. Потому и рассыпалась сразу в руках. И тогда только она заплакала. Очень ей хотелось эту стрекозу. Для чего-то другого хотелось. — Он сделал паузу, на этот раз довольно большую, но потом все же продолжил: — Я уже говорил: нас хотели забросить в тыл русской армии с Белорусским полком, но мы застряли под Краковом, в городке, который назывался Могила.

Диктофон в моей руке дрогнул, но старик покачал головой — не включай. Глаз он уже не поднимал, и только внимательно смотрел на руку с выключенным диктофоном.

— Да, вот так и назывался: Могила. Там как раз и был лагерь русских военнопленных, рядом с немецким аэродромом. Я точно помню: это было в августе 1943 года. И мы застряли там, под Краковом, в городке Могила, — ему словно нравилось вновь и вновь произносить название этого городка. — И тогда нас устроили в лагерь военнопленных на разные должности.

Меня поразило, как он это сказал: «Нас устроили в лагерь военнопленных на разные должности». Как будто на какое-нибудь очень престижное место и по большому знакомству. И действительно, он тут же добавил:

— Нас устроили благодаря связям Национально-Трудового союза.

И стал говорить совсем иначе — длинной скороговоркой, уточняя даты и города, и еще раз повторяя сказанное. Я решила, что лирика уже закончилась и хотела включить диктофон, и вдруг он сказал: — Жену свою я очень любил. Но она в то время была в Будапеште... Она устраивалась в немецкий шпионаж...

Он закашлялся. И откашливался очень долго.

«Ну, теперь уже все», — подумала я. И включила диктофон. Этот старик так на меня посмотрел! Боже правый! Никогда в жизни на меня никто так не смотрел! Я тут же еще раз нажала кнопку, и отбросила этот диктофон, чуть ли не как гремучую змею. С края стола он скатился прямо в клумбу с розами какого-то странного телесного цвета. Старик, кряхтя и вздыхая, полез в розы, и, обдираясь шипами, достал диктофон.

— Любую вещь нужно беречь, — назидательно сказал он, передавая *вещь* мне в руки.

— Да все равно пленка уже закончилась, — нашлась я.

И тут он опять заговорил. Он говорил еще более странно, чем прежде. Все более сухо. Отрывисто. Удлиняя паузы. Он говорил почти что ни о чем. О каких-то травинках, букашках. О птицах. О них особенно много. Произносил какие-то экзотические названия этих птиц. Я никогда бы не смогла даже повторить их, не то что запомнить. А он запомнил их все там, в концлагере для военнопленных, пристроенный на престижную должность.

— Вот уж никогда не думал, что окажусь в Южной Америке и всех их увижу, этих птиц... — сказал он и впервые улыбнулся. И уже с улыбкой, все более странной: — Но она была почти ребенок. Какой там университет. Ну, разве что только поступила. И сразу завербовалась. А про птиц еще в школе, наверное, читала. Готовилась на биологический факультет... Но то, что ребенок, точно. Расплакаться только из-за того, что стрекоза рассыпалась...

Он делал паузы словно для того, чтобы давно прошедшие события успевали происходить вновь в промежутках между констатацией каких-то единичных деталей, мелочей по сути дела. И при этом все время следил, чтобы я не нажала на клавишу «play», словно на пленке все сокрытое, не произнесенное, могло развернуться в полном объеме.

— Странная она была какая-то. Я, конечно, стал ей еду приносить всякую, по мере возможности, что мог и как мог. Там же все это сложно было... Я рисковал. А она, ты представляешь, однажды попросила... Розу! Ты можешь себе это представить?! Это что-то неправдоподобное!.. — Он посмотрел на меня совершенно ошарашенными глазами. — Да еще говорит, чтобы не красную, и не белую, и не желтую, а такую — телесную. Вот как эти. — Он показал на клумбу. Я почему-то с опаской посмотрела на эти цветы. — Она же совсем не могла без этого! Даже там! Понимаешь — без этого!

Такое откровенное признание после всех недомолвок и полунамеков

смutilo меня. Я посмотрела на розы и стала нервно накручивать короткую прядь на палец — в смятении это у меня случалось само собой.

— Да нет! Не это! — вдруг вскричал он. — Ты не поняла. Я хотел сказать, что она совсем не могла без этого... Ну, как бы это сказать, без того, чтобы... Ну, чтобы что-то было!

Он откровенно мучился, но все же не мог произнести это слово. И если бы я произнесла за него, вряд ли ему это бы помогло. Он должен был произнести его сам. Но он не мог.

— Я поняла... — мне хотелось хоть как-то помочь ему.

— Да нет! Ты не понимаешь! — никак не мог успокоиться он. — Эта роза... Она хотела, чтобы что-то было! Ведь там же ничего не было. Там специально так было сделано... Чтобы человек не мог. А человек может... Потому и высмотрела меня со стрекозой. Вот розы, видишь? — и он указал на клумбу. — Это я для нее посадил.

— Так значит она здесь? Вы вместе сбежали в Южную Америку!

Какой камень свалился с моей души! Наконец-то «хеппи энд»!

— Дура! Дура! — вдруг закричал он. — Ты такая же дура, как она. Ты и похожа на нее. Ты думаешь, почему я тебя держу здесь?! Потому что ты на нее похожа! И тощая такая же! Я тебя кормлю! Кормлю! А ты все тощая и тощая! Ты почему не поправляешься?! Хочешь ноги протянуть от этой лихорадки? Где ты только подхватила ее на мою голову! — Он вдруг осекся на полуслове и замер, мучительно всматриваясь куда-то. Я проследила за его взглядом — и ничего не увидела, кроме радужно мерцающего пятна колибри...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

— Начну с того, что я родился в Одессе 16 октября 1916 года. Отец мой — потомственный дворянин и боярин вольного города Пскова, и в моей метрике так и значится: «поручик Афанасий Брулкин, потомственный дворянин, отец Дмитрия Брулкина...»

Он откашлялся и неожиданно заметил: «Слава Богу, все обошлось! Не знаю, чем эти местные лечат лихорадку, но шаман здесь надежнее, чем врач».

Я промолчала, красноречиво показывая на включенный диктофон. Старик использовал любую возможность увильнуть от работы над мемуарами. История Брулкиных по-прежнему оставалась для меня тайной за семью печатями.

Это что же получается?! — недоумевала я. — По его собственному приглашению я перелетела через Атлантику, пересекла Венесуэлу в автобусе, петляющем через горы и джунгли, подхватила в пути какую-то диковинную форму местной лихорадки... И вот теперь — после всего! — всеми силами пытаюсь выполнить свой долг, нажимая на кнопку диктофона, а слышу только: «Итак, я родился в Одессе!»

Он родился в Одессе! Ну что ж, это уже немало! Правда, он там родился раз сто пятьдесят за последние три месяца — на всех пленках звучит только одна эта фраза, не считая, конечно, звуков самого тропического сада сеньора Деметрио — всех его шумов и голосов — птичьих, обезьяньих и человеческих...

О, сад старого эмигранта! Он стоил того, чтобы остаться в вечности!

Мы сидели в саду, где в тени большой кокосовой пальмы подрагивали кресла-качалки. Покачиваясь в кресле, я наблюдала, как диктофон дрожит в его крупной, благородно выточенной руке, не тронутой старческой дряхлостью. На медленно ползущую пленку записывались крики попугаев и обезьян, обитающих в огромных клетках у соседей и безобразно солирующих в благозвучном птичьем хоре. Изредка раздавался детский голос Кейлы, девочки-служанки, поливающей цветы из длинного резинового шланга. А когда она направляла струю воды на мохнатый ствол пальмы, смывая очередную колонию муравьев, на пленку записывался еще и плеск воды, и может быть даже эта внезапная радуга на стыке воды и солнца. И уж конечно там, на пленке, оставался ветер, неустанный тропический ветер, царящий на полуострове Парагвана, как сам Кецалькоатль¹, разбушевавшийся на карнавале...

Он налетал внезапно... Он приносил звуки из любого конца города... Он был способен вырывать рамы из окон и срывать одежду с мирных прохожих, закручивая в вихри все, что удалось утащить, и только здесь, в саду у сеньора Деметрио, казалось, смирал свои порывы. Здесь он не безумствовал, а вдохновенно шумел кронами, смешивая в безумный джаз — крики попугаев, обезьян, детскую песенку Кейлы, плеск воды и разговор, доносящийся с кухни:

— Звонили с вокзала. Они уже выехали.

— И все-таки я не понимаю, почему съезд старых русских кадетов нужно проводить именно здесь, в Пунто-Фихо!

Я так и не расслышала, что ответила служанка Чиля, потому что в соседском саду истошно заорали обезьяны, должно быть, не поделив очередной плод манго.

Сеньор Деметрио молчал. Пленка моталась вхолостую, расходуя драгоценные боливары, а я делала вид, что ничего не замечаю. Мне хотелось услышать все эти звуки дома в зимней Москве, там, где я обосновала свою мастерскую художника в небольшом деревянном доме барачного типа, который давно числился снесенным на карте Москвы, а на самом деле мирно сосуществовал рядом с дворцами и прудами заповедника Царицыно.

Я еще не знала, что возвратившись домой, в свою царицынскую мастерскую, яростно сотру все эти записи, и на то будет особая причина, о которой сейчас, покачиваясь в кресле-качалке в саду сеньора Деметрио, даже не догадываюсь. Но детский голосок Кейлы, простенькая песня на испанском языке останется в самом конце пленки после всех авангардных композиций моего близкого друга и любимого музыканта, запропавшего где-то на гастролях по Южной Америке. По всем срокам его концертный тур должен был уже докатиться до Венесуэлы, а я так и не получила ни одной весточки.

Вот что беспокоило меня больше всего. Я по-прежнему отправляла письмо

¹ Бог света и познания у древних майя.

за письмом на старый парижский адрес, откуда начинались его гастроли, хотя и понимала — скорее всего, там никого уже нет. Что поделаешь, сеньор Деметрио оказался ярым противником компьютеров, и ни о какой электронной почте не могло быть и речи.

Впрочем, даже если бы такая возможность мне и представилась — прорваться в двадцать первый век с его интернетом и прочими супервозможностями — сомневаюсь, что я смогла бы ею воспользоваться. Вот уже несколько дней в городе — а по слухам, и на всем полуострове — творилось что-то невообразимое: мобильная связь не действовала, телеантенны не ловили сигнал, и даже обычный телефон вместо внятной речи выдавал хрипы и короткие обрывки слов. По моим наблюдениям, это совпало с усилившимся ветром и, как ни странно, с началом местного карнавала, на который мне категорически запретили выходить. Все попытки выяснить причину столь странного табу с треском провалились.

Нет и все! Таков уж был нрав хозяина. Мне оставалось только, что называется, держать нос по ветру — прислушиваться и чуть ли не принохиваться к обрывкам домашних разговоров, пытаясь выяснить, что же здесь все-таки происходит.

— Сеньор! Сеньор! Опять звонят!..

Каждый раз наше ритуальное молчание с включенным диктофоном прерывал этот телефонный звонок. От служанок я уже знала, что в трубке ничего невозможно расслышать, невзирая на все крики и брань сеньора Деметрио: «Алло... Алло... Ну, говорите же... Что за осел молчит в трубку?!» И еще что-то на испанском, пока откуда-то издали сквозь треск и какой-то почти штормовой шум не доносилось краткое: «Маньяна...» Потом шли короткие гудки.

— По-моему, спрашивали все-таки сеньору Иванну, — пыталась доказать служанка Чилия, на что сердце мое тут же подсказывало, вспоминая о пропавшем приятеле. Я тянулась к телефонной трубке, но... Хозяин с непонятной мне яростью швырял трубку на рычаг.

— Нет! Он сказал «Маньяна», — упорствовал сеньор Брулкин. — Маньяна... — решительно повторял он, обращаясь ко мне. — Продолжим работу завтра. — Что и означало «маньяна».

«Завтра» повторялось то же самое — удовлетворившись тем, что он все-таки родился, причем именно в Одессе и подчеркнуто псковским боярином, новорожденный одессит с головой окунался в свою бесконечную переписку, посвященную грядущему съезду старых русских кадетов. Старым дедовским методом я переписывала под диктовку письма, адресованные в самые разные точки земного шара, и никак не могла понять, почему столь значительное событие в жизни эмигрантов решено отметить в таком захолустье, в самой что ни на есть тмударакани венесуэльской. И судя по отдельным репликам, доносящимся с кухни, я была не одинока в своем недоумении. А за обедом по этому поводу разгорелся настоящий спор.

О, этот обед, в час дня, ни минутой позже, ни минутой раньше! О нем стоит рассказать особо.

Длинный обеденный стол, покрытый белой скатертью, тянулся через всю гостиную. Он был рассчитан человек на двадцать, на обед же обычно собиралось несколько домочадцев, все тех же симпатичных старичков и старушек, что привечали меня в ресторанчике «Вилла Реаль» в день приезда.

Начиналась трапеза — и это было традицией — в полной тишине, которую обычно нарушала только я. Сложив руки рупором, я громко вопрошала, как вопиющий в пустыне:

— Дмитрий Афанасьевич!

— А? — прикладывал хозяин ладонь к уху.

То ли он и вправду был глух, то ли притворялся, когда это было выгодно, но в любом случае во время обеда включался кондиционер допотопной конструкции, гремющий, как самая шумная магистраль мира.

— Когда мы начнем работать? — надрываясь, кричала я через стол. — Прошло уже столько времени.

— Но ведь ты болела... И где ты только умудрилась подхватить эту лихорадку!

— Так значит нужно наверстывать упущенное.

— Вот и наверстывай! Пиши, что хочешь. Только оставь меня в покое!

— Вы что, хотите, чтобы я сама придумала вашу жизнь? — изумилась я.

— Но зачем же? Основное я тебе расскажу, что вспомню, конечно. Остальное придумаешь сама. Вот с остального можешь начинать прямо сейчас.

Сеньор Деметрио хохотал долго и со вкусом. Чувство юмора у хозяина было своеобразное — оно просыпалось в самые непредсказуемые моменты, и погружалось в глубокий сон тогда, когда ему, казалось бы, следовало бодрствовать.

— А вот, кстати, Дмитрий Афанасьевич, — решила я на еще одну попытку, — вы говорите, что родились в Одессе, а между тем считаете себя псковским боярином. Ведь вы же одессит, а не пскович.

— Если голубь родился в конюшне, это еще не значит, что он лошадь — тут же последовал ответ.

— А наш-то голубь совсем запропал, — неожиданно подала голос княгиня Прасковья. Она появилась в доме сеньора Деметрио совсем недавно, дня три назад, прибыв ко двору своего внучатого племянника после очередного паломничества по святым местам. Здесь, в Южной Америке, «паломничество по святым местам» звучало более чем странно. А если бы хоть кто-то из стариков, сидящих за столом, знал, насколько княгиня Прасковья похожа на мою двоюродную бабушку, христову невесту девственницу Параскеву, когда-то давным-давно, еще в моем далеком детстве, пропавшую в паломничестве по святым местам, им бы стало понятно, почему я с таким благоговейным ужасом взираю на эту, словно с неба упавшую, родственницу.

«Словно с неба упавшая» — это были слова самого сеньора Деметрио, воспринимавшего княгиню Прасковью с не менее благоговейным почтением.

— Снился он мне, снился, — продолжала княгиня Прасковья, — а теперь и сниться перестал. — Заезжала я к нему на остров Маргарита, да никого там не нашла: ни хозяина, ни яхты его. Только вот шаль эта валялась на кресле. Видно,

женщина у него была. — И она достала из своей котомки шерстяную, вязаную крючком — да-да, именно эту! — темно-вишневую шаль.

— Батюшки мои! — вскрикнула вдруг Татьяна Афанасьевна, младшая сестра хозяина. — Да это же Люнина шаль!

— Точно, ее, — мрачно подтвердил сеньор Деметрио.

— Значит, Люня все-таки приняла опекунов над Иннокентием. Почему же она не ответила ни на одно письмо? Ты, Димочка, куда посылал письма?

— Туда и посылал, — еще более мрачно ответил старик. — На остров Маргарита.

Я тут же сообразила, что речь идет о пропавшем без вести внучатом племяннике сеньора Деметрио, и на всякий случай нащупала диктофон в кармане.

— И я весточки туда посылала голубю моему, Иннокентию, — выпевала свое княгиня Прасковья.

«Это племянник наш... — шепотом пояснила мне сеньора Татьяна. — Весьма странный юноша, настолько странный, что приходится присматривать за ним. И вот надо же, не углядели. Стоило тетке Анастасии, опекушке его, преставиться — царствие ей небесное! — дурачок тут же сбежал. Надумал в кругосветное путешествие отправиться.»

— Боюсь я его... Ох, боюсь... — странно севшим, совершенно ему не свойственным голосом прошептал сеньор Деметрио.

— Кого это ты так боишься, милый мой князь Дмитрий Афанасьевич? — ласково, как ребенку, улыбнулась княгиня Прасковья.

— Иннокентия я нашего боюсь... вот кого...

— А чего же его бояться-то? — удивилась княгиня.

— Странный он какой-то.

— Да ведь все мы странные, мил князь Дмитрий Афанасьевич.

— Помилуйте, тетушка, ну какой я князь? Что вы меня конфузите?

— Вот и ты... Нешто не странный? А кто же ты тогда, если не князь? Ты князь... Я княгиня... Как и все мы... *там*...

Я ожидала, что сеньор Деметрио уточнит, где именно *там*, но старик почему-то промолчал. Он вообще вел себя на редкость смиренно.

— И Танечка — княгиня... И Алешенька... — продолжала перечислять тетка, все более вводя в смущение своих племянников, — и вот девочка эта... — показала она на меня. И ты, Димочка, — продолжала она, показывая на кузена Митю, тезку и двоюродного брата сеньора Деметрио. Кузен Митя резко выпрямился, стараясь не смотреть на княгиню Прасковью.

Хотя казалось бы, что здесь такого — нравится старой тетке величать своих племянников князьями, так нет же — ерзают все, как на иголках. Что-то здесь было не так. И княгиня была какая-то не такая. Платье на ней было черное, а платочек беленький в синюю крапинку, и концы этого платочка под подбородком подрагивали, словно заячьи ушки. Как будто за пазухой у нее и вправду сидел славный такой зайчик — белый в синюю крапинку, и то сводил свои ушки, то разводил. А княгиня эти ушки все на место ставила, платочек под подбородком подтягивая.

— И вот кстати, — продолжала она, — в последнем паломничестве видела я няню нашу Варфоломею Евстафьевну. Ты помнишь, Димочка, няню свою Варфоломею Евстафьевну? — обратилась странница к любимому племяннику.

Сеньор Деметрио усиленно закашлялся и ничего не ответил.

— Про вас спрашивала, про зайчиков... И за Иннокентия тоже беспокоилась. Просила, чтобы приветили его, приголубили. Он же сирота. А ты говоришь, странный...

— Боюсь я его... — угрюмо отозвался сеньор Деметрио.

— Эх, какие же вы холодные все в нашем роду! Как так можно?! О сироте...

— Приветить привечу и в дом приму, а все равно боюсь... — стоял на своем сеньор Деметрио. — На всем белом свете я только Иннокентия и боюсь. Даже смерти не боюсь. А вот его...

— Али видение тебе было? — догадливо пропела княгиня Прасковья.

— Было... — понуро согласился хозяин.

— Когда же... — княгиня прямо встрепенулась вся. — Которого дня?

— Да какое там дня... Уже полвека прошло...

— И ты все это время молчал?

— Не знал я тогда, к чему все это... Не знал, пока Иннокентий не вырос. А когда последний раз видел его, как молнией меня ожгло. Узнал я его!

— Ну, так рассказывай! Да смотри, не пропускай ничего... Все подробно. Доподлинно...

— Вот оно! — восхитилась я. — Наконец-то! — и щелкнула диктофоном в кармане.

— Я думаю, если уж начинать, так с того, как я попал туда, в этот лагерь военнопленных, — неспешно начал сеньор Деметрио, и я насторожилась. Уже не первый раз старик вспоминал этот случай, и все как-то мельком, вскользь, а потом сам уходил от темы. Но ни разу не удалось мне записать этот рассказ на пленку, и вот опять...

Я суеверно прошупала диктофон в кармане.

— Дело было во Вторую мировую... — продолжал хозяин. — Время было, сами знаете, какое... Да и место...

— Ах, райское место было! — встрепенулась вдруг Татьяна Афанасьевна, словно очнувшись от послеобеденной дремы.

— О чем это ты, Таня? — удивился сеньор Деметрио.

— О Новом Саде, Димочка, — виновато поморгала глазками старушка.

— Ах, Таня, Таня... Все ты путаешь. Прямо за столом засыпаешь.

— Так ведь сиеста, Димочка. Засиделись мы за обедом. И впрямь, в сон меня клонит. А как глаза закрою, тут же сад вижу, — с улыбкой стала оправдываться Татьяна Афанасьевна.

— А какой же сад ты видишь, милая? — участливо склонилась к ней княгиня Прасковья.

— Да все тот же, в Югославии который... В Сербии, то есть... Новый Сад — так и называлось это местечко.

— А точно ли этот сад был в Сербии, милая? — паломница по святым местам словно пыталась напомнить о чем-то. — А голубя нашего ты не видела в том саду?

— Ах, тетушка! — с досадой воскликнул хозяин, — вы уж хоть Таню-то не смущайте! Если вы об Иннокентии, то его еще и на свете тогда не было.

— Не говори чего не знаешь, — сурово остановила его княгиня Прасковья.

— Как же не знаю, если мы там жили в двадцатые годы. Иннокентий еще и не родился тогда. И не мог родиться. И родителей его еще не было!

Княгиня-паломница возмущенно подняла брови, но сеньор Деметрио, уже не замечая, увлеченно рассказывал:

— А место, действительно, райское было. Новый Сад называлось... Такой городок в Югославии. Вот там, в том саду, мы все и встретились, все русские, уехавшие из Крыма в двадцатом году. Как сейчас помню, во дворе под большими деревьями стоял стол, накрытый белой скатертью. Такой же, как этот, — сеньор Деметрио широким жестом указал на длинный белый стол в своей гостиной, потом наткнулся взором на три пальмы в проеме окна и помрачнел. — Деревья там тоже были родные: липы, дубы, яблони... Под яблонями и обедали. Что-то вроде летней столовой. И гости — одни уезжали, другие приезжали, все русские... Все князья... И все в саду...

— Истинно *тот* сад, — восхитилась княгиня Прасковья. — Нешто не видел ты там голубя нашего? Ну ладно, Танечка не заметила. Она еще младенец была. А тебе-то, небось, годков шесть-семь стукнуло тогда.

«Как-то странно говорит эта княгиня, — опять удивилась я. — Ну точно как моя бабка Параскева. А о чем говорит, и вовсе не понять».

Но сеньор Деметрио, видимо, вполне понимал, о чем идет речь, и очень нервничал:

— Ну как же я мог его видеть там, тетушка?

— А как же ты его видел в концлагере? Если тебя послушать, тогда, в сорок третьем, он тоже еще не родился.

— Так то было совсем другое! Видение то было!

«Видение в концлагере», — невольно повторила я про себя, и еще раз проверила диктофон.

2

— Это было начало Второй мировой, — сдержанно продолжал старик. — В тот год в Югославии начали формировать воинские части, в которые попали старые офицеры, двадцать лет тому назад участвовавшие в Белом движении... — сеньора Татьяна заерзала на месте, покосилась в мою сторону и стала делать какие-то знаки старшему брату, но тот не обратил на это ни малейшего внимания. — Тогда я, как и многие, состоял в группе Национально-Трудового союза. Однажды ко мне в Дендеж приехали представители этого союза и сказали, что сейчас формируется Белорусский полк, который будет брошен в тыл Красной армии, чтобы вести антисталинскую пропаганду в советских войсках. В это время русские части уже шли через Румынию и приближались к Венгрии.

У Татьяны Афанасьевны неожиданно начался приступ кашля. Старушка долго кашляла, прикрывая сморщенный ротик носовым платком, но Дмитрий Афанасьевич терпеливо переживал, чтобы продолжать дальше. Он находился в каком-то странном, словно сомнамбулическом состоянии. Очевидно, так действовал на него взыскательный взгляд тетки Прасковьи — она жадно смотрела на него, словно ожидая какого-то признания, и племянник послушно рассказывал:

— Я согласился вступить в этот Белорусский полк. На следующий день я выехал из Дендежа на поезде без получения права от местной полиции. В Будапеште присоединился к своей группе Национально-Трудового союза, пересек с ними границу и прибыл в Австрию — в Вену. — Сеньор Деметрио говорил все более неспешно, перечисляя все пункты своего путешествия и сильно растягивая слова. Казалось, он изо всех сил старается отдалить некий неизбежный и роковой для него поворот событий. Сеньора Татьяна замерла, нервно теребя в пальцах шелковые кисти белой скатерти. Она поняла, что брата уже не остановить, но при названии каждого следующего города вздрагивала и словно порывалась сказать что-то, а голос хозяина настойчиво и медленно продвигался дальше. — После Вены нас повезли в город Бреслау, или, как теперь его называют поляки — Роцславль. Там мы пробыли 24 часа и затем поехали дальше. К сожалению, план по заброске в русский тыл наших соединений не осуществился. Мы застряли под Краковом в городке, который назывался Могила. Там был лагерь русских военнопленных рядом с аэродромом немецкой армии...

— Конечно, это все история, — пролепетала Татьяна Афанасьевна. — А в истории так трудно разобраться — и тогда, и сейчас...

Бедная старушка не знала, что именно к этой истории старик возвращался не раз во время наших посиделок, да все не решался рассказать. И вот теперь...

— Это было в августе 1943 года, — настойчиво повторил сеньор Деметрио, — в местечке Могила, под Краковом... Там был лагерь военнопленных...

И тут его блуждающий взгляд наткнулся на меня — он словно не мог припомнить, кто я и зачем, — брови его сдвинулись. Я с готовностью положила руки на стол и рассеянно посмотрела в окно, демонстрируя полную незаинтересованность — вот, мол, никакого диктофона, и вообще не понимаю, о чем идет речь. Диктофон тихо дышал в кармане... Сеньор Деметрио, не отрывая взгляда от моих пальцев, теребящих салфетку, тяжело повторил:

— Ну, в общем, нас определили на работу... туда...

— Ну что ж, работа она везде работа, — тут же подхватила Татьяна Афанасьевна.

Старик опять посмотрел на меня, теперь прямо в глаза. Затянувшаяся пауза переросла в тяжелый вздох.

— Ну, короче говоря, это... были бумажные дела... И там, в канцелярии, я познакомился с одним русским инженером — Николаем Михайловичем Сиротинским, — старик вдруг оживился, припоминая встречу, и напряжение за столом спало. — Николай Михайлович, — продолжал он, — начал меня расспрашивать, откуда я и кто такой по происхождению. Я ответил так же, как

отвечал всегда: я из потомственных бояр и дворян вольного города Пскова, но родился в городе Одессе. На что он, как и многие, заметил, что тогда я, скорее, одессит, но уж никак не пскович. Мне пришлось ответить так же, как я ответил сегодня Иванне, — он покосился в мою сторону — если голубь родился в конюшне, то это еще не значит, что он лошадь.

И стал обстоятельно описывать эту случайную встречу и особенно то, как горячо инженер Сиротинский заинтересовался его родословной по материнской линии — выяснилось, что предки его происходили из Черниговской губернии Крылевского уезда. И как только прозвучало название деревни «Лукново», Сиротинский вскочил и воскликнул:

«Не может быть! Как фамилия деда?!»

«Ковтуненко».

«А фамилия матери?»

«Квятковская».

«Боже мой! Да я же из соседней деревни! Моя фамилия Сиротинский! Я каждый вечер ездил туда играть в карты. И вы знаете, чем кончил ваш прадед? Прадеда вашего убил его собственный сын, брат вашей бабушки».

«Как это возможно? Почему?»

«Он не разрешил ему жениться на крестьянской девушке из этой деревни. Но не потому, что самодур или крепостник лютый. Видение ему было!»

«Какое такое видение?!»

«Прадед ваш перед смертью сам признался. Никак нельзя было его сыну, то бишь брату вашей бабушки на Варфоломее Евстафьевне жениться. Предупреждение такое было...»

Дмитрий Афанасьевич выдал весь этот диалог скороговоркой, и теперь едва переводил дыхание. Все притихли, ожидая продолжения, и только Татьяна Афанасьевна не смогла сдержаться.

— Что ж это за предупреждение? — потрясенно переспросила она.

— Никто этого теперь не узнает, потому что бабушка подробности Сиротинскому не открыла, а просто сказала, что, мол, видение было. И что-то про Варфоломею Евстафьевну упомянула, будто через нее должна от вашего родословного древа еще одна ветка пойти. Вот эту ветку и пытался прадед срубить, да вышло так, что сам себя погубил руками сына своего. Потому что рубил ветку, на которой сидел...

— Это что ж ты говоришь, Дима?! — перекрестилась Татьяна Афанасьевна. — Я никогда такого не слышала от родителей наших.

— Не мои это слова, — смутился Дмитрий Афанасьевич, — Сиротинский мне так передал.

— Ну и пусть бы пошла эта ветка, — неожиданно подал голос кузен Митя. — Кому бы она помешала?

— Да она и так пошла, — негромко проронила княгиня Прасковья, однако этого словно никто не расслышал.

— А я так думаю, — продолжал кузен. — Все это выдумки! И вся эта семейная легенда только для одного и придумана — чтобы оправдать прадеда нашего, самодура и крепостника!

И тут Татьяна Афанасьевна, крохотная такая старушечка, самая младшая из всех Брулкиных, задрожала вдруг, как осиновый листочек, и поднялась за столом во весь свой малый рост.

— Не было никогда в нашем роду самодуров и крепостников! — стукнула она по столу маленьким сморщенным кулачком.

— Как это не было? — поразился кузен Митя. — Может и крепостного права не было?

— Не было никакого крепостного права в России! — опять стукнула кулачком по столу Татьяна Афанасьевна.

Все притихли. Сеньор Деметрио смущенно закашлялся.

— Ну, полно тебе, Таня, — попытался он как-то замять неловкость.

— Не было! — непримиримо повторила старушка. — Это все комиссары придумали! Чтобы Россию опорочить!

— И что же, по-твоему, и детей не продавали? — завелся уже не на шутку кузен Митя.

— Не продавали! — стояла на своем Татьяна Афанасьевна.

— И до смерти не засекали?

— Никогда!

— А у Достоевского...

Но Татьяна Афанасьевна не дала ему договорить.

— Это единственный случай, — твердо сказала она. — Вот против этого единичного случая Достоевский и выступал. Потому что единичный случай тоже нельзя без суда оставить. Но больше — ни-ни! Вы, кузен... — от гнева она даже перешла на вы. — Вы, кузен, воспитались в советской России, вот вас и напичкали всякой небывальщиной, Россию порочащей. А вот если бы вас в детстве родители увезли...

— В сад? — язвительно подсказал кузен Митя.

— Именно в сад... — подтвердила Татьяна Афанасьевна. — Вот тогда бы вы поняли, что никакого крепостного права в России сроду не бывало. Просто все жили одной семьей. Вот как мы сейчас.

Я была так потрясена этим спором, что даже забыла про диктофон в кармане. С одной стороны, я вроде бы знала, что крепостное право было, хотя удостоверить этого доподлинно не могла — я ведь не жила в то время, а с другой стороны чувствовала, что в словах Татьяны Афанасьевны есть нечто большее, чем просто историческая правда. Нет, конечно, формально кузен Дмитрий был прав, но уж очень мне не нравился его тон и вся его правда. Вообще на полуострове Парагвана странные вещи происходили *с правдой*.

— Я думаю, рассудить нас может только какая-нибудь ягодка с ветки Варфоломеи Евстафьевны, с той ветки, которую ваш прадед отсечь пытался, — насмешливо заметил кузен Митя и почему-то посмотрел в мою сторону. Как будто у меня на лбу большими буквами было написано, что я, Иванна Варфоломеева, прямым ходом происхожу от их няни Варфоломеи Евстафьевны, то есть из самых что ни на есть крепостных. Намек этот мне совсем не понравился. Почему-то шкура моя в противовес душе очень болезненно среагировала на слова Татьяны Афанасьевны о крепостном праве, как будто именно ее

и секли, и продавали, и беременную бросали — и все это в том единичном случае. А душа... Душе все нипочем! Душа соглашалась с доброй барыней — не было никакого крепостного права на Руси!

— Что же вы молчите, сударыня? — ехидно напирал кузен Митя, и я не могла не согласиться с младшей хозяйкой дома — комиссарское воспитание в кузене сказывалось.

— А и правда — вдруг поддержал двоюродного брата сеньор Деметрио, — я же просил тебя, девочка, предоставить свою родословную. Где она?!

— Но я же болела... — растерялась я. — Я свалилась с этой тропической лихорадкой, и мне было не до родословной.

— А теперь?! — видно было, что сеньор Деметрио решил-таки выбить из меня родословную, а заодно и замять семейный скандал.

— А вы из каких дворян? — неожиданно заинтересовалась Татьяна Афанасьевна.

— О! Так в вас тоже течет дворянская кровь?! — изобразил комическое удивление кузен Митя.

— Во мне?! — я даже испугалась. — Да Боже упаси! Никаких дворянских кровей! — Я выдержала паузу и в наступившей тишине выдала: — Только королевские!

Не знаю, что я такого сказала. Я просто пошутила. Но все тут же забыли про своего прадеда, убитого собственным сыном, и про няню Варфоломею Евстафьевну, давшую начало какой-то загадочной ветви дворянского рода Брулкиных, и закричали на меня, размахивая руками.

— Как можно шутить с этим! — кричал сеньор Деметрио, ударяя кулаком по столу. — Да! Мои родители были дворяне! Мой отец не обладал никакими коммерческими способностями. Когда мама уговаривала его заняться бизнесом за границей, он отвечал ей, что не чувствует в себе силы купеческой. А дед мой вообще купцу руки не подавал. Он считал, что все купцы — воры и мошенники. А я вот торгую! Я — и купец, и дворянин! И я чувствую в себе силу купеческую! И дворянскую тоже! И ни в какие видения не верю... — тут сеньор Деметрио запнулся.

— Кроме того, что сам видел... — тихо подсказала княгиня Прасковья, молча следившая за разговором. — Там, в концлагере...

Все тут же притихли. Казалось, это «видение в концлагере» незримо витает над столом, но рассмотреть — что там, в этом облаке, не дано никому, кроме сеньора Деметрио, — а он все ускользает от признания.

— Ну, давай, милок, не томи... — подстегнула его княгиня Прасковья.

И старик вздохнул тяжело.

— Ну, в общем, дело было так... — И он начал рассказывать, как из лагеря военнопленных, куда его устроили на работу, стали убегать заключенные, но немцы никак не могли понять, как это происходит... — Узников ежедневно выводили на работы, — неторопливо продолжал он. — И вот иногда одному, а то и двоим-троим удавалось как-то убежать. Очевидно, когда людей забирали с работы, они прятались где-то. А ночью бежали дальше. Началось расследование, и в конце концов, немцы арестовали одного парня. Это был мальчишка лет

семнадцати, — сеньор Деметрио неожиданно закашлялся, а потом, прочистив горло, пояснил обстоятельно: — он передавал военнопленным гражданские костюмы, необходимые для побега, — дальше хозяин заговорил скороговоркой, которую трудно было даже разобрать. — Что говорил арестованный на допросе, я не знаю. Но вечером того же дня пришли два эсэсовца и заявили: «Вы помогали военнопленным бежать из лагеря, и поэтому вас передадут в суд, который будет разбирать ваше дело».

Покашливая и путаясь в подробностях, которые были, в общем-то, необязательны, он описывал дорогу в Краков, куда его вез военный патруль. Чувствовалось, что везли его очень долго в этот город, и старик словно оттягивал момент прибытия туда даже в собственных воспоминаниях. И все-таки его туда привезли — в здание военного суда. И рассказывая об этом, он как-то особенно болезненно, почти с детской обидой, выделил:

— Меня заставили стоять лицом к стене — с семи вечера до двенадцати ночи. Я совершенно не понимал, что происходит...

И так было тягостно для него — стоять лицом к стене в неведении и тоске, что когда ровно в полночь в комнату вошел эсэсовский офицер, он вздохнул с облегчением. Даже здесь, пятьдесят лет спустя, в тропический венесуэльский полдень все слышали этот вздох. Рассказ его оживился, и он заспешил, словно пытаясь поскорее покончить с этим... И все слышали последнюю фразу следователя, сказанную почти шепотом: «Какая разница, из РОА, или нет... Поляк показал на него, значит виновен... Веди его в 33-ю».

Они долго шли по коридору, и эсэсовец все всматривался в номера комнат, потому что ни одна лампочка не горела. В конце концов, он подошел к одной двери, открыл ее и втолкнул заключенного. Тот упал и растянулся на полу, где уже спали какие-то люди. Они тут же покрыли его бранью: «Ты что, не видишь, что ли, куда падаешь! Сукин ты сын!»

Примостившись на полу, он кое-как заснул. Проснулся, когда уже светало. Подошел к сидящему на табуретке старику и спросил его по-польски: «Простите, пан, а когда здесь берут на расстрел?» Тот даже подскочил: «Ты что, с ума сошел?!» «Нет». Тогда поляк успокоился и объяснил: «На расстрел берут в пять утра, а сейчас — шесть. Так что сиди спокойно. И, вообще, берут из камеры № 33, которая рядом, а у нас — тридцать четвертая».

На этом месте у сеньора Деметрио опять прорезался голос и он стал уже обстоятельно описывать:

«Через час принесли на завтрак какой-то брандахлыст. На обед был так называемый пенцак, а вечером опять — брандахлыст. И так потянулись дни заключения. Каждый день после пяти вечера в коридоре раздавались шаги — кого-то из узников вызывали, чтобы перевести в камеру № 33, а утром — на расстрел. И каждый раз, когда в коридоре слышались эти шаги, мне казалось, что идут за мной, что сейчас откроют дверь и скажут: "Брулкин". Иногда дверь открывалась и в мою камеру, но вызывали не меня. Каждые две недели нас выводили во двор, вызывали по списку и задавали один и тот же вопрос: "Когда тебя допрашивали?" Если после допроса прошло больше двух недель, то заключенного автоматически отправляли в концентрационный лагерь. Если еще

не допрашивали, то оставляли до следующей проверки. И каждый раз на вопрос "Тебя допрашивали?" я отвечал: "Нет". Я искренне считал, что тот разговор со следователем нельзя считать допросом. Так прошло три месяца. Наконец-то у меня не выдержали нервы: это не жизнь! Уж лучше расстрел! Той ночью я принял решение обратиться к немецким властям и потребовать пересмотра моего дела. Я перетормошил всех поляков в камере, нашел у одного клочок бумаги, у другого — карандаш, и дождавшись, когда все уснули, начал писать. Почти изложил все обстоятельства своего дела и собирался поставить подпись, как вдруг...»

— Он! — вырвалось неожиданно у Татьяны Афанасьевны. — Это был он?!

— Странная светящаяся фигура появилась в полумраке камеры, — торжественно растягивая слова, произнес старый эмигрант. — Да, это был он! — и указал на портрет, висящий над головой.

Странница Прасковья выпрямилась во весь свой рост и размашисто перекрестилась...

3

— А почему ты думаешь, что это был Жюль Дютель? — брызжа слюной, кричал кузен Митя, указывая на портрет предка. — Ты же его никогда не видел! Из всех наших последней его видела тетка Анастасия, но ведь она уже...

— Он сам мне об этом сказал, — невозмутимо парировал сеньор Деметрио.

— Как? Он тебе еще и представился?! Призрак тебе представился?

— Да, — гордо подтвердил хозяин.

— Ну-у... тогда я не знаю, — казалось, кузен был просто убит этим обстоятельством, — можно было подумать, что явление призрака — особая честь и привилегия, которой в семье пользовались только избранные. И вот он, кузен, опять обойден. — Ну и что же он тебе сказал?

— Дело не в том, что он мне сказал, а в том, на кого был похож! Это был вылитый Иннокентий! Один к одному! Как две капли воды!

Татьяна Афанасьевна ахнула, а княгиня Прасковья почему-то недовольно фыркнула.

— Нет, тогда я, конечно, этого не мог знать. Ведь Иннокентий еще и на свет не родился. Но вот когда этот наш приемыш вырос...

— Сколько раз я тебе говорила, что Иннокентий не приемыш! — вскочила с места княгиня Прасковья. — Это что ж за наказание такое! За что Бог мне послал такого тугодумного племянника?..

— Внучатого... — почему-то вырвалось у меня.

— То-то и оно! — продолжала бушевать старушка, словно обрадовавшись моей подсказке. — Внучатый-то он внучатый, а разуменья никакого!

Все притихли, а сеньор Деметрио даже втянул голову в плечи, но все же продолжал возражать:

— Оговорился я, тетушка. Что ж тут такого? Уж больно он на всех нас не похож. Но как увидел я его взрослого у тетки Анастасии, сразу все понял. Как сейчас помню: приезжаю на остров Маргарита — и встречает меня... вылитый

Жюль Дютель! Даже и с портретом сходство разительное, а уж призрак всем на Иннокентия походил — и фигурой, и улыбкой...

— Он еще и улыбался?! — поразились Татьяна Афанасьевна.

— Ну да! Он только вначале как бы свечение излучал. А потом стал совсем как обыкновенный человек.

— И что же он сказал, этот обыкновенный человек?! — вышла из себя княгиня Прасковья.

— Да в том-то и дело, что ничего не сказал... — обескураженно пожал плечами сеньор Деметрио. Он находился в такой растерянности, как будто все это случилось только вчера. — Нет, вначале он как будто хотел что-то сказать. Но потом посмотрел на меня, усмехнулся и только рукой махнул.

— Так ничего и не сказал? — допытывалась Татьяна Афанасьевна.

— Нет. Только рукой махнул. Глянул я на прошение о пересмотре дела, а там, на бумаге — сплошная абракадабра! Все значки да иероглифы какие-то, и еще в таком странном порядке расставлены, вроде как полукругом... Ну, как будто женское украшение, но все из иероглифов состоящее... А я ведь так внятно все изложил, таким красивым почерком написал, — горячился хозяин. — Ну, я так понял, что это знак — не подавать прошение, чтобы не навредить себе. И точно! Через несколько дней перевели меня в другую камеру, а оттуда — на свободу! Похлопотал за меня кто-то!

— Ну, а письмо ты куда дел? — дрожащим голосом спросила княгиня Прасковья... — То, которое странными знаками было написано?

— А письмо я долго хранил. Оно мне доказательством было, что я при полном уме и ясном рассудке находился в ту ночь. Потому что призрак исчез, а вся абракадабра на бумаге так и осталась. Часто ее я рассматривал... А потом...

— А потом? — затаила дыхание княгиня.

— А потом я письмо отдал тетушке Анастасии. Анастасия ведь сохранила весь архив Жюля Дютеля. А я, когда Иннокентия увидел точной копией нашего двоюродного прадеда, то уж просто не смог держать у себя эту бумагу. Будто уголь раскаленный она меня жгла. Куда ни перепрячу, а все чувство такое, как будто под сердцем лежит — и жжет, так жжет! А как тетке Анастасии отдал — сразу полегчало.

— Мог бы и мне передать, — недовольно пробурчала княгиня Прасковья.

— Но ведь тетка Анастасия старшая у нас, — стал оправдываться хозяин. — Она ведь и Иннокентия воспитала. И архив сохранила.

— То-то и оно, что все ей — и Иннокентий, и архив.

— Но ведь вы, тетушка, все в разъездах, все в паломничествах да странствиях, — нашелся старик.

— И то правда, — вздохнула она. — У каждого своя планида. Я бы на острове Маргарита ни дня не высидела. — Старушка сразу повеселела и даже подмигнула племяннику. Тот и осмелел:

— А вот я все хотел спросить у вас, тетушка...

— Спроси, коли хотел.

— Как это возможно, чтобы один человек был так на другого похож — ну

прямо как две капли воды? Нет, ну я понимаю, когда близнецы... Это нормально. Но если от разных родителей и в разных поколениях...

— Бывает такое, — уклончиво ответила княгиня Прасковья. — Слышала я, что та ветка, которая от Варфоломеи Евстафьевны пошла, должна была возродить особенный род... Был когда-то такой у наших далеких предков...

— Какой такой? На одно лицо, что ли? — не удержался кузен Митя.

— Вы хотите сказать, тетушка, что у них рождались близнецы? — беспокойно уточнила сеньора Татьяна.

— Можно сказать и так.

— А ведь у нас тоже рождались близнецы когда-то, — вздохнул сеньор Деметрио.

— А может, и сейчас рождаются, — как-то загадочно утешила его странница.

— Где ж это они рождаются? — неожиданно вспыхнул старик. — И с кем их сравнивать, если они неизвестно от кого рождаются.

— Я думаю, тут сердце подскажет, — смиренно ответила Прасковья.

— Да, и вправду, бывает такое... — словно оправдываясь, согласился он. — Иногда по жизни встречаются очень похожие люди...

«И сердце их сразу узнает», — счастливо улыбнулась странница, но вслух ничего не сказала. Потому что не все же можно сказать вслух. Как скажешь такое, что каждое сердце имеет свое лицо, и все твои возлюбленные — близнецы твоего сердца.

Но за обеденным столом все как-то согласно вздохнули, будто каждый подумал о том же.

— Неужели и в наш род вернулись близнецы? — сеньор Деметрио выдохнул это очень тихо, словно обращаясь к самому себе. — Да-а... Бывают такие встречи... Бывают... — он как-то странно покосился в мою сторону, и у меня все похолодело внутри: «наверное, заметил диктофон в кармане», но старик только покачал головой и забормотал: — Удивительно... Не понимаю... Ничего не понимаю... Удивительное сходство, — добавил он едва слышным шепотом.

Мне показалось, я ослышалась, но переспрашивать не решилась. Пауза затянулась, и всем стало неловко.

— Ты если, Димочка, хочешь что-то сказать, так говори, — осторожно нарушила тишину княгиня Прасковья, — а если не хочешь, так и нечего бормотать что ни попадя.

— А что я?.. — растерялся старик, словно только очнувшись. — Да нет, это я так... Задумался... Лезет в голову всякое... При такой-то жаре, — в самый полдень, в сиесту, когда уж почивать пора, чего только в голову не припечет.

Видно старик хотел сказать: «чего только в голову не придет», но после этих слов все ощутили, что в голову и впрямь припекает изрядно, и княгиня Прасковья, величественно поднявшись, промолвила:

— И верно, пора почивать.

Все чинно встали из-за стола, но сеньор Деметрио, словно опомнившись, закричал:

— Как это — почивать? А подготовка к съезду?

— Так ведь не все еще собрались, — усмехнулась княгиня. — И без Иннокентия никак невозможно.

— Неужели последний съезд кадетов, и вправду, будет в Пунто-Фихо? — удивилась Татьяна Афанасьевна.

— Ну почему же в Пунто-Фихо? — спокойно возразила княгиня. — Пунто-Фихо... Разве это место для такого дела? Сюда только приезжают, а уж праздновать будем там — в граде...

— Это в каком же городе, матушка? — так и не поняла младшая племянница.

— Экая ты недогадливая, Танечка... Что брат, что сестра — тугодумы! Да в том самом...

Тут в кармане у меня щелкнуло, и все посмотрели в мою сторону. Я еще не осознала случившееся и не оценила эти взгляды. Я поняла одно: пленка кончилась, и теперь никак невозможно доказать истинность, а тем более документальность происходящего. Хотя по лицам стариков я видела, что все, даже служанка Чилия, догадываются, где должен проходить последний съезд старых эмигрантов. Негритянка Чилия быстро перекрестилась. Наверное, она знала что-то такое про эти места, чего не знала я. В любом случае, название города я так и не расслышала. Надо же было именно на этом слове щелкнуть диктофону...

И щелчок этот слышала не только я...

Не знаю, стоит ли описывать, как сеньор Деметрио бегал за мной по саду с тростью, крича: «Ах ты, комиссарское отродье!» — и требуя, чтобы я уничтожила запись. Сеньора Таня бегала вслед за ним, пытаясь хоть как-то успокоить брата. В конце концов, на приличествующем расстоянии от разъяренного старика я продемонстрировала ему уничтожение пленки, незаметно подменив кассету. Но все это было впустую, потому что вскоре пленка исчезла вместе с новой тетрадкой дневника, в который я по-прежнему прилежно записывала все происходящее на полуострове Парагвана.

4

Все, что я услышала за обедом, абсолютно выбило меня из колеи. Пытаясь осмыслить происходящее, я подошла к умывальнику, брызнула в лицо холодной водой, а потом плюхнулась в кресло-качалку, где любил отдыхать хозяин. Это было опрометчивое решение...

Не прошло и пяти минут, как бамбуковая занавеска всколыхнулась, и передо мной возник сеньор Брулкин.

«Сиди, сиди!» — предупредил он мое движение освободить кресло и присел рядом на маленькой скамеечке у самых моих ног.

Более удобной ситуации было не придумать. Мое желание вырваться с этого полуострова как можно скорее окончательно созрело и оформилось в виде ультиматума именно в эти минуты. Просто во время обеда я поняла, что целью старика является вовсе не написание книги, более того, создавалось полное

впечатление, что истинная его цель — сокрытие некоторых фактов собственной биографии с помощью моей фантазии писателя. Про непонятные намеки на мою связь с фамильным призраком не хотелось даже и вспоминать.

В общем, я решила высказать все и сразу. Я собиралась напомнить ему, что живу на этом полуострове уже несколько месяцев и лишена элементарных условий для работы — ночью меня мучает бессонница и приступы лихорадки, прямо под моей комнатой, словно вулкан, бурлит круглосуточная латиноамериканская дискотека, а самое главное, я не имею никакой внятной информации о его жизни для работы над книгой! И вообще его тираническим нравом я поставлена в условия домашнего ареста, хотя открыто мне об этом не заявляется. Но одна моя попытка поехать на экскурсию в город Коро с местным мачо закончилась эффектной инсценировкой инфаркта у хозяина. И с тех пор этот инфаркт мне демонстрировали уже раз двадцать, стоило сделать шаг вправо-шаг влево с тропы, ведущей к разгадке «тайны его рода». Но пока что эта тропа водит меня по кругу — из отеля «Вилла Реаль» в сад сеньора Деметрио и обратно. А может старику и не нужна никакая книга — ему просто захотелось, чтобы при нем сидела молодая женщина и ловила каждое его слово, мучаясь потом над диктофоном — как это понять да истолковать. А он будет лежать ночью в своей стариковской постели и наслаждаться мыслью, что в эту ночь из-за него кто-то не спит, думает о его жизни и... тайне его рода. А если никакой тайны нет?! А я сижу здесь в плену у деспота и не имею возможности даже посетить местный карнавал, чтобы встретиться со своим другом музыкантом. Это ж и дураку понятно, почему меня не подпускают к телефонному аппарату, когда тот разрывается от звонка! И в тот момент, когда Чили берет трубку и слышит мое имя, сеньору Деметрио, якобы — именно якобы! — ничего не слышно, кроме помех на линии. Конечно же, это звонят мне! И конечно же, он!

Да, он — тот, кто коллекционирует все карнавалы мира на свою цифровую кинокамеру, ни за что не упустит возможности посетить такой нетривиальный праздник — поминальный карнавал в честь погибшего поэта Умберто аль Сугарай, близкого друга сеньора Деметрио! Где еще найдешь такой феномен? Только в глухом венесуэльском захолустье, куда отправилась его подруга писать книгу о жизни русской эмиграции. И даже если старых друзей, то есть нас, разделяет нелепая ссора, это еще не повод отказаться от возможности пополнить свою коллекцию новым карнавалом, тем более, что уже и Венецианский, и Бразильский, и все известные миру театрализованные шествия в этой коллекции присутствуют, а вот Пунто-Фихского нет! К тому же это прекрасный повод помириться! А где еще и мириться, как не на карнавале?! А вместо всего этого меня держат, как собачонку, на привязи и кормят одними «маньяна!». Ну, так вот! Такое прозябание не для меня! Я уезжаю! Ярываю наш контракт!

Вся эта бурная речь так и вертелась у меня на языке, но сорвалась только последняя фраза:

— Да! Я уезжаю! Ярываю наш контракт!

— Ярываю ваш портрет... — неожиданно хорошим басом пропел сеньор Деметрио, перефразируя строчку известного романса. — Он был в прекрасно-

благодушном настроении, не иначе оттого, что наконец-то доверил кому-то свою тайну. Выпустил, что называется, пар!

— Нет, ну если ты так рвешься назад в свой барак на воду и сухари, то — пожалуйста! — он сделал широкий жест, как бы переправляя меня через океан, и я с недоумением уставилась на него: «откуда он так осведомлен о моей жизни в Москве?» — Но с другой стороны, — продолжал старик, — твой барак от тебя ведь никуда не убежит, а здесь посмотри какие хоромы, — он опять сделал широкий жест, показывая свой крохотный садик, состоящий из трех пальм и дерева папайи.

— Видишь, какой сад!

— Тоже мне сад! — фыркнула я.

— А какой дом! — как ни в чем не бывало продолжал хозяин. — Не хочешь жить в гостинице — живи у меня в доме.

Вот этого мне как раз хотелось меньше всего. Я уже знала, какой распорядок царит здесь, и не имела ни малейшего желания перебираться из шумной гостиницы с дискотекой в тихую мрачную казарму. «Лучше уж барак, чем казарма», — подумала я и только в этот момент сообразила, что старик уже два раза употребил слово «барак», упоминая о моем жилище, собственно говоря, о том, что я для себя гордо именovala мастерской свободного художника.

— Когда-то у нас в Царицыно тоже была дача, — который раз проявляя способности экстрасенса, вкрадчиво пояснил он. — Ты как-то упоминала, что живешь в Царицыно в каком-то деревянном доме, который прежде, до революции, был дворянской дачей, это, если я не ошибаюсь, где-то рядом с царицынскими прудами и дворцами. Мы тоже там жили летом, когда я был совсем маленьким. Мне просто интересно, как там сейчас?!

Теперь он смотрел на меня каким-то настороженно-жадным взглядом и почему-то путался в словах. Такая быстрая перемена удивила меня. Я ведь вообще не помнила, чтобы говорила что-нибудь о своем царицынском доме.

— Ну да, ты упомянула однажды об этом доме... Назвала его сквот... Было бы интересно услышать о нем побольше, ну и вообще... о жизни в России...

Его вкрадчивая интонация не вызывала большого доверия. Гораздо честнее было грубовато брошенное во время обеда: «Пиши, что хочешь, и оставь меня в покое!»

— В этих бывших дачных усадьбах наверняка сохранилось что-то такое... необычное... Ну, как бы это сказать, то, что создает особую атмосферу, погружает в прошлое. Послушай, но ведь там прошло мое детство! Как ты не можешь понять! — воскликнул он, и я поняла, что это мой шанс. Не знаю, что он хочет выведать про мой царицынский дом, но теперь я могу ставить условия!

— Полная свобода! Вот мое главное условие! И я могу выходить в город, куда захочу и когда пожелаю, без всяких сопровождающих шпионов!

— Да ради бога! Выходи когда хочешь и куда хочешь! — так же патетически воскликнул в ответ сеньор Деметрио. — Я вообще удивляюсь, почему ты все время сидишь у меня в саду. Такая молодая, интересная... А там в городе — карнавал, жизнь... А ты все в саду и в саду со своим диктофоном. Наверное, ты к кому-то равнодушна здесь. Уж не ко мне ли?

Нет, ну каков лис! Я просто онемела от подобной наглости — подозревать меня в каких-то особенных чувствах к древнему старику и при этом насмехаться!

— В общем, если ты принимаешь мое условие о взаимном сотрудничестве, я предоставляю тебе полную свободу. Но только если что — пеняй на себя!

Ну, уж об этом меня не нужно было предупреждать. Но даже от одного обещания свободы у меня закружилась голова.

Видно, что-то такое, соответствующее этим мыслям, отразилось на моем лице, причем весьма конкретное и решительное — деньги и документы! Старик зашепел, засуетился... Полез в карман... Сердце мое замерло... Он вытащил какие-то бумаги из внутреннего кармана своей холщовой куртки.

— Ох! Неужели? — выдохнула я. — Мои документы!

— Ценнейшие документы! — горячо подтвердил сеньор Деметрио, потрясая бумагами перед моим носом. Он наконец-то развернул сверток — это оказались карты старой Москвы, топографический план той части города, где я жила до выезда в эту проклятую Южную Америку. Ну точно, вот и место нашего дома в Царицынском лесопарке, обозначенное значком «плавун». Я присмотрелась — карты эти были датированы 1883 годом.

— Вот здесь! Вот здесь мы жили! — трясущимися руками указывал старик прямо на значок «плавун». — Этот дом построил мой прадед, тот самый француз Жюль Дютель. Ну, покажи, где на этой карте твой сквот?

Я молча указала на тот же значок, обозначающий плавун. Взгляды наши встретились... Мы оба жили на плавуне — месте, где никогда ничего не строили, где в принципе не может стоять никакой дом. И все-таки мы стояли на этом плавуне — даже здесь, в Венесуэле, на другой стороне земного шара, в крохотном тропическом саду — мы стояли и смотрели в глаза друг другу, а под ногами у нас покачивался плавун.

5

О моей царицынской мастерской недостаточно было просто упомянуть, мол, какой-то там деревянный дом на краю царицынского парка. Даже перелетев через океан и прочно укоренившись в этом тропическом саду на кресле-качалке, я все еще, словно матрешка в матрешке, ощущала себя там — в своей царицынской мастерской, расположившейся в последнем московском скворце.

Если совсем кратко, просто для справки — дом этот, хитро зацепившийся на склоне заболоченного оврага — того, что на самой опушке царицынского лесопарка, был укрыт от нескромных взглядов столетними липами, оставшимися от прежней дачной усадьбы. Принадлежала она в свое время личности исторической и даже легендарной — Сергею Муромцеву, главе первой русской Думы и одному из создателей первой конституции Державы Российской. Для меня же как для свободного художника романтического типа личность эта была мифической уже потому, что Муромцев приходился родным дядей той самой Верочке Муромцевой, которую именно здесь впервые увидел обожаемый мною

Иван Бунин. Даже то, что его нога ступала по здешним болотным кочкам, грело мое сердце. А то, что он в первый свой приезд в Царицыно даже и не заметил Верочку Муромцеву, как-то умирало мою женскую ревность. И все-таки меня всегда удивляло, что Муромцев построил свою дачу в столь неприглядном заболоченном месте. Конечно, овраги, наполненные водой, всегда были окружены атмосферой некой загадочности — и девицы тут топились от несчастной любви, и русалки селились целыми колониями. Но не думаю, чтобы это обстоятельство являлось решающим для главы первой русской Думы. А потому мне всегда чудилась в этом какая-то тайна, которую разгадать пока что не удавалось. Годы шли... Дача Муромцевых претерпевала всякие катаклизмы, — сгорала, отстраивалась заново... В конце концов, после Второй мировой от нее остался один фундамент, и на этом фундаменте был воздвигнут деревянный двухэтажный барак, которому и суждено было стать последним московским сквотом.

Да, а что такое сквот, к слову? Наиболее исчерпывающий ответ вам бы предоставили где-нибудь в Париже, там сквот — это явление современной неформальной культуры. Брошенные нежилые помещения, заселенные бездомными художниками, обычно превращались в культурные центры, выставочные залы, а порой и в авангардные театры, которые со временем приобретали статус официально признанных и поддерживались властями. Но то в Париже! У нас же, как вы понимаете, все совсем по-другому. И все-таки, выселенный в конце восьмидесятых, этот деревянный барак, построенный на крепком фундаменте дачи Муромцевых, продержался целых двадцать лет, во что даже трудно поверить! И когда в конце двухтысячных — или, как сейчас говорят, нулевых, городские власти нас все-таки обнаружили, то они не поверили собственным глазам. Естественно, бросились поднимать документы, разворачивать карты Москвы, а там никакого дома и близко нет, только топографический значок — плывун!

Именно поэтому мы особенно и не афишировали наш тайный культурный центр — понимали, что живем не в Париже, не поймут и не оценят. Последний деревянный барак в царицынском парке существовал как некая отдельная республика — со своим собственным укладом, деревенским бытом позапрошлого века и соответственно собственными андерграундными законами, цель которых очень проста — выжить в нежданно-негаданно свалившемся на наши головы технократическом капитализме двадцать первого века. Население государства российского, как известно, весьма неоднородно, и не у всех в генетической программе заложено стремление становиться олигархами, ворами, ментами, винтиками и шурупчиками компьютерного программирования, да и благородная миссия вольного бомжевания на помойках и свалках — удел избранных. Но основать свою маленькую республику и, невзирая ни на что, рожать детей и заниматься свободным творчеством — идея тоже неплохая и совсем не такая уж утопическая, ибо благополучно воплощалась в жизнь целых двадцать лет. Даже по сравнению с самым глобальным социальным экспериментом — построением коммунизма в отдельно взятой стране, существование республики чистого

искусства в отдельно взятом бараке в течение целых двадцати лет тоже заслуживает уважения и, может быть, даже изучения историками.

По крайней мере, когда я вкратце попыталась рассказать сеньору Деметрио историю нашего дома, я осознала это очень определенно и подумала, что все не случайно.

Но сам сеньор Деметрио это открытие не оценил, он, по-моему, вообще все необычные подробности моего житья-бытья пропустил мимо ушей. Его явно интересовало что-то другое.

Но что же именно? Пока что понять этого я не могла. Но ощущала, что за всем этим явно стоит какая-то тайна.

В этой неразгаданной тайне я и жила год за годом в ветхом бараке, лишенном всяких коммунальных удобств, кроме вышеупомянутых мифологических деталей. Впрочем, здесь я несколько сгущаю краски, одно из удобств цивилизации все же присутствовало в нашем жилище — это телефон, оставшийся от прежней жизни, один московский номер на все пятнадцать семей. По этому телефону я и получила приглашение от посредника, выступающего от лица сеньора Деметрио с предложением поехать в Южную Америку, чтобы помочь написать мемуары старому русскому эмигранту первой волны. Вот так, следуя какой-то странной логике событий, из неразгаданной тайны дворянского гнезда Муромцевых судьба перенесла меня сюда, в Венесуэлу, на полуостров Парагвана, чтобы разгадать тайну другого дворянского рода, правда, бесконечно далекого, как мне казалось, от литературы и искусства. И в этом я тоже глубоко заблуждалась, как впрочем, и во многом другом.

Тем удивительнее для меня было, что сеньор Деметрио, не проявив интереса к деятельности нашего богемного сквота, расспрашивал в мельчайших подробностях о судьбе архитектурного строения, уже практически исчезнувшего, если не считать фундамента, на котором стоял наш барак. Он даже сам упоминал некоторые детали, немало меня удивлявшие.

— Вы как будто только что оттуда, сеньор, — пошутила я.

— Ну, все русские дачные усадьбы строились примерно по одному образцу, — несколько смешавшись, пояснил он. — Ты, главное, скажи, точно ли фундамент под вашим сквотом тот самый? Фундамент не тронули?!

— Да кому он нужен, этот фундамент? — удивилась я. — Да и вам к чему он, фундамент?

— Ну, все-таки воспоминания детства, — как-то растерянно промямлил старик.

— Но как же вы там могли жить в детстве, если это бывшая дача Муромцевых? — вдруг дошло до меня.

— А наша дача была рядом! — тут же нашелся хитрец. — К тому же прежде на месте этой муромцевской дачи была усадьба, построенная по проекту моего французского предка Жюля Дютеля. Он был архитектором и много чего понастроил в России. Но старый дом сгорел, а вот фундамент остался. И дачу Муромцевых построили прямо на этом фундаменте.

— Ну и что? — не поняла я.

И старик сразу закрылся, словно понял, что сказал лишнее. Он покачался наносках своих штиблет и, по-военному развернувшись, направился обратно в дом:

— Ну, ладно... Отдыхай... Отдыхай, — бросил он.

Какой уж тут отдых! Я тут же подскочила с кресла и опять прильнула к бамбуковой занавеске, которая отделяла прихожую от веранды. И очень вовремя это сделала — в гостиной разгорался спор.

— Димочка, а ведь девочка права! Ветер усиливается с каждым часом! Не время для мемуаров, — услышала я голос Татьяны Афанасьевны. — Может, ей все-таки сказать?

— О чем?! — загремел сеньор Деметрио.

— Ну-у-у... — нерешительно протянула старушка. Когда старший брат гневался, она немного побаивалась его.

— Нет ничего такого, о чем я должен ей говорить! — отрезал старик. — Это все сплетни паникеров! Здесь всегда были сильные ветра и высокие волны! А этот вулкан как спал триста лет, так и будет спать дальше! Подумаешь, холм среди пустыни! За что его только назвали Санта-Анна?! Мои мемуары могут и подождать! — продолжал хозяин. — Есть кое-что поважнее. Для мемуаров я мог вызвать сюда любого писателя, но для этой цели подходит только она! Только она способна выполнить завещание Варфоломеи Евстафьевны!

— Ты опять за свое, Дима!

— Кроме нее, разве что Иннокентий...

— Не трогай Кешу!

— Но и ему одному не справиться... Тут двое нужны... Как минимум...

Шея моя вытянулась, словно у страуса, а ухо увеличилось до размеров спутниковой тарелки. Сейчас я все узнаю! Я и сама не заметила, как голова моя проросла сквозь бамбуковую занавеску — и вся картина тайного семейного сговора предстала перед глазами.

6

Татьяна Афанасьевна сидела, неестественно выпрямившись и прижимаясь худенькими плечами к спинке стула. Она взглянула на брата, и взгляд этот остановил его на полуслове. Разоблачающим жестом она указала на веранду, где, по ее мнению, отдыхала московская гостья, и полушепотом произнесла:

— И вообще... Дима! Я все слышала.

— Ну, что ты слышала? — нехотя отозвался старик.

— Ты расспрашивал ее об этом доме.

— Ну, расспрашивал...

— Ты уверен, что это тот самый дом?

— Да как это можно понять на таком расстоянии, через Атлантический океан! — вдруг взорвался старик. — Нужно просто ехать и рыть там везде. Я же говорю — нужно выполнить то, что завещала наша няня — Варфоломея Евстафьевна! Все пункты — от и до!

— Дима, но ведь княгиня Анастасия запретила даже думать об этом. На смертном одре наказывала! И потом... Даже если эта вещь там, то ей надлежит там и оставаться. Может быть, это единственное место на земле, где она не опасна. И уж, во всяком случае, ему, — она указала на портрет, красующийся на стене. — Нашему прадеду было виднее, как распорядиться собственной коллекцией, а тем более этим!

Маленькая старушка, обычно робеющая перед старшим братом, на этот раз говорила тоном решительным и непреклонным. И сеньор Деметрио дрогнул:

— Так-то оно так... Только вот точно ли на месте это... Ведь Иннокентий-то исчез неспроста, а вслед за ним и Афанасий. Наверняка, организовал слежку... Потому что только Иннокентий знал, где это может находиться!

— Да, ты прав, Иннокентий первый разыскал упоминание об этом в архиве Жюля Дютеля. И как это тетка Анастасия не доглядела. Как можно было допустить, чтобы такие документы попали в руки ребенка?

— Да, я думаю, это сильно повлияло на него. И главное, с тех пор этот архив никто в глаза не видел! Как сквозь землю провалился! А ведь там такие богатства!

— Дима, о чем ты? Опомнись! Лучше бы эти богатства действительно сквозь землю провалились! Нужно немедленно разыскать Иннокентия и Афанасия! По молодости они оба могут натворить таких бед!

— Ну как ты не понимаешь, Таня! Кто-то из них уже наверняка добрался туда. Посмотри на Санта-Анну! Я, конечно, не верю во всякие там индейские сказки и пророчества, но когда это совпадает с научными изысканиями моего прадеда, это совсем другое дело.

— Но ведь ты сам всех уверяешь, что приборы в сейсмической лаборатории ничего не улавливают.

— Господи! Да эти олухи зафиксируют подземные толчки только когда на них лавина пойдет! Я специально всех успокаиваю, но ты посмотри, что творится с ветром! Я изучил этот ветер вдоль и поперек. Мне всегда понятно, о чем он дышит... Но сейчас! Нет, не то, Таня! Не то! И главное, этот запах! Неужели ты не чувствуешь?! Девчонка-то права! Я уж и так, и сяк пытался отвлечь ее. Обмануть ее интуицию. А ведь она права! Запах есть! Дышит она, Санта-Анна! Дышит! У этой девочки все-таки потрясающее чутье!

— Чутье, говоришь? — сеньора Татьяна вдруг пристально присмотрелась к брату, и в душе ее шевельнулась странная ревность — чувство, которое она всю жизнь скрывала от окружающих, и которое ни для кого не было тайной. Младшие сестры часто пребывают в состоянии влюбленности в своего старшего брата, Татьяна Михайловна это волнующее страстное чувство пронесла через всю жизнь. Свой брак с Алешей Бессмертным она считала заведомо неудачным, потому что другого такого мужчины, как ее брат, на свете не существовало, и, конечно же, ни одна женщина не была достойна его, а тем более эта вертихвостка! «Интуиция, видишь ли! А если не интуиция, а что-то другое?!» Ревнивое сестринское сердце всколыхнулось и повернуло ход мыслей совершенно в другую сторону.

— А если не интуиция, Дима?! И не чутье? Тебе не приходило в голову,

почему именно она попала к тебе в так называемые «литературные секретари»? А как еще назвать ее деятельность? Но почему именно она — та, что живет в этом доме?! Простое совпадение? Как такое возможно?!

Сеньор Деметрио опешил.

— Таня, что ты хочешь этим сказать? На что ты намекаешь? Не путай меня!

— Да ты сам себя запутал! А если ее подослали? А если *это* уже у нее? И она только ждет удачного момента.

— Таня, окстись! О чем ты говоришь?

— О том же, что и ты.

— Нет, не о том же! Одно дело исполнить завещание Варфоломеи Евстафьевны, обезопасить себя и других... И совсем другое — манипулировать этим!

— Но я же...

— А ты именно манипулируешь... Нагоняешь страху! Распускаешь слухи!

— Да я же только тебе, Димочка!

— И мне не надо! Я православный! С чего ты взяла, что я верю во все эти бесовские штучки?! Я просто... хочу докопаться до научной истины! Исполнить долг перед няней... Что в этом дурного?!

— Тебя, Димочка, не поймешь! — обиделась Татьяна Афанасьевна. — То одно говоришь, то другое. А в воздухе уже гарью пахнет!

— Даже если вулкан проснется, это еще ни о чем не говорит! — он уже почти кричал. — И дом этот, скорее всего, не тот. Все-таки это бывшая дача Муромцевых. И если строилась она на старом фундаменте, это совсем не значит, что...

— Але, але... — сильный голос Чили опять прервал разговор на полуслове — партитура телефонных звонков таинственным образом взаимодействовала с самыми горячими точками спора в гостиной.

— Вот так с самого утра и звонят, — вздохнула Татьяна Афанасьевна. — А кто, неизвестно... А вдруг это... — старушка округлила глаза, словно испугавшись собственного предположения, но все же договорила. — А вдруг это предупреждение! Вдруг это он — Жюль Дютель!

Дальше случилось нечто совершенно неожиданное — старый эмигрант схватил телефонный аппарат, который уже передавала ему Чилия, и стал кричать в трубку такое...

— Димочка! Димочка! Нельзя же так! — ужаснулась Татьяна Афанасьевна. Она почти повисла на брате, но остановить того было невозможно.

— Никого не было! — кричал он. — Никого и ничего! Все — суеверия! Сплетни! Из века в век эту чертовщину на себе тащить! Не позволю! — потрясая трубкой в сторону портрета, хозяин сделал три решительных шага и оказался у стены прямо перед изображением своего предка. — Не позволю известить свой род! Даже призраку собственного прадеда не позволю! — И ударил кулаком в стену.

Портрет, словно только того и ждал — плавно соскользнул с гвоздика и приземлился на голову сеньора Деметрио. Упали они одновременно...

— Димочка! Димочка! — запричитала Татьяна Михайловна. — Ты жив, Димочка?!

Повисла долгая пауза...

— Конечно, жив, — вдруг странно умиротворенным тоном ответил старик из-под портрета, — сколько в нем весу-то, в призраке этом? Совсем ничего... Слава богу, что раму дорогую не заказали. Не зря я воспротивился. — Он приподнялся и сел на полу в обнимку с портретом. — Тут мне вместе с этой картиной разумная мысль в голову впала: нужно поговорить с этой девчонкой и сделать вместе с ней то, что завещала наша няня. Хотя и странное это дело, а все ж таки надо выполнить волю покойной. А там — будь что будет!

— Тс-с-с... — Татьяна Афанасьевна испуганно огляделась по сторонам. — Ты что говоришь такое?! Хорошо, хоть наши все разошлись и не слышат тебя. Мало ли что сумасшедшая старуха завещала! Что же нам, погибать теперь всем?

— Как ты можешь называть няню сумасшедшей! — опять вскипел хозяин. — Вот из-за того, что все считали ее сумасшедшей, мы и оказались здесь — на этом полуострове. И если сбудется пророчество Жюля Дютеля, неизвестно, выберется ли отсюда вообще кто-нибудь! А Варфоломея Евстафьевна одна знала, что привез этот злодей из своих заморских странствий. Потому и подарок его не приняла. Но кто же знал, что все это попадет в матушкину шкатулку, а потом... Такое начнется!

— Тише! Тише! Димочка, не говори об этом! Вдруг кто-нибудь услышит! Представь, что будет, если на полуострове начнется паника! Тс-с... Опять звонят...

Теперь звонок доносился из прихожей, буквально в двух шагах от моего кресла на веранде — и это был последний уцелевший аппарат в доме. Все другие были разбиты сеньором Деметрио. Бесшумно, словно кошка, я метнулась к драгоценному аппарату...

Мы столкнулись, не побоюсь этого сравнения, как две кометы в пророчестве древних майя, и взрыв в виде нецензурных словоизвержений великого и могучего русского языка соответствовал масштабу катастрофы.

Хозяин все же опередил меня, и хотя трубку мы схватили одновременно, он успел прокричать в нее все свои испанские ругательства и бросить на рычаг. И тогда случилось именно то, что и должно было случиться — вся вулканическая лава моего долго сдерживаемого возмущения вырвалась наружу именно в том виде, в каком я так долго ее репетировала, вынашивая днями, ночами... и неделями...

Не помню, что я там ему наговорила...

Я выбежала на веранду, потом в сад... Перед глазами все еще стояла картина — эмигрантская община за длинным обеденным столом и над ними портрет призрака, ободряюще подмигивающий. Я понимала, что нарушила все существующие в высшем обществе правила приличия, но остановиться уже не могла.

Чтобы пересечь сад пробежкой, мне хватило двух минут, но еще издалека в глаза бросилось, что ворота, на которых обычно висел огромный амбарный замок, распахнуты.

Конечно, не хотелось обижать стариков, но...

Я в последний раз оглянулась на веранду, где все еще покачивалось плетеное кресло-качалка. И в нем — о, ужас! — все так же подмигивая и открывая в зловещей улыбке три оставшихся гнилых зуба, покачивался призрак двоюродного прадедушки, словно только что сошедший с портрета. Никаких сомнений — одно лицо! Разве что зубов поменьше. Но, может быть, призракам зубы вообще не полагаются?

Меня вынесло на пустую Соборную площадь со скоростью все нарастающего урагана. Никакого карнавала! Ни одного живого человека! Но я уже не могла повернуть обратно — куда мне было против парагванайского ветра, тем более, что в тот момент наши устремления совпадали: как можно дальше от дома сеньора Деметрио.

Ветер протащил меня через весь город — пустой город! На протяжении всего пути мне так никто и не встретился. О каком же карнавале шла речь?! Вопросы возникали один за другим, а ответов не находилось.

Я понимала только одно — меня несет куда-то по направлению к большой воде. И это, как ни странно, обнадеживало, потому что полуденное тропическое солнце так жгло, что я уже ни о чем думать не могла, кроме одного — найти хоть какую-то тень и воду.

На берегу ветер утих так же внезапно, как разыгрался. Солнце палило нещадно. И никакой тени! Только раскаленная галька и слепящая водная гладь.

Венесуэльский залив расстился передо мной, и он был частью того самого Атлантического океана, между мной и моим царицынским садом, где в прохладной тени я покачивалась в плетеном кресле-качалке...

Земля покачивалась у меня под ногами... И волны нарастали... Господи! Как же я вернусь обратно... Домой! В свой царицынский сад?!

Сознание то включалось, то выключалось, словно диктофон, которым я щелкала все три месяца на этом полуострове. Я балансировала между сном и явью, просыпаясь то на карнавале в Каракасе, то в московской мастерской в Царицыно, то опять в тропическом саду старого эмигранта, где почему-то шел густой обжигающий снег.

Меня уже заносило этим снегом по горло, когда я все же нашла в себе силы оторваться от кресла-качалки и уцепиться за чью-то руку.

Это был он — незнакомец с волчьим взглядом, посланный, чтобы протянуть мне руку со словами:

— Ну, что?! Ты уже все выжала из этого лимона?!

И это были вовсе не те слова, которые я хотела услышать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Волею судеб я оказался за границей в пятилетнем возрасте. Где-то я читал, что Лев Толстой помнил даже как его пеленали, но я, к сожалению, не обладаю такой памятью, и это очень обидно, потому что в эти пять лет вместились вся моя жизнь на родине. Хотя мне всегда казалось, что где-то там, в России, протекает еще одна моя жизнь, параллельно с той, что происходила сначала в Европе, а потом уж и здесь — в Южной Америке. Поэтому воспоминания этих двух жизней перемежаются и перебивают друг друга в моей старческой памяти, и я уже не знаю, что такое правда.

Как мне помнится, в первые годы эмиграции отец наш был управляющим в богатом поместье в Сербии, и родители создали для нас в этом поместье оазис, во всем подобный России — у нас была русская прислуга, русские повара, в гости к нам ходили русские князья, эмигрировавшие, как и мы, в Югославию. Потом все мы, дети русских эмигрантов, учились в кадетских училищах, где были только русские учителя и весь обслуживающий персонал, включая дворника и сторожа.

Конечно, я благодарен своим родителям, что они хоть так продлили иллюзию пребывания на родине. Но смутные воспоминания из жизни тех четырех лет в настоящей России до сих пор тревожат меня.

Эта телега, груженная мертвыми лошадьми, которую однажды мы с сестрами увидели на загородной прогулке, снится мне почти каждую ночь.

Она тащится по проселочной дороге, колеса увязают в грязи, шатаются и скрипят, вот-вот раскатятся в стороны, и тогда свисающие гривы — вороные, белые, гнедые — будут втоптаны в грязь.

И только проснувшись, понимаю — это опять мне снится Россия! Снится такой, какой я запомнил ее ребенком.

И каждый раз один и тот же вопрос тревожит меня: кто запряжен в телегу с мертвыми лошадьми?

Иногда мне кажется, будто вижу я во сне богомольную княгиню Прасковью, — тащит она на себе эту телегу и волосы ее распущены, как у девки, и волочатся по грязи, а в телеге, глядь, не лошади мертвые — а сестры ее, тетки мои родные, лежат с распущенными волосами. И косы их путаются и рвутся в колесах.

И так опутают меня эти сны, что утром лежу я, проснувшись, и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. И не могу понять: сон это или явь. А потом вспоминаю, что княгиня Прасковья еще жива, и недавно вернулась из паломничества по святым местам, и говорила, что Россия жива... Значит, сон это все! Сон! Просто сон о детском испуге... Вот ведь — ни княгиня, ни няня наша Варфоломея Евстафьевна так и не отмолили этот испуг, сколько ни распевали молитв, сколь ни отливали на воде и воске... Нет! Все снится и снится мне эта телега...

Вот оказывается, как я запомнил ее — мою родину!

Тогда уже шла гражданская война. Дед мой по матери, полковник интендантской службы Кирилл Елисеевич Квятковский, все время говорил моему отцу:

— Афанасий, наше место в Белой армии. Наше дело спасти честь России. Мы не можем сидеть сложа руки.

Отец мой в те годы участвовал в боях, которые велись против входивших в Одессу петлюровских частей. Но потом дедушка решил, что мы должны переехать в Крым. У моего дяди в Крыму была дача недалеко от Севастополя. Местечко это называлось Балаклава. Там сохранился хороший барский дом в два этажа, и на каждом этаже — по шесть комнат. Вот в этом доме отец и дедушка оставили нас с мамой, а сами ушли на Дон, чтобы присоединиться к Белой армии. Сколько они там пробыли, я сейчас точно не помню. Думаю, около года.

Но зато я хорошо помню тот день, когда в нашу усадьбу привезли на телеге моего отца. Он заболел тифом и его из авточасти, где он служил, отправили домой.

Его снимали с телеги и несли на руках в дом. А потом он лежал в самой теплой и дальней комнате. Это мне она казалась самой дальней, потому что меня не пускали к больному, а только иногда приоткрывали дверь и я видел через коридор, через холл, через узкий просвет приоткрытой двери — в глубине комнаты — отца. Самой теплой комната казалась еще и потому, что там лежал папа. Выздоровливал он очень медленно. А война продолжалась...

Помню, как ночью мой дед с рабочими погрузили узлы, сундуки в телегу, и на этой телеге мы всей семьей поехали в Севастополь. Несколько раз по дороге нас останавливали белые патрули, но поскольку дед был при погонах полковника, а отец в форме добровольческой армии, пропускали нас беспрепятственно. От пристани отходил корабль с названием «Сегет», который все местные жители почему-то называли «Сюжет». Это был австро-венгерский пароход-угольщик, и название свое он получил в честь большого города в Венгрии — Сегета. Но мне он запомнился именно как «Сюжет».

«Сюжет» отходил от Севастопольской пристани. Трап еще не был поднят, и дед попросил одного рыбака подвезти нас.

Мы погрузились со всем своим скарбом — сундуками и тюками, и поплыли к пароходу. Помню, как дедушка взял меня за руку и по трапу вывел на палубу. С этого парохода я посмотрел в сторону Севастополя и увидел, что наша пустая телега куда-то поехала, а вслед за ней — и рыбак с лодкой, и город тоже стронулся с места, и папа сказал: «Отходим...»

Вот так же и священник говорил над умирающей Варфоломеей Евстафьевной: «Отходит...»

Но в моей детской памяти жива была вера, что няня не умерла тогда, а просто отправилась в странствие по святым местам, и поэтому мне стало спокойно на душе.

Дедушка взял меня на руки, и я сразу успокоился и вспомнил няню. Я понял тогда, что мы обязательно встретимся. Ведь мы тоже отходим в своем «Сюжете». Мы обязательно встретимся, сестра моя, Люня...

2

Этой ночью Люне приснилось, что она наконец-то получила письмо от своего любимого брата Дмитрия. Она открыла глаза и увидела белый потолок больничной палаты, нависающий над ее высокой койкой. Вот уже три дня она наблюдала, как потолок падает на нее, и понимала, что осталось совсем немного, но сейчас между ее сердцем и потолком витало письмо брата, и она надеялась, что хотя бы несколько часов у нее есть. Письмо удержит...

Своим здравым, всегда немного холодным и практичным умом она понимала, что письмо Дмитрия не могло ее найти. Ведь все и началось с того, что какой-то грязный бродяга выкрал ее сумочку на пляже, которую она аккуратно спрятала под полотенцем и новеньким летним костюмом, купленным в бутике на Сабана Гранде в Каракасе. И с чего это вдруг ее в таком почтенном возрасте потянуло на пляж? Просто в разгар июльской полуденной жары ей стало нестерпимо холодно. Все случилось так неожиданно — смерть Николы, похороны, пустота в доме, пустота в душе, еженощные блуждания по страшным бесконечным комнатам, а потом неожиданное известие о смерти ее двоюродной тетки, и это наследство. Боже мой, какая фантастическая насмешка судьбы — получить такие деньги в девяносто лет после смерти любимого мужа, который был на целых десять лет младше и мог бы еще жить и жить... Но это только в их роду женщины живут так долго, не считая, конечно, ее бедной мамочки, которая от несчастной любви наложила на себя руки, обрекая собственную дочь на целый век сиротской и бездетной жизни. Потому что говорят, это мать того молодого улана, стрелявшегося на дуэли из-за мамочки, прокляла их род. Хотя улан остался жив и она, Люня, с ее трезвым практичным умом никогда не верила в это проклятие, несмотря на то, что детей Бог ей так и не дал, а Никола очень хотел маленьких и все вспоминал этот случай с дуэлью. Кто-то рассказал ему семейную притчу, наверное, младшая сестра Таня. Она всегда была такой болтушкой и осталась ею до старости... Ах, все не о том... Не о том, Люня...

Люня... Теперь опять Люня, как детстве. Она смотрела в белый потолок каракасской больницы — а видела письмо от брата. Княгиня Ольга думала о том, какое это большое письмо и как долго придется ей читать его — почти еще целую новую жизнь, и значит можно не бояться всех этих трубочек и проводов, выходящих из ее бедного тела. Она не знала, что с ней случилось. Ей никто ничего не объяснил. И она решила про себя: ничего страшного. Что с ней могло случиться на этом пляже? Ну, разве что солнечный удар... Хотя у нее всегда была такая крепкая холодная голова. И она все запоминала накрепко, и поэтому редко вспоминала. Да можно сказать, вообще не вспоминала. Она не вспоминала своего первого мужа, князя К., за которого вышла замуж в семнадцать, а через год потеряла в ополчении барона Врангеля. Так же, как теперь в больнице, не вспоминала и своего второго мужа Николу, румынского графа, с которым познакомилась в послевоенном Париже, силой своих чар увлекла за собой в Южную Америку, и прожила с ним здесь, в Венесуэле, всю жизнь. И даже брата своего Дмитрия, единственного и любимого, не вспоминала Люня, хотя письмо

его приснилось ей этой ночью. В письме удивительным образом объяснялось все произошедшее с ней за последние месяцы, о чем Дмитрий никак не мог знать.

Все началось с этого ужасного наследства, оставленного ей дальней родственницей по отцовской линии. Ей даже смешно называть ее троюродной теткой, потому что на их родословном древе ветка эта считалась давно усохшей и проклятой, но именно на этой ветке вызрело яблоко соблазна для Люни. Миллионное наследство... Деньги и ответственность... Ответственность за этого дурачка, воспитанника тетки Анастасии. Первое время княгиня Ольга никак не могла понять, кем приходился ее престарелой тетке этот молодой человек. У самой тетки Анастасии, так же, как у ее негданной наследницы, детей не было. Значит это внук или правнук одной из ее младших сестер, давно покинувших этот свет. Впрочем, Дмитрий был убежден, что Иннокентий вообще приемыш. Здесь княгиня Ольга была не согласна с братом. Своенравная и самолюбивая тетка Анастасия никогда не стала бы возиться с приемышем. Она слишком высоко ценила чистоту своего рода, выродившегося, в конце концов, в дурачка Иннокентия. И это после всех надежд, которые тетка Анастасия возлагала на него, после всех пансионеров и чудовищной траты денег на театрализованные русские усадьбы с русскими лакеями, поварами, учителями, и главное, светским обществом, состоящим из дряхлых, но чистокровных князей. Впрочем, в одном, возможно, Дмитрий был прав — именно тетка Анастасия и превратила Иннокентия в окончательного идиотика. Мыслимое ли дело — поселить ребенка в искусственно созданном девятнадцатом веке и продержат его там, как в бочке с рассолом, до двадцати семи лет. Не удивительно, что Иннокентий, и от рождения будучи не слишком бойким мальчиком, в результате такого воспитания сделался совсем не от мира сего. Она помнит, как увидела его первый раз — еще ребенком. Весь он был какой-то размякший, раскисший, одним словом — тот самый огурец, перележавший в заплесневевшем рассоле. Чего-то не хватало в этом составе. Какой-то соли!

Да и то сказать, на те несколько секунд кислородного голодания, которые пережил его мозг при родовой травме, наложить двадцать лет безумного голода по реальной жизни, лишить ребенка общения со сверстниками, и мотивировать все это тем, что дитя все равно непригодно для этого мира! Однако в монахи ведь не отдала... Себе оставила! Словно игрушку какую. Да разве ж этим играют?! Вот ведь и дауны ведут в Америке полноценную жизнь — и учатся, и играют в театре, и снимаются в кино. Ее брат Дмитрий, кстати, так и подозревал, что у этого их внучатого племянника на одну хромосому больше, чем положено. А что касается Америки, где по всем легендам, просто рай для детей с ограниченными возможностями, то она этот рай ненавидела самой лютой ненавистью, и даже слышать не хотела ни про какие ограниченные возможности правнука. По ее словам выходило, что возможности у него, напротив, прямо таки неограниченные, и скоро в этом все убедятся. Но убедиться в этом пришлось только Люне.

Не без содрогания готовилась она к первой встрече со своим молодым родственником, которого помнила столь странным мальчиком, что уже заранее обдумывала, в какую лечебницу для умалишенных его определить. Княгиня Ольга была с детства брезглива ко всему, что касалось отклонений в умственной

деятельности. Она не представляла, как сможет стать опекуницей такому существу.

Они должны были встретиться на острове Маргарита, где в живописной заводи скрывался маленький особняк тетки Анастасии. На остров княгиню Ольгу доставила роскошная яхта, на борту которой гордо красовалось название «Китеж», изображенное, впрочем, латинскими буквами. Княгиня горько усмехнулась. Даже не на русском, невзирая на все а ля рюс пансионаты... Бедный ребенок...

Глядя на эту белую яхту с ранящим ей душу названием, княгиня Ольга на мгновение ощутила себя той маленькой девочкой Люней и устрашилась этого воспоминания. Ни к чему это... Ни к чему... Сказки старой няни на ночь... Крестный ход на Пасху... Колеблющееся пламя свечи, прикрытое детской ладошкой... А вдруг погаснет! Не гаснет до самого Рождества, пока не уплывет туда — за морозные узоры на стеклах — в отражение города...

Никто не знал столько сказок об этом городе, сколько няня Варфоломея Евстафьевна. И никто не рассказывал их так! В этом было почти волшебство — и батюшка из их деревенской церкви всегда добавлял шепотом: «греховное», но тоже слушал, как завороженный.

Одно княгиня Ольга может сказать точно: бедному дурачку Иннокентию очень повезло, что на его долю не выпала няня Варфоломея Евстафьевна. Она вырастила их всех — Диму, Таню, ее, Люню, и только Юне удалось сохранить трезвый холодный взгляд на вещи, и спасти любимого брата Дмитрия от выдумок старой ведьмы. Это она возвела поклеп на бедную старуху, когда пропало жемчужное ожерелье мамочки. Никто, конечно, не поверил девочке, но няня от расстройства расхворалась, слегла, да так и не поднялась больше. Люня сама слышала, как вызывали священника соборовать сердешную, и батюшка говорил за стеной: «Отходит...» Видно, и вправду, отошла. Что было дальше, как-то затерялось в памяти. Говорят, перед самым отъездом из Севастополя она исчезла куда-то. И больше Люня никогда не видела свою няню. До того ли было?! В одну ночь собрались, чтобы успеть на этот австрийский угольщик «Сеггет», который переправил их в Константинополь.

Почему-то в день встречи с Иннокентием нахлынули все эти воспоминания — в глазах у княгини потемнело, и солнечный тропический полдень на острове Маргарита превратился в темную крымскую ночь, в которую отчалил корабль, перегруженный тюками, сундуками и их разбитыми судьбами. И в то же самое мгновение, когда белоснежная яхта покойной тетки Анастасии толкнулась в пристань на острове Маргарита, — австрийский угольщик «Сеггет» бросил якорь в Константинополе. И уже не маленькая девочка Люня, а красавица восемнадцати лет, княгиня Ольга, соломенная вдова пропавшего без вести князя К., сошла по трапу со своей младшей сестрой на руках, лихорадочно выискивая в пестрой цареградской толпе знакомое лицо. Никто не знал, что они должны были встретиться там. Никто! Только она... Наверное, тогда она и замерзла в душной цареградской толпе, когда он не подошел к ней. Замерзла навеки. Совсем, как девочка в сказке старой няни...

Не хватило спичечки одной, чтобы еще раз зажечь свечу...

И ведь ничего нельзя придумать неприметнее этого крохотного огонька, ничего обыкновеннее и даже невзрачнее, но только не тогда, когда его зажигают в темной детской в ночь на Рождество, и свеча освещает лицо того, кто стоит на балконе за темной бархатной шторой и приподнимает казачью папаху над бледным лицом, прелестным, но самым обыкновенным — овал правильный и мягкий, и губы... — губы совсем мягкие, особенно нижняя, слегка припухшая, выдающая слабость и своенравность, почему и бывает часто прикушена, чтобы скрыть эту слабость, которую так любят женщины вначале, и так ненавидят... потом.

Поэтому он и не смог подойти к ней там, в Константинополе, а она тем более. Хотя бы увидеть в последний раз, а подойти никак — рядом дед и отец, она держит младшую сестру на руках, а младший брат Дмитрий ухватился за юбку... И, главное, она — соломенная вдова князя К., пропавшего без вести в армии генерала Врангеля, а он — молодой улан, из-за которого погибла мамочка.

...И вот он с прикушенной нижней губой протягивает руки ей навстречу:

— Княгиня Ольга!

Он все-таки решился! И протянул к ней руки!

— Княгиня Ольга, это же я, Иннокентий. Я думал, тетя Анастасия в своем последнем письме вам все объяснила.

Она смотрела в широко раскрытые серые глаза, в самое обычное, разве что слишком мягкое лицо, на эти губы, отважившиеся наконец-то на улыбку и целование ее старых — увь! — рук, и совсем дряхлых — что поделаешь! — щек. Трижды — по-русски! Она смотрела на этого юношу и знала одно — никогда в жизни после встречи в Константинополе, она не видела таких глаз и не думала, что увидит когда-либо. Неужели это тот самый больной ребенок, которого она не рассмотрела двадцать лет назад?! Чувство необъяснимое и абсурдное, если оценивать холодным трезвым умом, переполняло сердце — чувство свободы и защищенности. Все отхлынуло и отпустило, руки сами потянулись навстречу — длинные, худые, когда-то по-девичьи летящие, а ныне костлявые с обвисшей старческой кожей. Ее ладонь опустилась на голову того, кто целовал ее трижды — по-русски. Пальцами, едва гнущимися в суставах, она ощутила мягкие волосы. Она не поняла, что случилось — то ли австрийский угольщик повернул обратно и причалил в Севастополе, то ли он совершил кругосветное — кругожизненное! — путешествие и вернулся в милый детский Крым. «Боже мой! У меня такое чувство, будто я опять дома! — подумала она, и тут же попыталась образумить себя. Я дома? Но ведь это же просто бессмыслица... Здесь, в Карибском море... Что это может означать?.. И как он сможет это понять?.. Наверное, я все-таки сошла с ума... Старая нянька настигла меня... Отомстила! Привела домой... Но боже мой, как хорошо!..»

— Вы дома, княгиня, — тихо сказал Иннокентий и обнял ее еще раз. Просто так. Без всяких церемоний.

3

Он никогда не был уверен в собственном рождении — даже не в том, что он последний в роду князей К., а просто в том, что однажды родился на свет — где и когда, а тем более от кого, знать ему не полагалось. Тайна собственного рождения посягала на реальность присутствия в мире, но взамен предлагала нечто большее — возможность чуда. То, что он живет на свете — казалось ему чудом, то, что он все-таки живет, невзирая на то, что творится в его голове. Он никогда никому не рассказывал про эти видения волшебных садов и сказочных птиц, поющих во время приступа острой головной боли.

Позже именно такое описание своей болезни он обнаружил в бумагах некоего Жюля Дютеля, которого тетка Анастасия считала их дальним предком. Но тогда, будучи ребенком, он еще не подозревал ни о каком Жюле Дютеле, тем более что нянька почему-то недолюбливала эту девичью слабость старой княгини и время от времени перепрятывала бумаги из его архива в доме. И тогда тетка Анастасия ругалась и переворачивала все вверх дном, кляня на чем свет стоит старую няньку. Старушка в это время скрывалась от нее в дальних комнатах. В детстве Иннокентия очень забавляла эта игра в прятки с Жюлем Дютелем. Он знал все тайники старой няньки, и так, сама того не желая, Варфоломея Евстафьевна возбудила в нем интерес к их дальнему французскому предку. Как зачарованный, слушал он рассказы о его странствиях на осле по Испании, о поездках в Индию, Южную Америку, Африку... И все эти сказочные страны располагались там же, где жила его боль. В эти волшебные края вместе с Жюлем Дютелем путешествовал и сам Иннокентий, часто сливаясь с ним воедино, особенно после того, как из перепрятываемого в очередной раз архива выпала гравюра с портретом их предка в детстве — один к одному маленький Кеша. Теперь о себе Иннокентий мыслил во множественном числе — и часто его мучительная боль превращалась в сияющих близнецов, живущих где-то в далеком зачарованном саду. Мальчик был одинок и болезнен. Он страстно мечтал о брате. Так объясняла тетка Анастасия странные фантазии своего внука. А вскоре мальчик просто перестал рассказывать о своих странствиях кому-либо, кроме старой няньки. Потому что все это слишком было похоже на ее сказки. Иногда ему казалось, что и его самого придумала эта старуха. Иногда он был просто уверен в этом...

Старая нянька рассказывала ему великое множество сказок, но особенно часто одну — об отраженном граде. Она рассказывала ее так, как будто сама пришла оттуда. Он знал всех обитателей этого города, их истории, надежды и печали. Он не помнил, когда попал туда впервые. Просто нянька, желая облегчить боль во время приступа, однажды взяла его за руку и показала дорогу в город. А в городе был сад...

Мальчику показалось тогда, что сад вырос из крохотного зернышка, в которое превратилась боль в правом виске. С тех пор он был уверен, что Варфоломея Евстафьевна попадала в город именно так. Став взрослее, Иннокентий с удивлением осознал, что никто не замечает няньку, живущую в доме. Но

истолковал это так, что она сама не всем показывается, выплывая ему навстречу из дальних комнат особняка. Он даже не подозревал, что она живет только в его воображении.

Ее звали Варфоломея Евстафьевна. Она была такой древней старухой, что кожа и плоть ее истончились, как папиросная бумага, которую увлажнив дыханием поцелуя и влажностью языка, осторожно скатывают слой за слоем, оставляя яркую переводную картинку — радужную колибри. В детстве он очень любил целовать няньку в сморщенные щеки и рассматривать в ней сквозь дряблую кожу свою разноцветную птичку. Он рассказывал ей на ушко об этой птичке, которая живет у нее внутри, и они смеялись вместе, приводя в негодование ревнивую тетку Анастасию.

Тайна — это было то единственно возможное пространство жизни, где он мог существовать в силу особенностей своей болезни. Так сказал однажды мудрый доктор, приглашенный во время особо мучительного приступа теткой Анастасией. Но только старая нянька понимала, что это значит. И она обустроила это пространство, превратив его в чудесный мир, где он мог скрываться не только в промежутках между приступами боли, но даже в момент самого острого проявления ее.

Терпение было единственным спасением Иннокентия — его тайной, населенной волшебными существами и странами.

Совсем иначе судила об этом княгиня. В свое время тетка Анастасия собрала целую библиотечку, посвященную синдрому острой головной боли. Она выяснила, что правая часть мозга отвечает за образное мышление, что причиной может быть что-то связанное с сосудами, нервами, позвоночником, недостатком впечатлений. «Все на свете и ничего конкретного», — бурчала под нос Анастасия, принимая между тем экстренные меры. Вся жизнь Иннокентия была наполнена экстренными мерами. Физические упражнения, закаливание, лечение травами, иглоукалывание и гомеопатия, посещение знахарей и шаманов... Все было бесполезно. Приступы продолжались и учащались. Он был просто изнурен болью. А между тем, как уверял знаменитый психиатр, не страдал никаким душевным расстройством, кроме этой самой проклятой мигрени. Даже посещение школы было сведено к минимуму — пришлось перейти на домашнее обучение.

И тетка Анастасия стала бороться с голодом впечатлений. Она заполнила свою усадьбу людьми — русскими, конечно, ибо так было принято в их кругу еще со времен первых лет эмиграции, когда все со дня на день ждали, что это большевистское безобразие закончится, и оседали где-нибудь поблизости — в Сербии и Хорватии, устраивая в тамошних вишневых и яблоневых садах подобие русских усадеб. С тех пор прошло столько времени... Можно сказать, век минул. Почти все отказались от такого образа жизни, но только не княгиня Анастасия. Исцелить внучатого племянника старая княгиня мыслила только так — воссоздать на своей южно-американской вилле маленькую Россию. Голод впечатлений... Конечно, утолить его можно только Россией — считала Анастасия. Ведь она сама всю жизнь страдала от этого голода. И знала, чем его можно

утолить. Но только не могла добыть этого. Гомеопатия от голода не помогает. Россия в таких малых гомеопатических дозах... Ну уж нет!

Ее утешением в старости стал привезенный когда-то из современной России больной мальчик, последний в роду князей К. Княгине все было представлено так, что мальчик спасен из большевистского рабства, чуть ли не похищен из детского дома.. Старая тетка не вдавалась в подробности. Она закрыла глаза на все и выплатила все, что от нее требовали многочисленные время от времени всплывающие «родственники» мальчика. В конце концов, Иннокентий стал принадлежать только ей. Этот мальчик стал ее лекарством от ностальгии. И теперь она должна была найти для него такое же лекарство. Посвятить всю свою жизнь утолению его голода. Она даже не могла предположить, что ее воспитанника может мучить другой голод, совсем иной, который нельзя утолить доступными ей средствами. Только Россия! — решила тетка Анастасия. Но если само лекарство недоступно, — рассудила она, то есть же... нет, не суррогат, но острая память, информация, вживленная в крупинку сахара, которая тает под языком, переполняя твою душу запахом жасмина в Малаховке, шумом дождя сквозь липы, светом сквозь мокрое ажурное кружево сада...

Иннокентий ничего этого не помнил.

Русские повара, русские учителя, страницы из романа «Война и мир», переписанные под диктовку, целые тома русской классики, выученные почти наизусть — вот что досталось ему.

Так продолжалось до того дня, когда архив Жюль Дютеля попал в руки Иннокентия. Однажды, во время очередного перепрыгивания бумаг, Иннокентий, уже выросший мечтательный юноша, самостоятельно овладевший несколькими языками, спрятал архив в собственный тайник — и уже никто, ни нянька Варфоломея Евстафьевна, ни тетка Анастасия, не смогли найти его. С этого дня старая нянька перестала выплывать из дальних комнат, и только иногда во время самых сильных приступов появлялась у изголовья и гладила его мягкие спутанные волосы.

Но очнувшись, он уже не был уверен в том, что это не сон, хотя и слышал время от времени, как тетка Анастасия ругается с кем-то и секретничает за утренним кофе. Княгиня всегда варила себе две чашки кофе и уходила с ними в свою комнату. На свободу Иннокентия она уже не посягала, правда, в пределах их русской усадьбы, воссозданной на острове Маргарита. Теперь Иннокентий и днем и ночью изучал архив своего французского предка...

Приступы учащались... И вход в город был закрыт...

Старая тетка не могла не замечать, что состояние ее любимца ухудшается. В четырнадцать лет он впервые попал в больницу. Известный психиатр по-прежнему уверял: никакого психического расстройства, просто мальчику нужно отдохнуть, да и старой княгине тоже...

Княгиня отдыхать не захотела. Она поняла одно — у нее собираются отнять ее лекарство. Она сожгла всю домашнюю библиотеку русской классики и разогнала прислугу вместе с высшим светом. Она обошла все суды и инстанции, потратила целое состояние на адвокатов... Иннокентий был признан вменяемым и способным самому выбирать свою судьбу. Он выбрал тетку Анастасию.

И она оценила этот выбор. И щедро отблагодарила, предоставив право на все — на целый мир, который был отнят у него вначале. Этим миром оказался каракасский карнавал, который перекрыл им дорогу на улицах города, когда она везла Иннокентия из психиатрической клиники домой. Юноша прильнул к окну машины с горящими глазами. И старая княгиня открыла дверцу. Какой-то проходящий мимо шутник бросил Иннокентию маску Кецалькоатля, украшенную разноцветными перьями колибри и кецаля. И с этого момента он, последыш в роду князей К., перестал чувствовать себя голым в мире.

4

Они жили на этой вилле уже три недели, и Люня никак не могла понять, почему этот подвижный артистичный юноша считался среди своих родственников если не дурачком, то уж точно юродивым. Ничто в его поведении не говорило о психических сдвигах или ненормальностях. Они редко выезжали и все время проводили вместе. Утром он приносил ей кофе в постель, и прежде чем она прикасалась к чашке, расцеловывал ее старые морщинистые руки с такой искренностью и горячностью, что часто доводил ее до слез. Однако что же в этом ненормального, — рассуждала она, — в конце концов, они родственники, юноша хорошо воспитан, ну, разве что слишком эмоционален, иногда почти до экзальтации. Но это только на ее вкус, так сказать на соображение ее холодной рациональной головы. Не зря же старая нянька говорила, что в голове у нее льдышки вместо мозгов.

Нянька не могла даже предположить, что будет, если этот лед растопить, прикасаясь по утрам губами к ее старой сморщенной коже — сначала к кончикам пальцев, потом к запястью... И пока губы не продвинулись ни на миллиметр выше, княгиня резко выпрямлялась и брала дрожащими руками чашку. Горячий кофе казался ей ледяным после того жара, который испытывала она внутри. И опять вспоминалась ей няня Варфоломея Евстафьевна... «Что случится, если этот лед растает в девяносто лет? — спрашивала себя. — И почему я не могу его любить? У меня никогда не было детей. И он мне даже не сын, уж скорее правнук...»

Она не знала, как любят правнуков. Может быть, именно так. Но ужасалась при одной мысли, что он заметит — как именно так. Однако Иннокентий ничего не замечал. Долгие солнечные дни проходили незаметно, и она никогда не могла проследить, чем они заполнены — пешие прогулки по острову, иногда на яхте по морю, разговоры обо всем на свете, в основном, ее воспоминания. Ему все было интересно. Она могла поклясться: ему не было скучно! А уж ей и подавно...

По вечерам Иннокентий читал ей вслух старые журналы, оставшиеся после тетки Анастасии. Он делал это с таким удовольствием, с такой живостью, обсуждая необычные сюжеты и додумывая историю, если продолжение оказывалось утерянным. Это ему нравилось больше всего. Люня находила в нем определенный дар сочинителя, который мог бы и развиваться во что-нибудь серьезное, если бы обстоятельства сложились иначе. Но обстоятельства сложи-

лись именно так как сложились. Ни разу не удалось ей убедить Иннокентия записать собственные фантазии — каждый раз он удивлялся и отнекивался, мягко, но непреклонно. Другим увлечением, после чтения старых журналов, было музицирование на старом семейном фортепьяно. Здесь он доходил прямо-таки до страсти, никогда не играя по нотам, и княгиня Ольга не сразу поняла — все, что она слышит, звучит впервые и больше не повторится никогда. И она уже знала — умолять бесполезно. Всякое повторение теряло смысл для него... Но не для нее. Ей хотелось, чтобы это никогда не кончалось... Потому что... Потому что все, что происходит сейчас — это впервые и не повторится никогда, так же, как его импровизации. Что больше всего потрясло ее в этом осознании? То, что не повторится никогда? Нет, конечно. В ее-то девяносто три... Но ее обжигало сознание того, что это впервые! Впервые — вот так! С такой силой! Это казалось немыслимым, но так и было. Потому что тогда в Царьграде — тот, кого она ждала, так и не вышел из толпы... И она только сейчас узнала, как это бывает, когда не помнишь, чем был заполнен день, кроме его смеха, его дыхания, его шуток. Она поняла, что память ее упорно подменяет лицо в константинопольской толпе лицом Иннокентия, эта безумная память упорно не желает засчитывать прошедшие семьдесят пять лет, — она, Люня, все там же, в двадцатом году, и вот его лицо в толпе — и вот они уже здесь, на острове Маргарита, всего-то и нужно было переправиться через океан. А лет этих не было! Не было! Не было!

Она прорыдала всю ночь и рыдая, страстно желала, чтобы этот обжигающий лед в голове сжег ее сердце, чтобы утром Иннокентий нашел ее бездыханной, совершил все необходимые ритуалы, и все это наконец-то закончилось! Но даже рыдая, она осознавала, что это тоже впервые — она никогда в своей жизни не позволяла себе так рыдать, так отчаянно, не скрываясь, чтобы все слышали. Чтобы слышал он — там, за стеной... Потому что этот лед все еще оставался льдом ее непреклонной воли, и воля эта желала, чтобы он — тот, что здесь, на острове Маргарита, был тем, оставшимся в цареградской толпе, чтобы сейчас шел двадцатый год, и впереди еще были семьдесят пять лет совсем другой жизни. И главное, чтобы он — там, за стеной, услышал ее рыдания... И вошел к ней!

И он слышал... И не вошел... И рыдая всю ночь, она успела обидеться смертельно, и обидевшись, умилиться. Ведь если бы он считал ее просто старой теткой, да что там теткой — бабкой! — то услышав странные звуки за стеной, наверняка бы вошел узнать, не случилось ли чего, не нужна ли помощь. Но он не вошел... Значит, он все понимал. И может быть, даже... Она боялась думать дальше.

Он вошел только утром, как всегда с чашкой кофе. И как всегда принялся целовать ее старые сморщенные руки — не спеша, начиная от кончиков пальцев, скользя губами по фалангам и вздувшимся жилам, и когда губы дошли до запястья, она выпрямилась, всей своей волей удерживая его губы, притягивая их, как магнитом. И губы двинулись дальше... — все выше и выше от запястья к локтю... Невообразимый юный ужас переполнял ее всю — ужас от того, что она это позволяет, хотя ничего ведь и не происходит... Что изменится, если молодой человек поцелует руку старой женщине чуть выше запястья? Она прикрыла

глаза, чтобы не видеть своей старой сморщенной кожи, а только чувствовать его губы — уже чуть выше локтя, уже почти у плеча... С закрытыми глазами она постаралась вспомнить, какая на ней ночная рубашка — и не смогла. Память подсунула картинку семидесятипятилетней давности — Рождество в детской, и шепот за колышущейся шторой: «Ну и что будет, если чуть выше запястья? Почему же нет?» Она увидела ночную сорочку, которая была на ней в то Рождество — тонкую батистовую в кружевах и оборках, она увидела свою юную нежную кожу и ощутила этой кожей его губы... и тот, забытый шепот: «Ну, и что же будет, если чуть выше локтя? Почему нет? Ну и что, если плечо...» И как тогда, все в ней вдруг закричало: «Нет!»

И она разжала веки как раз в то мгновение, когда губы замерли на ее плече, так что странно суженные зрачки его оказались ровно напротив ее глаз. Она смотрела в эти прозрачные серые глаза и видела в них отражение свечи в рождественскую ночь, отражение какого-то города — наверное, Царьграда, где возлюбленный так и не окликнул ее... А быть может, это был Константинополь. Ведь он сказал, я найду тебя в Царьграде, а они приплыли в Константинополь. Вот он и не окликнул ее...

У нее кружилась голова от стыда и страха, и она не сразу вспомнила, где она и с кем... И не сразу поняла, что Иннокентий не видит ее, что он не видит ничего. Его прозрачные живые глаза, в которых для нее отражается столько всего, устремлены куда-то в совсем иное, и в этом ином, он, быть может, и видит ее такой, какой она была семьдесят пять лет назад, однако же он не здесь, не с ней теперешней... Он не здесь... И она опять одна... Почему она опять одна?! Почему?! Почему он смотрит и не видит ее?! Он смотрит мимо ее сморщенной старческой щеки, словно стена за ее спиной представляет для него куда больший интерес, словно на этой стене он видит что-то удивительно яркое и притягательное — какую-нибудь разноцветную волшебную птичку, рожденную лучом кинопроектора. И откуда исходит этот луч, не знает никто. Она вдруг ощутила свою власть и силу — совсем как тогда, семьдесят пять лет назад. Да, тело дряхлеет, но не воля! Если она захочет — все будет так, как она захочет. Если она захочет... Если бы она знала, чего хочет... Нет, она знает, чего хочет. Она хочет невозможного. Она смотрит ему прямо в глаза и хочет невозможного. А он даже не подозревает. Он где-то не здесь... Но именно потому что он не здесь, это невозможное с каждой минутой все больше кажется возможным — как будто и взгляд его, и он сам находятся сейчас где-то в таком месте, где все возможно. И если она направит свою непреклонную волю вслед за ним — она тоже попадет туда, где все возможно. Он медиум... Она не столь уж невежественна в таких вещах. Она кое-что читала об этом, хотя никогда не верила. Она, впрочем, ни во что никогда не верила. Она всегда верила только в то, что видели ее глаза, а сердцу видеть не полагалось, потому и веры ему не было. И теперь ее разум кричит, чтобы она не слушала сердце... И значит она в опасности! Потому что он сумасшедший! Она на острове одна с сумасшедшим!

— Иннокентий... — сказала она дрогнувшим голосом. И в голосе этом слышался страх, только страх.

— Я что-то задумался, — сказал он, и прикоснулся к чашке на подносе. — Кофе остыл...

— Да, кофе совсем ледяной, — согласилась княгиня Ольга.

5

Эти состояния — странной отстраненности и даже удаленности куда-то — всегда предшествовали приступам той болезни, которой Иннокентий страдал с детства. Но княгиня Ольга, конечно, не знала об этом. Она не знала, что покинув ее спальню, молодой человек на ощупь стал пробираться в комнату, где его ждала няня Варфоломея Евстафьевна. Он научился находить ее сам... Во время приступа зрение его стремительно угасало, и он уже знал: самое главное успеть добраться до тайной каморки — упасть в объятия няни, прежде чем все расплывется перед глазами, и острая боль взорвется в правом виске. Успеть спрятаться до того, как все его существо подчинит себе непобедимое желание признаний... Это происходило неизбежно, и всегда было сильнее его — на вершине приступа, в самой высшей точке боли в нем просыпалась какая-то непреодолимая потребность признаний в любви.

Да-да! Признаться срочно! Открыться... — и не то чтобы всему миру, а конкретной душе человеческой, кому-то теплomu, доброму, единственному, и он знал, что через эту душу его услышит весь мир.

Ему всегда казалось, что именно в эти мгновения невыносимой боли он встретит прекрасную беглянку — разноцветную птичку, которая упорхнула когда-то из няни Варфоломеи Евстафьевны. Поэтому няня стала такой грустной и молчаливой и пряталась даже от него. Ее теплая рука еще хранила исцеляющую силу, но лицо свое она уже не показывала. И он точно знал: только признание в любви может приманить беглянку обратно. Просто нужно не ошибиться. Но как не ошибиться? Ведь можно признаваться избранным, а «птичку» пропустить. Так не лучше ли признаваться всем! Тем более, что это такое блаженство! И такая свобода! Как будто крылья развязали, о которых он и забыл давно. И крылья сами вспомнили, для чего они надобны, и для чего надобен он, Иннокентий. Оказывается, он тоже может пригодиться в этом мире — просто сказать о любви, всем-всем и каждому, кого встретит. И это вовсе не стыдно и не страшно. Вот говорит же он с Богом в эти мгновения боли, и говорит как с самим собой! О любви говорит! Так отчего же он не может сказать это всем и каждому?! В детстве он часто обижался на Бога, что тот лишил его крыльев. Он никому не говорил об этой обиде. Никому! Даже няне. И обида его продолжалась, пока Бог сам не открыл ему, что у человека есть крылья — просто они растут из сердца. И вспомнить об этом — это так же, как снять с них путы. Но почему же так редко это получается? Почему? Только в мгновения самой острой боли! Раньше сердце умело летать через радость, а теперь — только через боль.

И в этот раз все было как всегда. Холодный рассудок, властвующий в нем до приступа, уверял, что делать этого нельзя, что его опять запрут в сумасшедший дом, этот властный голос каждый раз приказывал найти укромное место и

спрятаться, пока приступ не пройдет. И тогда Иннокентий делал вид, что подчиняется. Он блуждал по дому в поисках укромного уголка, а на самом деле искал комнату няни. А кому еще он мог признаться в любви?! Обманутый голос рассудка утихал, а на смену ему приходил другой — страстный, искренний, прерывающийся от избытка чувств. Иннокентий двигался по этажам, по лабиринту пустых комнат и репетировал свои признания. Он шарил руками по стенам, припадал правым виском ко всем дверным ручкам, связкам ключей и даже замочным скважинам — ко всему металлическому, что только имелось в доме, чтобы хоть как-то охладить жар, нарастающий в голове. Он всегда носил связки ключей в карманах и всегда держал лед в морозильнике. Но Бог заботился о нем — и в нужный момент все ключи терялись, а морозильная камера оказывалась обесточенной. И тогда он понимал: Бог хочет говорить с ним через боль. Но долго еще в малодушии припадал виском к замочной скважине, прижимался лбом к зеркалу... Он смотрел на себя в зеркало — и видел стену. И тогда он сползал вниз по зеркалу, он опускался на колени, чтобы не видеть стены. Он бился лбом об пол, чтобы не видеть стены. И малодушие отпускало его. Он начинал говорить с Богом — и со всеми через Него. И Бог отвечал ему — через каждого, кто встречался на пути...

Он не знал, как это будет на этот раз. Но инстинкт проснулся и вновь направил к той дальней комнате, из которой уже давно не показывалась Варфоломея Евстафьевна. Только няня могла его понять. Только она!

Но встретила же ему в то утро княгиня Ольга...

Он не помнил, что говорил ей...

Он не знал, сколько дней длился приступ. Но точно дольше обычного. Какая-то старая женщина приносила ему кофе по утрам и целовала руки. И когда она касалась губами его пальцев, ему казалось, что на ладонь садится птичка...

Он не сразу вспомнил, кто это, но понял, что она рылась в его бумагах и читала дневники. Иннокентий вполне осознал это, когда вдруг уловил ее взгляд, исполненный ужаса и восторга. Это было все, что осталось от его «птички» — одно-единственное перышко. Но вскоре и оно растаяло.

— Княгиня Ольга? — спросил он надтреснутым детским голосом.

— Да? — переспросила она таким же надтреснутым, но старческим голосом.

— Нет... Ничего... — он вздохнул и сразу почувствовал, что взгляд стал настороженным и еще более испуганным, а восторг исчез. «Вот ведь, — усмехнулся он сам себе, — ее детский восторг подобен искусственному льду. Еще немного и этот лед испарится на тропическом солнце, не оставив даже лужицы воды... Да... Ни единой слезинки».

Она заметила эту усмешку и усмотрела в том обиду. Поджала губы и отвернулась. Он вытащил бутылку кока-колы из холодильника, а потом, немного подумав, достал из бара гавайский ром и смешал два «Кубе Либре». И тогда она подала ему страницу дневника, которая все еще прокручивалась в ее сознании обрывочными фразами:

«...и сказал проводник, пока новорожденному не исполнилось сорок дней, он видит все братство нас, близнецов. Он каждого привечает и приветствует, но не может никому поведать о том. А когда исполняется сорок дней, он забывает. Но раз в столетие рождается помнящий. Этот помнящий не может ни с кем поделиться своим воспоминанием, он воплощает его в тревожных фантастических образах, никому не понятных, он обречен на одиночество и непонимание, пока судьба не сведет его на одном острове с тем, кто вступил в свои последние сорок дней. Кто бы он ни был — мужчина или женщина, молодой человек или поживший на свете, вступая в сорокадневные воды, он опять встречается со своими младенческими видениями. Лишенный веры в себя, он испуган и смущен, и способен даже отказаться от своего прозрения, если с ним рядом не окажется изначально помнящий. Иногда последний и сам не знает, что он проводник... Он тоже сомневается... И только в это мгновение понимает...»

— Что это? — испуганно прошептала княгиня Ольга, отбросив прочитанный лист. — Зачем все это? — хотела переспросить, но посмотрев на отрешенное лицо племянника, сдержалась. — У тебя слишком архаичный стиль для нашего безумного времени, — сказала сухо.

Иннокентий отреагировал мгновенно — он повернулся к ней со всей артистичностью карнавального шута, в которого часто перевоплощался, надевая маску Кецалькоатля и исчезая на несколько дней из усадьбы. Он рассмеялся и поднес ее руку к губам, помахивая исписанным листом бумаги, как веером.

— О, нет! Нет! — приговаривал он, заливаясь простодушным смехом, — как вы могли подумать, милая... милая... — недоговаривая и смущая ее этим неожиданным «милая», хотя и сказанным почтительно на «Вы». — Нет-нет! Как вы могли подумать! Разве я способен на такое? Малообразованный, оторванный от действительности дебил, — и он рассмеялся радостно, повторяя ее собственное выражение, сказанное о нем в пылу ссоры с братом Дмитрием. Единственный раз в жизни они с братом поссорились и все из-за него — малообразованного, оторванного от действительности дебила-племянника. Помнится, тогда она, княгиня Ольга, решила отказаться от опекунов вместе со всем миллионным наследством, и брат Дмитрий сильно разгневался на нее...

— Да нет же! — смеялся Иннокентий, — как вам могло прийти такое в голову. — Это просто перевод. Вы разве забыли, княгиня Анастасия сохранила архив нашего двоюродного прадеда Жюля Дютеля. Правда, свои философские труды он писал под псевдонимом. Ну и зашифровал же он свои откровения! Хотя ведь ничего особенного, не так ли? Непонятно, к чему такая конспирация? Я несколько лет ломал над этим голову, и вряд ли чего добился бы, если бы перед смертью княгиня Анастасия не передала мне клочок бумаги с последними его словами. Это был своего рода ключ. Она, правда, уверяла, что это слова призрака, но мы ведь не верим с вами в призраков, — смеялся он, продолжая помахивать листом бумаги, словно призывая к ее горящему лицу свежий океанический ветер.

— Почему же?.. Я верю в призраков! — неожиданно раздраженно ответила княгиня Ольга.

— А я нет! — беспечно парировал Иннокентий. — Но какова княгиня Анастасия! Оказывается, все это время у нее был ключ к шифру, а она молча наблюдала, как я ломаю над этим голову. Вполне в ее духе!

— Вполне в ее духе, — согласилась княгиня Ольга.

— Это ничего, что вы рылись в моих бумагах — невинным тоном добавил он, — вы, наверное, искали вот это... — и он протянул княгине тонкую пачку конвертов, перетянутую красной шерстяной ниткой. — Это многое объяснит.

— Не хочу я никаких объяснений... — она раздражалась все больше и больше.

— Но, во всяком случае, это вас развлечет в мое отсутствие. Я тут должен отлучиться.

— Ты опять! — гневно вырвалось у нее, — как ты можешь! Ты русский дворянин — и эта маска шута...

— Кецалькоатля... — поправил ее Иннокентий.

— Да, этого беса! А ты православный христианин!

— Так ведь карнавал, — простодушно развел он руками.

— Ну и что!

— Но ведь это... Как бы сказать... Это моя работа... У меня ведь нет миллионного наследства... — опять рассмеялся он. По-видимому, у нее изменилось выражение лица, потому что он тут же замахал руками, восклицая: — Да нет! Нет! Я не имел в виду ничего такого. Но какая же вы мнительная! Милая... Милая... — и он опять припал губами к ее руке, быстро покрывая ее поцелуями от кончиков пальцев до запястья...

«Это просто цепь какая-то, — неожиданно подумалось ей, когда он прижался лицом к ее кружевным рукавам, укрывающим руки от тропического солнца. — Боже мой! — вдруг обожгло ее, — да это и вправду цепь! И он кует эту цепь — звено за звеном, холодно и расчетливо. Какой же он debil? Да он же просто сводит ее с ума — холодно и расчетливо! Ну, конечно же, миллионное наследство! Тетка Анастасия лишила его этого наследства. И теперь он добивается его. И как изощренно! Не нужно никаких ядов. Просто свести с ума старую дуру, впавшую в детство. Холодно и расчетливо... — на этой обжигающей мысли он посмотрел на нее своими прозрачными серыми глазами. Нет, не прав был Дмитрий, называя его подкидышем — холодный лед их природной рассудочности переливался в его глазах. Холодное, обжигающее одиночество, способное довести до безумия кого угодно, но только не последыша из рода князей К.

Он еще раз прижался губами к ее руке и быстро покинул террасу.

А она взяла первый конверт. Он был подписан его рукой и, что самое удивительное, не распечатан. Впрочем, так же, как и все остальные. И княгиня Ольга подумала, как это удивительно, что она читает эти письма первой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Итак, тетушка Анастасия, описываю Вам все в точности, как и обещал, когда Вы на смертном одре взяли с меня слово совершить паломничество по святым местам русским, и не каким-нибудь князем-неженкой, последним в роду князей К., а простым смертным без денег и документов, как это принято у странников на Руси. На последнее "без документов" я все-таки не решился, и почему, объясню позже. Однако начну с самого начала. До Арзамаса я доехал обыкновенно — на поезде, без всяких происшествий. До Арзамаса — потому, тетушка, что Вы настаивали, чтобы странствие свое я начал с Дивеево. И вот в этот маленький провинциальный городок со странным названием "Арзамас" мы прибыли рано утром — часов в семь. Еще в поезде — а ехал я в плацкартном вагоне, как мне и было Вами велено — я познакомился с двумя молодыми особами, одна из них оказалась хозяйкой прекрасного дома в деревне Осиновка, совершенно, как выяснилось, рядом с Дивеево, то есть буквально минутах в двадцати ходьбы. Поскольку я, как Вы, тетушка, знаете, совсем не умею врать, то мне при знакомстве пришлось объяснить прямо все, как есть — что моя троюродная прабабка, умирая в Южной Америке ста двадцати лет от роду, велела мне совершить паломничество по святым местам. Вы уж простите меня, тетушка, пришлось все так и сказать, хоть Вы и запрещали называть Вас бабкой, а тем более пра... пра... Но здесь для пущей достоверности пришлось сказать истинную правду, и даже возраст упомянуть, хотя, что касается лет ваших, то брякнул я наугад, вы от меня всегда скрывали, а припиши я вам меньше ста двадцати лет, это вызвало бы недоумение. Впрочем, спутницы мои все равно не стали ничего подсчитывать, и, по-моему, даже пропустили мимо ушей обмолвку о ваших годах. Так что на этот счет, тетушка, можете не беспокоиться. Так же утаил я от них, что умирая, велели Вы писать письма на протяжении всего моего паломничества и отсылать их на ваше имя по одному известному только нам парижскому адресу. Эту странность я тоже скрыл от них, тетушка, потому что иначе мне было бы очень трудно общаться с моими новыми знакомыми. Уж и так показалось им странным это поручение "выжившей из ума старухи", — извините, тетушка, это их слова — но еще более невероятным показалось им послушание, с каким я воспринял Ваше поручение. Поэтому чтобы особенно не озадачивать милых своих спутниц, мне пришлось сказать, что таково было условие на получение миллионного наследства, мол, пока я — нищий князь без гроша в кармане, а как только паломничество совершу, тут же окажусь богатым наследником. Объяснение это их вполне удовлетворило и даже умилило, поэтому они тут же предложили мне свое гостеприимство. Таким образом, из Арзамаса в Дивеево мы ехали вместе на частнике. Шофер нам попался словоохотливый и богоугодный — вся кабинка его "Нивы" была оклеена бумажными иконками, а переднее стекло разбито и заляпано грязью, хотя погода стояла солнечная и, судя по высохшим окрестным полям, дождя давно не

было. Однако я, тетушка, не стал обращать внимания на эти мелочи, хотя двойная трещина и грязь на лобовом стекле изрядно мешали рассматривать старинный купеческий город Арзамас и все его церкви, о которых рассказывал словоохотливый мужичок. Мужичком его называли мои спутницы между собой, хотя на вид ему было лет сорок. И так этот мужичок довез нас до первой избы Осиновки и уже хотел высадить, как вдруг хозяйка усадьбы, куда я был приглашен, потребовала, чтобы нас подвезли прямо к калитке, и что-то добавила про свой неподъемный багаж. Тогда мужичок потребовал еще сто рублей сверх тех, что он запросил ранее. Хозяйка заохала, что это грабеж — и так, мол, от Арзамаса до Дивеево он взял по сто пятьдесят рублей с каждого, а тут еще за двадцать метров требует доплаты. Однако мужичок возразил, что его нанимали только до деревни, а не до середины деревни. Спорили они минут двадцать, но, в конце концов, хозяйка выдержала характер, заявив, что иначе не заплатит вообще. И он провез нас по березовой аллее метров на двадцать вперед — езды не более минуты, нужно сказать. Простились все вполне доброжелательно. И только меня, гостя заморского, поразила абсурдность этой сцены. Мне показалось, что за то время, пока спорили, мужичок этот мог уже вернуться в Арзамас с новыми пассажирами, а там взять опять пассажиров и заработать второе. Но, возможно, я не прав и чего-то не понимаю в психологии арзамасских мужичков. Возможно, ему просто хотелось поговорить с хорошими людьми.

Потом мы вошли в этот замечательный дом, обшитый сосной, остро пахнувшей на солнце, и хозяйка сразу заставила меня мыть полы. Сосна пахла еще острее, а я почувствовал себя совершенно счастливым. И это невзирая даже на деспотичный характер нашей молодой хозяйки по имени Наталья.

Вот и сейчас я пишу вам письмо, а она зовет меня с веранды, и голос ее звенит в сосновых досках, как стук дятла. Нет, тетушка, признаюсь вам, никто бы не заставил меня мыть полы, кроме этой сосны, так остро пахнувшей на солнце. А хозяйка... Она опять зовет...

...Тетушка, извините, что прервал свое письмо на полуслове, меня позвала хозяйка Наталья помочь ей доить корову. Чья-то буренка забрела к нам в сад и две подруги решили ее подоить, чтобы побаловать себя парным молочком. Что из этого получилось, тетушка, боюсь даже рассказывать. Трое против одной коровы — две городские барышни и я, выросший на острове в Карибском море. В конце концов, корова победила. Потом, когда я нес воду из родника в двух блестящих цинковых ведрах и споткнулся на первой ступеньке крыльца, меня обозвали олухом и послали за водой еще раз. Воду я носил долго... Так что продолжить письмо удалось только на следующий день.

...Я уже вполне осмотрелся и даже обжил комнату на втором этаже. Спать, правда, приходится на полу — на куче сена, накрытой простыней не первой свежести. Никакой мебели не имеется. Зато просторно. А уж красота здесь неопишущая! Дом наш стоит на самом краю Осиновки, и с веранды открывается вид на луга, поля и остроконечный лес на горизонте. Кажется, это ели. За небольшим холмом виднеются купола обители Дивеевской, и чуть повыше колокольня, откуда и сейчас доносится колокольный звон.

А утром, тетушка, я проснулся от звона колоколов и пения петухов.

Звучали они одновременно и как-то дивно в унисон. И именно с этого момента, когда нужно было подхватиться с постели и бежать на службу в храм божий, нахлынули на меня детские сны и видения про тот самый город, о котором рассказывала няня Варфоломея Евстафьевна. Кстати, передавайте ей поклон и утешение по поводу птички. Я бы и сам ей написал, так ведь она все равно грамоте не знает, хотя и шлет мне письма — снами детскими. Так я и смотрел эти сны сегодня утром, а сквозь них слышались колокола и петухи, и голоса деревенских жителей, и каждый сверчок, и кузнечик, и каждая птичка в далеком лесу остроконечном.

А уж когда донесся голос моей хозяйки, тут я вскочил, тетушка, но не помчался на зов, а сел дописывать письмо. Потому что сначала обет, а потом — зов. На этом я заканчиваю письмо и бегу к Наталье...

Как же я забыл, что сегодня утром мы идем с Крестным ходом! Внизу уже много разных голосов — целый улей! Наверное, гости приехали к празднику, потому что сегодня 1 августа — день Серафима Саровского. Кланяюсь и целую Вашу руку, тетушка. Вечно Ваш Иннокентий.»

«Вечно Ваш... Вечно мой, Иннокентий... Только мой...», — глотая слезы, повторяла княгиня Ольга, прижимая письмо к груди. Детские воспоминания захлестнули ее — поездка в Саров к мощам батюшки Серафима после самоубийства мамочки. Та единственная исповедь, после которой она не смела уже подойти ни к одному священнику. А тогда все рассказала! Все! И услышала, что будет и ей отпущение, но не сейчас... — не тогда! — а именно сейчас!

Иннокентий и есть ее отпущение!

Вслепую от нахлынувших слез она развернула следующее письмо и начала читать с середины.

2

«...И еще было мне такое: будто склоняюсь я над источником святого Пантелеймона Целителя, что под Дивеевым, — помнишь то лето, когда мы должны были встретиться в Арзамасе, а ты уехал на гастроли, да так и не вернулся к назначенному сроку, — и вот я низко склоняюсь над этим источником, прикасаюсь ресницами к воде, и родник откликается, со дна пробивается ключ и бурлит, вихрится песчинками — словно роза песчаная расцветает, а внутри этой розы: воронка света яркого так и манит, так и затягивает. И тогда, чтобы не захлебнуться, начинаю я быстро-быстро пить воду из родника, крупными глотками пью и все глубже ухожу в эту розу под водой...

...А когда голову поднимаю — вместо холмов цветущих и куполов обители Дивеевской вижу я город чудесный, странный такой город: башни, купола, арки... — все из чистого света. И чувство такое — вроде как родился здесь и не уходил никуда. Иду я по этому городу и сердце мое радуется, как только в детстве оно радоваться может. Иду и слышу отовсюду: "Радость моя!" И не пойму, кто это меня окликает, но так и тянет на этот голос. Так и дошла я до самого окраинного дома, что весь до крыши в саду утонул. Заглянула я за ограду

и увидела розы, и каждая вихрится изнутри, будто ключ родниковый, а одна, цвета нежного телесного, сквозь решетку узорную протиснулась и тянется прямо к рукам. Не удержалась я — сорвала розу, и тотчас кто-то сзади за плечо меня ухватил и трясти стал. Впору сгореть от стыда! Боюсь обернуться, а этот кто-то все трясет и трясет за плечо. Оборачиваюсь и вижу твое лицо — приехал, все-таки, думаю — а за тобой, Бог ты мой! — опять холмы цветущие, купола дивеевские. Будто и не было никакого города! Уснула я, что ли, над родником святого Пантелеймона?! А ты смеешься и говоришь:

— Ну, слава богу! Сроду не видел, чтобы кто-нибудь в роднике утонул. Наверное, обморок от жары случился с вами, — и на "Вы" ко мне обращаешься, и руку протягиваешь, — Иннокентий, — представляешься.

А я уж и так вижу, что не ты это, только похож очень.

"Удивительное сходство", — думаю, а руку подать не могу. Тут и он замечает неладное:

— А что это у вас с рукой?

А рука-то моя по плечо в песок ушла, в роднике увязла — и песчаная воронка вокруг бурлит, затягивает. Еле-еле вытащил он меня и сразу:

— А в руке у вас что?

Смотрю я, а в руке у меня, правой, которую в воронку затянуло — роза мокрая, свежая и цвета такого, знаешь ли, телесного.

Я уж совсем растерялась, а он все смеется:

— А-а... Понимаю-понимаю... Я видел, как эта роза упала к вам под ноги с иконы, когда крестный ход в Дивеево входил. Вы, наверное, прямо после праздника к роднику спустились, да от жары, усталости так и занемогли здесь, у родника.

И все на "Вы" представь себе, и все старинным слогом, вроде как нараспев, и так складно объясняет, словно и не было никакого золотого города — а все отсюда, без хитростей и вразумду.

А вразумду было так — я приехала, как мы и договаривались, на праздник преподобного Серафима Саровского, и в тот день, 1-го августа с утра шел Крестный ход из Сарова в Дивеево. Каждый год на этот праздник несут чудотворную икону преподобного Серафима в Дивеевскую обитель, где хранятся мощи чудотворца — говорят, чтобы лик и плоть воссоединились и много чудес было явлено. А икона эта, кстати, прижизненный портрет батюшки Серафима, его здесь все называют батюшкой и почитают с любовью особенной, почти семейной и детской.

Поезд пришел накануне, но я опоздала на последний автобус из Арзамаса в Дивеево, оттого что все ждала тебя, и, в конце концов, заночевала на вокзале. А когда утром приехала в Дивеево, а оттуда пешим ходом добралась до деревни Осиновки, оказалось, что вся наша компания уже ушла в Саров, а ключ от замка лежит в условленном месте. Но я не стала заходить в дом, просто бросила этюдник в сарай, вышла на шоссе и пошла навстречу Крестному ходу, который в эти минуты должен был выходить из Сарова.

Так и шла я, босая, по горячему шоссе с маленьким полотняным рюкзачком за плечами, пока у деревни Цыгановки в прозрачном сквозном березняке не

увидела паломников, остановившихся на отдых. Их было так много — сидящих, лежащих, поющих псалмы, кто еще с трапезой паломнической, кто уже с молитвами, а где-то там, в глубине перелеска, под двумя березами — две иконы светились, багряными розами увитые, Серафима Саровского Чудотворца и Богоматери Умиление.

Тут привал закончился — весь крестный ход на ноги поднялся, на шоссе вышел, а впереди потока поплыли две иконы чудотворные в розах. И вот одна из этих роз — с иконы Богоматери — упала мне под ноги, и я едва не наступила на нее, так что женщина, идущая рядом, даже вскрикнула. Наверное, примета какая-то имелась. И тогда я быстро подняла эту розу и спрятала в рюкзачок.

Все это вспомнила я у родника, глядя на Иннокентия, вспомнила и то, что роза так и осталась в моем рюкзачке, и была она багряная до черноты, а эта, из родника, цвета иного — золотисто-телесного. Тут и новый знакомец мой заметил:

— Однако же это другая роза, — сказал он, — хотя, может статься, одна и та же — иногда они меняют цвет.

И так меня слова его поразили, что он заметил и оправдываться стал:

— Я, — говорит, — здесь гость. Издалека приехал. Знаете, из тех внуков и правнуков русских эмигрантов, что в двадцатом году погрузились на корабль в Крыму, да так через Турцию, Сербию, Хорватию, а потом Париж, Мюнхен — сами не заметили как очутились в Южной Америке. Троюродная прабабка, умирая, завещала мне паломничество совершить по святым местам русским, и особенно Дивеево почтить. А изъясняюсь я так странно, потому что воспитывался этой самой прабабкой в полной изоляции на острове в Карибском море и совершенно в духе девятнадцатого века. Так что я, в некотором роде, музейный экспонат.

И смеется так весело, открыто, как дитя малое, голову запрокидывая. А я все сходству странному поражаюсь — уж больно вы с ним похожи. Не выдержала я и сказала ему об этом, мол, есть у меня друг, музыкант, и очень вы с ним похожи. Он прямо в лице переменялся, а потом совладал с собой и говорит: "Чего только на свете не бывает", — и стал о тебе расспрашивать.

Ну, уж тут я постаралась, как могла. А ты же знаешь, как я могу. А и то сказать, зачем ему о тебе правду знать. Да и кто ее знает, правду?

Он, однако, остался доволен — долго смеялся, а потом говорит:

— Я слышал, вы — сочинитель, а теперь и сам вижу, что правда это. Я ведь не без умысла пошел за вами к роднику. Хозяйка мне уже говорила о вас, и у меня к вам дело. Один мой родственник — по той же линии прабабки троюродной — задумал книгу мемуаров писать о нашей фамилии. А фамилия наша такова, что только таким вот штилем и возможно о ней рассказать. Я хотел бы рекомендовать вас, только не от своего имени, а от человека более значимого для нашей семьи, потому что сам я большим авторитетом не пользуюсь по причине болезни, да к тому же хочу, чтобы мое посещение России осталось в тайне. Я о вас расскажу своему поверенному, и он вам позвонит. Если вы не против, конечно.

— Ну... Я даже не знаю, — растерялась я.

— Но вы все-таки подумайте, а если надумаете и поедете, то уж не рассказывайте, что видели меня здесь. Для меня очень важно, чтобы это паломничество осталось тайным.

Представляешь, так и говорит — "не рассказывайте", прямо как в старинном романе. И так он меня загипнотизировал этим своим старомодным слогом и воспитанием, что как только вспоминаю об этой встрече, тут же со мной такая же напасть случается — начинаю изъясняться этим слогом, прямо голос его слышу в себе. И случается это со мною, мой друг, довольно часто, потому что старики-эмигранты, как только прослышали, что я прошлым летом в Арзамас ездила и с Крестным ходом из Сарова в Дивеево шла, тут же расспрашивать в подробностях стали. Вот так и вышло, что вместо того чтобы записывать воспоминания стариков-эмигрантов, я рассказываю им свои собственные. Так что если в письмах моих вместо экзотики венесуэльской ты встретишь сказы, старинным слогом изложенные, то знай — виноват во всем твой "брат" Иннокентий, который меня столь хитрым способом и заслал в венесуэльскую провинцию. Уж не знаю, что лучше — венесуэльская глушь или арзамасская, но в последней, по крайней мере, все говорят на родном языке. Хотя возможно, окажись я в Арзамасе при подобных обстоятельствах: под домашним арестом тирана-работодателя — это я о сеньоре Деметрио — тоже вспоминала бы чаще о пистолете, чем о гусяном перу и старинной чернильнице. Кстати, сеньор Деметрио пытался навязать мне этот фамильный набор вместо компьютера. Гусиное перо и чернильница, говорит, достались ему в наследство от самого арапа Петра Великого, даже не от Пушкина, а именно от арапа, откуда и происходит род Брулкиных вместе с Пушкиными. "Много же наследников оставил арап на земле русской, а теперь и венесуэльской", — подумала я тогда, однако гусиному перу и бронзовой чернильнице решительно воспротивилась. Пока сошлись на пишущей машинке с западающей буквой "я". А поскольку мой хозяин ярый враг компьютеров, на электронную почту тоже не надейся — дождишься писем с нарочным. Твоя Иванна.»

На этих словах Люня прервала чтение — в глазах у нее потемнело. Зачем он подсунил ей это письмо?! Зачем?! Хотел посмеяться? Указать ее место — троюродной прабабки, старухи девяноста трех лет. И какая издевка: «Это развлечет вас в мое отсутствие». Она-то думала, что это благочестивое описание паломничества по святым местам... А оказалось вон что!

Она нервно разрывала письмо на мелкие, мельчайшие, ничтожные клочки — ветер подхватывал и уносил над океаном это белое ничто, так неуловимо напоминающее даже не снег, а...

Люня задохнулась — вот так же отцветали яблони в Малаховке! И его мундир был весь в белых лепестках... или... Это все-таки был снег?.. И не в Малаховке, а в Москве... — на девятый день после того, как ее мамочка... Снег в июне!.. Такая диковина случилась в тот год — не к добру, говорили... Вот и случилось! А после всего, всех скорбных хлопот и поминовений отправились на все лето туда — в Дивеево — все женщины их рода, сестры и тетки... И много молились... И прикладывались к мощам преподобного Серафима Саровского...

И опять молились... И как будто все чего-то ждали. И дождались — каждая своего...

Но уж Люня точно дождалась «своего», когда увидела его мундир, осыпанный чем-то белым-белым, совсем рядом — в церкви на службе, как раз напротив раки, где мощи преподобного Серафима хранились. И сразу ясно стало, что не лепестки это на погонах, и не снег... Просто известка... Ремонт шел в храме в то лето. И она не вскрикнула — просто упала в обморок. Такой простой выход из положения. Очнулась уже на руках у тетки Параскевы. Та гладила ее по волосам. Просто гладила по волосам и приговаривала: «А еще такое мне было...» Тетка Параскева всегда так начинала свои сказания о разных чудесах с ней приключавшихся. Как ни вернется с очередного паломничества, все одно у нее: «А еще такое мне было...»

Люня и не заметила, что уже не рвет письма Иннокентия, а гладит их и прижимает к лицу. Нет, не целует — как можно?! Но к щеке прижимает... Что же это творится с ней?! И кому ей рассказать об этом? С кем поделиться, как в детстве. «А еще такое мне было», — шептала она, вскрывая очередное письмо...

3

«...Вообще-то в веках, тетушка, я совсем запутался, потому что когда из Москвы прибыл в Арзамас, а из Арзамаса — в Дивеево, мне показалось, что я опять попал в какой-то другой век. В какой, точно сказать не могу, но не в двадцать первый и не в двадцатый, и даже не в девятнадцатый, потому что если я воспитан в духе девятнадцатого века, то воспитан я иначе, чем местные жители и паломники, сюда прибывающие. Не знаю, как насчет восемнадцатого и семнадцатого — думаю, тоже вряд ли. Мне кажется, что здесь происходит какой-то совсем отдельный век, стоящий вне исчисления от Рождества Христова. И вот я в этом отдельном веке живу уже две недели и многое кажется мне странным. Во первых, здесь в Дивеево все считают, что Москва скоро провалится под землю, хотя, когда я был в Москве, мне ничего такого не показалось. Однако здесь все уверены в этом, и многие москвичи давно уже имеют дома в ближних деревнях, примыкающих к монастырю, как, например, моя хозяйка — художница Наталья. Потому что когда Москва провалится под землю, то все остальное тоже провалится под землю, и только Дивеево останется. Возможно, они и правы, тетушка, не мне судить.

Но почему-то именно здесь все чаще стали вспоминаться мне сказки няни нашей Варфоломеи Евстафьевны — те самые: про город чудесный и сад волшебный — не за морями и горами, а под городами и реками. Что вроде как отражается этот город в любой глади вод, но войти в него можно только через розу, цветущую в тайном царском саду, через третью розу, тетушка. Каждое утро садовник считает розы, и вот когда счет доходит до третьей — тут и открываются ворота в подземный город и сад. Роза эта не простая, а волшебная, как и полагается в сказках, и обладает этот цветок свойством странствовать по всему

свету и разные облики принимать, расцветая в самых неожиданных местах. Но чаще всего она родником сквозь землю пробивается...

В детстве, тетушка, я свято верил во все эти чудеса, и казалось мне, что и сам я часто в этот сад попадал. Однако, когда стал взрослее и увлекся языками и науками всякими, то перестал верить, и уже ничего такого со мной не происходило. Каково же было мое изумление, когда здесь, в Дивеево, я нашел подтверждение всему чудесному, что случалось со мной в детстве. Вот, к примеру, такой случай...

Не помню, писал ли я вам, тетушка, про подругу нашей хозяйки, ту, что вышла навстречу крестному ходу у деревни Цыгановки? И про то, как роза ей под ноги упала... И она подняла эту розу и пошла с крестным ходом через поля и леса, через деревни и села, где столы нам накрывали и всякими вкусными блюдами угощали... И потом, когда мы опять шли с иконами и хоругвями по шоссе, я все посматривал на нее издали, но она так и не заметила меня. А вечером того же дня встретил ее у родника святого целителя Пантелеймона, что у нашего дома — подошел незаметно сзади и что же вижу: склоняется она над родником и вроде как в обморок падает, прямо в воду! Подхватил я ее — она сразу в себя и пришла. Но как стал я ее приподнимать над водой, смотрю, а рука ее правая вся в песке увязла, еле освободил! И — глядь, а в руке-то — роза!..

Я, конечно, тут же вспомнил Варфоломею Евстафьевну и сказку ее, но признаваться не стал. И так уж меня здесь все за юродивого держат, хотя, с другой стороны, юродивый в святых местах — самое почетное звание. Потому и много их здесь, самых разных нищих и юродивых.

Так и промолчал я тогда, но и она мне тоже ничего не сказала про эту розу. Только посмотрела пристально и призналась, мол, похож я на ее друга, музыканта.

И так меня все это поразило, что совсем я стал в словах путаться, и такое, видно, впечатление произвел — ну, полного дурачка-заики.

Проснулся я на следующее утро рано, еще до колоколов и петухов, и опять пошел на родник св. Пантелеймона. Долго сидел над ним, склонившись. Родник будто умер. И уже ближе к обеду, смотрю, она идет. Увидела меня и смеется: а с чего ты решил, говорит, что садовник розы с утра считает. Он их считает, когда ему захочется. Посмеялась так надо мной, а потом взяла меня за руку и говорит: "Ну, смотри..."

Тут же родник пробудился, завихрился на дне, золотой песочек закрутился — взгляды наши встретились в самой сердцевине воронки, и сам не знаю как очутились мы в саду чудесном, над одной розой склоненные. И не понял я, чье дыхание ощутил — розы этой, или спутницы своей. И чей-то голос у меня внутри произнес: "Радость ты моя..."

Дальше не помню ничего, тетушка, потому что пришел в себя лежащим у родника на траве. А спутница меня водой поливает и странно так смотрит.

— А где же роза? — спрашиваю. — Неужели мы без розы из сада вернулись?

Она покачала головой, но ничего не сказала, а только за руку меня взяла и к дому повела. А на ночь дала почитать житие святого Серафима Саровского.

Я, как вы помните, тетушка, с детства был не очень религиозен, хотя и

ревнив ко всему чудесному, и особо к наукам тайным. И тут я тоже не проявил усердия — уснул на первой же странице, прямо на нее голова моя и склонилась.

И приснился мне сон предивный, будто живу я в лесу отшельником, и медведь мне мед и ягоды в подарок приносит. Прямо так на задних лапах подходит к скиту, а в передних — ягоды протягивает, а я его привечаю: "Радость моя", — говорю.

Проснулся я так же вдруг, как уснул — голову поднял над книгой, а она уж не на первой странице открыта, а на середине, и взгляд мой сразу упал на те строки, где точно сон мой описан — медведь старцу Серафиму мед и ягоды приносит, а тот ему говорит: "Радость моя..."

И так мне весело стало на душе, радостно, будто вина я какого напился. Все страхи мои куда-то исчезли, и все вопросы неразрешимые сами собой разрешились. Все мне стало понятно. Все-все! Ясно и понятно, и не страшно вовсе. Словно и сроду никакого страху не было, и нечего было бояться, потому что нет ничего такого, чего можно было бы бояться, а есть только одно: "Радость моя..."

Так и просидел я до утра, глаз не сомкнувши, радуясь и веселясь тихонечко. А утром узнал, что Иванна поехала в Арзамас билет на московский поезд покупать, да и не вернулась. И все во мне перевернулось — вся радость кончилась! Все бродил по монастырю, сам не свой, и каких только дум не передумал. И вдруг подходит ко мне одна монашенка и говорит: "А не желаете ли, батюшка, исполнить послушание?" Присмотрелся я к ней, а она — молодая, красивая. Красота земная, страстная. "Как только такие сюда попадают?" — удивился я и пошел за ней, как собачонка. И мы пришли в какое-то хозяйственное помещение, где стояли столы длинные, а за столами много паломников — и все молодые, красивые, парни и девушки. В руках их сверкали большие ножи, и этими ножами они рассекали буханки черного хлеба пополам, а потом — на четвертушки, а после крошили на мелкие-мелкие кусочки для сухариков батюшки Серафима. Мне дали такой же большой сверкающий нож и половинку черного хлеба, и я стал резать его медленно-медленно. Все быстро-быстро рассекали, а я еле-еле ножом шевелил, и казалось мне, что нож увязает в хлебной мякоти. Так душа моя томила. Все смеялись вокруг, перешучивались, ножами взмахивали, лицами молодыми сияли да переглядывались, а на мне словно и вовсе лица не было. И тут монашка, которая привела меня, покачала головой и говорит: "А что же это мы петь перестали?" И тут же в ответ высокий мужской голос завел: "Богородице Дево, радуйся..." И все подхватили. Кончалась одна молитва и начиналась другая. Вечернее солнце просвечивало светелку насквозь, ножи сверкали в лучах заката, блики гуляли по сосновым стенам, перекрещивались и расцветали... Мне почудилось, что опять я — в саду, но спокойно там, ох, спокойно...

Пение стало громче, и я различил в общем хоре знакомый голос. Глянул я — а с краю стола сидит Иванна и тоже ножом взмахивает и луч зеленый на лезвие ловит.

Смеркалось. Зажигали свечи. Начinalи новое моление, и ровно посредине песнопения мы вдруг переглянулись с Иванной и не сговариваясь отложили ножи, поднялись из-за стола и вышли...

Потому что родник святого Пантелеймона, тетушка, расположен так, что когда везде уже последний луч заката погас, там еще краешек солнечного диска отражается, и до последнего луча зеленого можно успеть по саду прогуляться. Иногда ведь садовник розы и на закате считает. Да и разве могли мы дотерпеть до рассвета. Однако же когда мы выходили, я заметил, каким взглядом посмотрела нам вслед монашка — женский был взгляд, осуждающий, и не на меня направленный, а на спутницу мою Иванну. А Иванна ведь только пришла — да и то, как бабочка присела на край стола и тут же вспорхнула вслед за князем, за мною то есть. Как я мог объяснить им всем про сад и про нас двоих? Разве это можно объяснить одним взглядом? Однако я обернулся на выходе и посмотрел прямо в глаза той женщине, так посмотрел, словно надеялся через глаза свои в сад ее провести и показать, какое послушание в том саду бывает. Такое же... Ничем не отличимое... Но кому — в саду, а кому — в светелке...

Замешкался я в дверях всего чуть-чуть, но Иванна все эти взгляды спиной почувствовала и как будто возревновала — странные эти женщины! А по дороге к роднику так на мне отшутилась: "Смотри-ка, говорит, ты поранился, как бы капля княжеской крови в сухарики батюшки Серафима не попала. С кем же ты теперь породнишься, князь?" "Так выходит, что со всеми паломниками земли русской, — в тон ей ответил я, — потому что когда в казанке батюшки Серафима сухарики обжаривать будут, то родство всем и передастся". "Завтра же приду и отведаю этих новых сухариков", — засмеялась Иванна. "Можно и сегодня", — ответил я еле слышно, потому что мы уже подошли к источнику святого Пантелеймона, и только его ледяная вода могла охладить мою горячую голову. Что было дальше, тетушка, описывать не решаюсь...»

Люня лихорадочно листала тетрадные листки, не смея читать дальше и не в силах остановиться, листала и плакала: «Зачем? Зачем она читает эти чужие письма?! Зачем он подсунул их ей?!» Глаза сами выхватывали отдельные фрагменты, как ей казалось, совершенно против ее воли. «Нет! Нет! — все возмущалось в ней, — она не хочет знать никаких подробностей. Но она хочет понять, к чему это все?!»

Она выдернула из пачки, из-под самого низу, одно из последних писем, сгоряча разорвала его пополам, но глаза ее, опять не слушаясь разума, стали торопливо читать от неровно оторванного края...

4

«...Уехала! Тайно! В Москву уехала... В ту самую Москву, которая скоро под землю провалится!!! И что ее понесло в Москву эту?! Так тяжело на душе, что просто не знаю, как переживу это. Боюсь, что опять начинается приступ... Все признаки уже налицо — голова тяжелая и плывет, и как всегда, перед "этим" спал почти сутки и даже будильника не слышал... Проспал назначенную встречу с ней, тетушка! Все пропало!

Вот, сейчас дописываю письмо и слышу голос нищенки Оли с веранды. Не

иначе известие она какое-то принесла. Шумят там... Шумят... Что-то такое тревожное нищенка рассказывает и голос у нее то падает, то на слезы срывается. "А Москва-то под землю провалилась!"

А хозяйка Наталья плачет и кричит на нее: "Чему же ты радуешься, дура блаженная, если Пушкина взорвали?! Может, наших близких уже и в живых нет!"

И так кричит эта женщина, что шум в ушах у меня взрывается ее голосом: "Пока мы тут сидим и спасаемся, без радио, телевизора и газет, может, Москва, и вправду, под землю уже провалилась?"

"А как же Иванна?!" — спрашивает кто-то, — у нее ведь как раз и была назначена встреча на Пушкинской в этот день... и час...

"Да опоздала она! Опоздала! Всегда ведь опаздывает!" — Оля приплясывает и приговаривает: "Опоздала, опоздала!"

Тетушка, все пишу, как есть, — прямо под диктовку, как с первого этажа доносится... И понимать даже боюсь, что там происходит... Вот опять голос нищенки: "А где этот дурак? Наверх убежал? В каморке своей закрылся. Вот дурак-то! Вот дурак! На что я дура, а он дурнее во сто раз меня будет. Так и не понял до сих пор: кто дурак, тот и спасает. Умные — они сами по себе спасаются. А дураку нет никакого спасения на этом свете, кроме как самому спасти хоть кого-то — хоть птичку малую. Хватит себя умным считать, да книги ученые читать. Езжай спасать птичку, дубина стоеросовая, пень бессловесный!" И дальше такие слова в мою честь звучат, что язык повторить не поворачивается. Я уже чувствую, тетушка, что-то взрывается во мне и голову обручем стягивает, как перед приступом болезни. Не знаю, успею ли попрощаться... Но я... Возвращаюсь... Даже если приступ начнется раньше, чем они взломают дверь — я все равно возвращаюсь...

Вот они уже вваливаются в мою каморку... Отрывают меня от письма... Но я еще держусь... Я возвращаюсь... в комнату няни Варфоломеи Евстафьевны... Я уже там, тетушка, там...»

И тогда — уже уплывая за горизонт на своей больничной кровати — Люня увидела его... в комнате Варфоломеи Евстафьевны. Он открывал ей свои объятия и звал... звал... И на шее у него сверкало жемчужное ожерелье мамочки — то самое, из-за которого Варфоломея Евстафьевна заболела и скрылась навеки в своей комнате. И вот теперь он — Иннокентий! — смеялся и протягивал на ладони большущую лиловую жемчужину, которую вырвал из самой середины ожерелья. А все остальное — весь оставшийся жемчуг — соскальзывал с нити и сыпался градом...

— Но как же так! — в душе ее вдруг шевельнулось сожаление. — Как же так! — а потом и явный протест, — ведь это же свадебное ожерелье мамочки! Нельзя допустить, чтобы оно рассыпалось!

И тогда она бросилась ловить жемчужины, ускользающие с нити... — и ощутила себя легкой-легкой, совсем невесомой, и удивилась этому... — и тут же отразилась в оконном стекле радужной птичкой с дли-и-нным клювом... и только после этого вспомнила, где она...

Словно в кино, перед ней прокрутили весь маршрут ее последних часов — как с письмами в руках прошла в гостиную, машинально включила радио, услышала штормовое предупреждение... И сразу представила яхту Иннокентия в пучине океана... Заметалась.... Кому-то звонила... Куда-то ехала... И все время читала эти письма...

Или это душа ее читала письма, пока тело везли на «скорой»... И подключали к аппарату... И уже собирались отключать от аппарата... А душа ее все читала и читала письма *из отдельного века*...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

«...Начну с того, дорогая сестра моя Люня, что когда я вхожу в свою гостиную, из окон которой видны три кокосовые пальмы и цветущая изгородь мелких китайских роз, то здесь же, на фотографии в тонкой деревянной рамочке мне улыбаются папа с мамой, юные и счастливые, где-то там, в заснеженном Пскове. Снег лежит на меховой шапочке мамы и на погонах отца. Они только что поженились, и меня еще нет на свете, потому я не могу вспомнить заснеженный Псков, но слышу голос мамы, поющий: "Занесло снегами Россию".

Она сидит за фортепьяно в нашей холодной квартире, которую мы снимали уже в эмиграции в Белграде, а папа ходит по комнате какими-то бесцельными шагами от стены к стене и поворачивается все время так, что лица его не видно, а перед моими глазами на стене все та же фотография заснеженного Пскова и наш фамильный герб "лилия и единорог", на гравюре неизвестного художника.

Потом, много лет спустя, уже после смерти папы, моя любимая младшая сестра Таня, с которой я, как ты знаешь, Люня, никогда не расставался, каждый раз после вечерней молитвы спрашивала меня: "А ты помнишь, как в Белграде мама сидела за фортепьяно и пела «Занесло снегами Россию», а папа ходил по комнате и плакал?"

Вот ведь как получается... А я так и не смог увидеть его лица тогда. Я многого не замечал из того, на что в первую очередь обращала внимание Таня. Это она первая отметила удивительное сходство моего приятеля Умберто с нашим двоюродным прадедом Жюлем Дютелем, чей портрет висит тут же, рядом с фотографией заснеженного Пскова. А Умберто, как сейчас помню, сидел прямо под этим портретом и пил свой "Кубе Либре". Таня вошла в гостиную из сада и вдруг как закричит: "Господи мой Боже! Опять явился! Привиделся! Сгинь! Сгинь!"

И давай осенять крестными знаменами себя и Умберто. Я страшно удивился этому "опять явился", да и Умберто тоже. Мы тогда только познакомились, и я пригласил бедного поэта в гости, совсем не предполагая, что Таня могла видеть его когда-либо прежде. Однако, приглядевшись внимательнее, понял, что так напугало сестру — не только внешнее сходство гостя с нашим

родственником. Задумавшись о чем-то своем, Умберто покачивался и бормотал что-то себе под нос на незнакомом языке, как это часто делал наш французский предок, по свидетельству наших престарелых теток.

Я почему пишу тебе это письмо, Люня? Трудно мне разобраться самому во всем, что происходит сейчас в нашем роду в связи с архивом Жюль Дютеля, опасаюсь даже, что некоторые факты могу перепутать или не так истолковать. Но для того, чтобы распутать весь этот клубок намеков и недомолвок, имеет смысл вспомнить, с чего все начиналось.

В 1812 году наш прадед Афанасий Дмитриевич Брулкин находился в части ахтырского гусарского полка. С этим полком он вышел на Бородинское поле и участвовал в Бородинском сражении. Впоследствии преследовал Наполеона с русской армией до Парижа и вошел в столицу Франции во главе ахтырского гусарского полка, находясь в чине полковника. В военном походе он женился на баронессе Аделаиде Дютель. Она была швейцаркой французского происхождения. Со своей молодой супругой прадед вернулся в Россию, но, к сожалению долго не прожил. Война и походные невзгоды подорвали его здоровье, и вскоре после возвращения в Россию он умер, оставив Аделаиду Дютель вдовой с тремя маленькими детьми — моим будущим дедом Дмитрием Афанасьевичем и его сестрами Анастасией и Прасковьей. Аделаида Дютель плохо знала русский язык, и поэтому опекуном над детьми был назначен ее брат Жюль Дютель. Этот факт мне всегда казался совершенно необъяснимым. Как будто француз, брат иноземной прабабки, мог знать русский язык лучше, чем какой-нибудь наш родственник по линии русского прадеда. Однако опекуном был назначен именно Жюль Дютель. Он приехал в Россию, принял на себя попечение, но не занялся делами, а сделав кое-какие распоряжения, уехал в Испанию. И ездил он по Испании тридцать лет на осле, объезжая всю страну с севера на юг, и с запада на восток. С какой такой целью, спрашивается? Этого не знает никто. А когда этот горе-путешественник вернулся в Россию, оказалось, что он потерял более тридцати домов — собственность моего прадеда в Петербурге. В России был такой закон: если ты 25 лет не берешь плату за аренду дома, дом переходит к арендатору. Вот так этот оригинал и проездил на осле имущество нашего прадеда, героя войны 1812 года, полковника Афанасия Дмитриевича Брулкина. Но на этом он не успокоился. Судя по его архиву, и в Испании он не сидел на месте, а иначе откуда бы взялась эта коллекция разных диковин, собранных со всех концов света. Не знаю по каким маршрутам проходили другие его странствия, но то, что прежде чем вернуться в Петербург, он отправился в Мексику, известно мне доподлинно. Папа эту историю пересказывал не раз и утверждал, что именно с этого путешествия и начались все беды нашего рода. В отличие от других экспедиций, из Мексики он ничего особенного не привез, то есть можно сказать, вообще ничего не привез, если не считать нескольких жемчужин странного лилового цвета. Может, это были и не жемчужины, но папа, рассказывая, называл их именно так. Эту находку он не поместил в общую коллекцию, а пошел к лучшему ювелирному мастеру в Санкт-Петербурге и заказал ожерелье из розового жемчуга по собственному эскизу. И когда ожерелье было почти готово, Жюль Дютель по договоренности с ювелиром

принес эти лиловые жемчужины, чтобы тот на его глазах вставил их в общий узор, в строго определенном порядке. Говорят, украшение получилось красоты неопишуемой. Мне увидеть эту красоту не привелось, а вот ты, Люня, наверняка видела. Да и отец поминал эту вещь недобрым словом. Потому что это было то самое ожерелье, которое он подарил на свадьбу своей первой жене, а твоей, стало быть, матушке. Именно это ожерелье он считал виновником ее несчастной судьбы, и был очень рад, когда оно внезапно исчезло из шкатулки с фамильными драгоценностями. Он даже не начал расследование этой явной кражи, хотя тетки настаивали и даже подозревали кого-то из слуг. Ты тогда была уже большой девочкой, может быть, припомнишь, как все было? Сердце мне подсказывает: только ты, Люня, знаешь, что случилось с Варфоломеей Евстафьевной, когда пропала фамильная реликвия...»

На этой фразе фамильное перо с треском сломалось, а сердце старика дрогнуло: как бы Люня не восприняла это замечание в укор себе! И пока рука его шарил в ящике письменного стола в поисках нового фамильного пера, в голове все теснились беспокойные мысли.

А все этот Жюль Дютель с его коллекцией! Ну, лежал этот артефакт в какой-то пирамиде тысячи лет и пусть бы себе лежал дальше. Нет же! Нужно вытащить, соединить с другими такими же бесовскими штучками, да еще поместить всю коллекцию в тайное место, которое до сих пор никто найти не может. Хотя многие уже из-за этого голову потеряли...

Сеньор Деметрио вспомнил своего сына Афанасия, посвятившего всю жизнь поискам коллекции, и тяжело вздохнул.

А может, и не было никакой коллекции? Может, Люня права, так яростно отрицая само ее существование? Тем более, что и предок к концу жизни раскаялся. Да еще как раскаялся!

Старик совсем разволновался, подскочил, и как некогда в молодости, стал нервно ходить из угла в угол: «Вот, оказывается, зачем письма нужно писать — чтобы самому разобраться, что можно на свет белый выносить, а о чем лучше помалкивать. А с другой стороны... Может, в коллекции этой и скрыто избавление от всех их несчастий. Что же он задумал, этот злосчастный Жюль Дютель, злой гений их рода?! Зачем он сотворил это все?!»

Немного успокоившись, он сменил перо и опять присел к столу:

«Да, нужно собрать все факты и тщательно обдумать. И особенно важно разобраться со всеми этими посланиями призрака, который даже в концлагере мне умудрился явиться. Разве порядочные призраки так поступают?! Это же не какой-нибудь фамильный замок. Такое место... Как сейчас, вижу эту абракадабру на непонятном языке. И все время мне эти буквы что-то напоминают — вроде как узор какой-то...»

Перо старика зависло над чистым листом бумаги, а свободная левая рука сама собой приоткрыла ящик письменного стола и опять зашарила в его недрах. Нашував то, что было упрятано в самый дальний угол с тем чтобы никогда об этом не вспоминать, он вытащил на белый свет запретную вещь, но долго еще не решался на нее взглянуть. Это была фотография отца с его первой женой,

матерью Люни — на груди у нее красовалось фамильное ожерелье Жюля Дютеля...

«Боже ж ты мой! Ну один к одному! — выдохнул сеньор Деметрио и схватился за голову. — Ах, дурак я, дурак! Как я мог отдать это тетке Анастасии?! Понятно теперь, как Иннокентию удалось расшифровать архив Жюля Дютеля. А где же сам-то Иннокентий?!»

И старик, решительно нажимая на перо, наконец-то написал самое главное, что и было тайной целью всего его ночного писания.

«Я уже давно хотел спросить тебя, Люня, удалось ли тебе разыскать хоть какие-то следы нашего внучатого племянника? Исчезновение этого дурачка после смерти княгини очень беспокоит всех наших. Ведь юноша совершенно не способен отвечать за себя. Впрочем, он уже, верно, и не юноша, но вряд ли состояние его с годами улучшилось. И больше всего меня тревожит то, что архив Жюля Дютеля находится в руках этого невменяемого...»

На этих словах силы окончательно покинули старика. Он так разволновался, что даже потянулся за сигаретами, хотя уже лет двадцать не курил, и на сигаретной пачке, лежащей в самом тайном ящике стола, красными чернилами было начертано число двадцатилетней давности, когда он в последний раз позволил себе эту слабость — в наущение, так сказать. «Тьфу! — и сам себя схватил за руку. — Что ж это я, старый дурак!»

Но было еще одно средство, наполнявшее его душу сладостным детским умиротворением. И посомневавшись, он все же выдвинул опять потайной ящик, где рядом с пачкой сигарет лежала початая буханка бородинского хлеба. Вот он, вкус детства в той далекой России — вкус, который когда-то открыла ему няня Варфоломея Евстафьевна в своей маленькой каморке, примыкающей к детской. Черный хлеб из ее рук казался медом... «Ну, еще чуть-чуть... Ма-а-ленький кусочек...»

Он отрезал крохотный кусочек черного хлеба, и, смакуя, в блаженстве закрыл глаза: «Халва... Ну, чистая халва... Хорошо, что эта гостья из Москвы привезла целый чемодан бородинского хлеба. Хотя могла бы и больше...»

Он прошелся по комнате, присел к столу и еще раз перечитал недописанное письмо, оборванное на полуфразе. Он решил не заканчивать его и спрятал черновик в самую середину расходной книги. Потом вынул из стола чистый лист бумаги, отвинтил крышку старой дедовской чернильницы и окунул перо. Наверное, единственный и последний во всем мире он исповедовал столь торжественный способ переписки. Он знал, как победить бессонницу. Он писал бесконечное письмо своей старшей любимой сестре — княгине Ольге, самой рассудительной и здравомыслящей в их роду.

Он скрипел пером и не догадывался, что в одном квартале от него в душном номере отеля «Вилла Реаль» кто-то тоже пытался разобраться в его фамильной легенде, выстукивая на пишущей машинке письмо, которое никогда не будет отправлено.

2

«Здравствуй, друг мой Лилисий! Не знаю, найдет ли тебя это письмо, но больше поделиться мне не с кем. Ты только представь мою ситуацию — я застряла на этом полуострове в полной зависимости от безумного старика, который мечтает в моем лице восполнить все то, что несправедливо отняла у него судьба — Родину и Любовь. Я, понимаешь ли, несу ответственность и за первое, и за второе — как Орфей его неспетой песни и посланник оттуда — с утраченной Родины, и, в конце концов, как женщина, всем своим обликом мучительно похожая на ту самую. К тому же я приехала сюда по доброй воле, подписала договор о литературной работе и по собственному легкомыслию допустила ситуацию, в которой мои документы и обратный билет оказались запертыми в сейф.

А теперь представь его ситуацию — он оплачивает приезд серьезного солидного литератора для работы над серьезной солидной книгой, а по стечению обстоятельств получает в посылке странную птичку, которая высвистывает позывные своему другу музыканту, вместо того, чтобы заниматься литературной работой.

И вот теперь ты вполне можешь вообразить его негодование и отчаяние, когда он читает весь этот бред (не сомневаюсь, что служанка опустошает мою мусорную корзину, передавая черновики по назначению) вместо истории его жизни, которую он, впрочем, никак не может мне рассказать. И я его прекрасно понимаю! Я бы тоже не смогла рассказать о самом сокровенном, скорее я предпочла бы услышать об этом от кого-нибудь другого и желательно в виде притчи, то есть совершенно безопасно для собственного самолюбия. Хозяин же не привык отказывать себе ни в чем — и если он выписал сюда целый цыганский табор для утешения сердца, почему бы не заполучить и бедного сказочника на свой полуостров.

Одно могу утверждать точно, друг мой Лилисий: судьба не зря заслала меня на этот полуостров — одно безумие притягивается к другому даже через океан, или, как говорят у нас, рыбак рыбака видит издалека. Ох, издалека! Я бы даже сказала, что мы похожи, как близнецы, с этим стариком! Так и вижу, как ты усмехаешься сейчас. А мне, представь себе, чувство юмора уже начинает изменять. Иначе никак нельзя объяснить тот разговор, что состоялся между нами не далее как вчера вечером, когда сеньор Деметрио, ударяя себя в грудь, громогласно — и уж который раз! — стал вопрошать: "Ты понимаешь, что это значит: потерять родину!"

"Да, сеньор, — неожиданно для самой себя ответила я, — я вас прекрасно понимаю. Я ведь тоже, можно сказать, в такой же ситуации".

Старик опешил, а потом, видимо, вспомнил про сейф, где хранились мои документы, и виновато пробормотал: "Но это же временно. И потом... Ты сама подписала договор".

"О, нет, сеньор. Я совсем не про это... Просто я родилась в Советском Союзе. А где он теперь?..."

Ах, как же он затрясся и зашумел! Он кричал, что Советский Союз и коммунизм были злом и тюрьмой, что меня выпустили из этой тюрьмы именно для того, чтобы я нашла истинную родину.

Как простодушная птичка из клетки, я удивилась вслух тому, что этой "истинной родины" нигде не оказалось, по крайней мере, там, где ожидалось.

Конечно, ты можешь сказать, что я просто хотела подразнить старика, и будешь прав. Но, с другой стороны, он ведь не жил в нашей тюрьме, он и в России-то не жил, а уж тем более в том, во что превратилось все это. И об этом я ему тоже сказала. В общем, обидела старого человека.

Он замолчал. И замолчал надолго. Мне казалось, что пустыня, по которой пылил автомобиль, никогда не кончится.

Да, это был тот редкий случай, когда он уступил моим назойливым просьбам и согласился показать окрестности, в частности, известный дремлющий вулкан, который называют здесь горой Санта-Анна. Старик сам сел за руль и повел машину. Я поняла, он хотел остаться со мной наедине для какого-то объяснения. Он выбрал для этого пустыню и свой "Мерседес". Боже мой! Ты бы видел этот "Мерседес"! Гора дребезжащего металла с окнами без стекол. В остальных деталях я не разбираюсь, но, подозреваю, многих тоже доставало. Старик кормил полгорода, предоставляя простодушным пунто-фиховцам работу "не бей лежачего", ради их малых детей. Но купить себе новую машину! Это ему просто не приходило в голову. А вот мне это пришло в голову сразу, как только эта развалина затряслась по направлению к дремлющему вулкану. У меня создалось четкое ощущение, что я сама оказалась внутри вулкана, и уже далеко не дремлющего. В каком-то смысле так и было, и наш последующий разговор подтвердил это. Но в тот момент я просто сделала старику тонкий комплимент, заявив, что, наверняка, ни один миллионер не имеет такой машины, а потому он, сеньор Деметрио, с полным правом может претендовать на место в книге Гиннеса. Он опять промолчал. И какое-то время мы тряслись молча. Гора Санта-Анна дымилась далеко вдаль, по обеим сторонам мелькали кактусы, увешанные цветными пакетиками из универсамов — больше взгляду зацепиться было не за что. Слух тоже услаждало только завывание ветра. И вдруг в этом завывании стали улавливаться знакомые интонации, а потом и целые строки. Я не поверила собственным ушам.

Старик вел свой разбитый "Мерседес" по пустыне и читал вслух Николая Гумилева. Он почти выкрикивал стихи, преодолевая порывы ветра и петляя машиной между кактусов.

Я, как замороженная, наблюдала за этим...

Он выдержал мой взгляд, сделал паузу и сказал, что его старшая, единокровная сестра Люня была знакома с поэтом, еще будучи девочкой. И что вот это стихотворение он посвятил лично ей, Люне. "Странное имя..." — вырвалось у меня. От неожиданности всегда подаешь странные реплики.

"Олюня, — ответил он, — В детстве ее звали Олюня. Но он, поэт, называл ее Люней. Так и прижилось к ней это имя. Всю жизнь ее зовут Люней, всю ту жизнь, которую у поэта отняли. Его убили в Советском Союзе", — многозначи-

тельно добавил он. И без всякого перехода, не дожидаясь ответа, стал декламировать наизусть "Заблудившийся трамвай".

Вот так мы и ехали к дремлющему вулкану — в разбитом «Мерседесе» без стекол, по чужой пустыне, мимо несчастных кактусов, обезображенных цивилизацией, и под горный грохот "Заблудившегося трамвая". Старик грохотал басом и кашлял от ветра, направляющего в лицо потоки пыли, но упорно читал дальше: "В красной рубашке, с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне, она лежала вместе с другими в ящике скользком на самом дне..."

Скажешь — красиво до неправдоподобия. И опять будешь прав. Конечно, красиво, — если читаешь это в письме, чудом нашедшем адресата. Но когда трясешься в разбитом автомобиле, задыхаясь от пыли, и солнце нещадно печет, странные мысли донимают...

Ты не можешь заслониться от беспощадных лучей истины — что "она лежала вместе с другими в ящике скользком на самом дне" — это и о тебе тоже, и обратный билет, запертый в сейфе — лишнее напоминание о том, что тебя никто не ждет там, где старик предполагает найти свою потерянную родину. И когда он торжественно произносит: "Видишь вокзал, на котором можно в Индию Духа купить билет", он даже не представляет, сколько мальчишек и девчонок в России маниакально копят деньги на билет в эту Индию, или Тибет, или Китай, и в конце концов уезжают туда в поисках таинственного гуру, который укажет им путь на "родину". Впрочем, может, все это тоже было в жизни другой, когда эти мальчишки и девчонки уезжали в Индию прямо с твоего концерта, и уезжали они автостопом, без денег и документов... А теперь?.. Не исключено, что когда я все же воспользуюсь своим обратным билетом и вернусь на родину, я обнаружу этих же мальчишек и девчонок чинно сидящих в престижных офисах и откладывающих деньги на билет к золотому песочку какого-нибудь элитного курорта. Кто знает? Не исключено...

Но пока я все еще здесь, на полуострове Парагвана, с этим стариком, читающим Гумилева в пустыне, мне хочется надеяться на лучшее. Да. И на нашу встречу тоже. Мне хочется надеяться, что мой обратный билет не зря хранится в сейфе, и самолет правильно ляжет на курс, и письмо найдет адресата, и он наконец-то узнает сам себя в моем письме. А то ведь всяко бывает!

Весь этот сумбурный ветер проносился в моей голове, пока губы вслед за сеньором Деметрио повторяли: "Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить".

— Что можно так любить и грустить... — еще раз повторил он и умолк.

Мне бы тоже промолчать, но я не удержалась:

— Вот, сеньор Деметрио, здесь, на полуострове Парагвана, в венесуэльской пустыне вы читаете наизусть стихи Николая Гумилева, а в свободной России его уже никто не читает, там вообще стихи не читают.

— А что же там читают? — удивился старик.

— Детективы, — мстительно ответила я.

Он открыл рот, заглотнул пустынной пыли, и ничего не ответил. Он напомнил мне рыбу, выброшенную на берег — древнюю священную рыбу, из

века в век мечтающую о берегах неведомой родины. И вот когда ее выбросило на берег, только тут она поняла, что родиной ее был океан.

Я знала, каково это — нервная зевота, когда сердцу не хватает воздуха. И если сердце слабое, это может кончиться очень плохо. А у старика было слабое сердце. Именно это слабое сердце и не позволяло ему хотя бы единожды посетить родину — врачи предрекали, что он не выдержит перелета через океан. Поэтому ему оставалось выписывать сюда, на полуостров Парагвана, русских генералов, цыган и писателей, или хотя бы то, что вместо них прилетит. Такова была официальная версия. Но я подозревала, что дело не только в этом. Старик не особенно щадил свое сердце, заводя романы в восемьдесят лет и непомерно потребляя "Кубе Либре". Нет, дело было не в слабом сердце. Старик был способен рискнуть — он боялся не за сердце, он боялся за свою родину. Наверное, поэтому его так поразили мои слова — почти до сердечного приступа. Клянусь, я раскаивалась и готова была признать, что несколько стусила краски. Я собиралась даже принести извинения, но он не дал мне сказать ни слова. Он наконец-то свободно вздохнул и усмехнулся:

— Вот так же и она издевалась надо мной. Я же говорю, вы удивительно похожи.

И это тоже не было неожиданностью для меня. Когда столько времени проводишь наедине с человеком, и вас окружают одни кактусовые рощи, начинаешь лучше понимать и его, и себя, да и он уже кое-что понимает про тебя. Ты еще не знаешь, что именно, но тут нужно быть начеку.

— А вот моя покойная жена была в России, — издалека начал он. — Поехала одна, сразу как только Советский Союз развалился. Она чистокровная украинка, и повезло же ей попасть в Киев именно в дни обретения независимости Украиной. С восторгом рассказывала потом, как бегала по улицам Киева вместе с демонстрантами, размахивая жовто-блакитным знаменем, — "жовто-блакитным" он сказал по-украински и пояснил: — Чтоб ты понимала, из какой она семьи — украинских аристократов-националистов. Когда нас венчали, уже за границей, в Белграде, был приглашен батюшка украинской церкви, и вот он во время церемонии венчания и всего, что положено по канону, вдруг говорит: "Будь верна своему мужу, но помни, что ты выходишь замуж за врага украинского народа". Я прямо подскочил на месте, но все же промолчал в ту минуту. А уже после церемонии подошел к священнику и спрашиваю: "Батюшка, ну что ж это такое вы говорили во время венчания?" А он только отмахнулся. "Мне, — говорит, что велели сказать, то я и сказал". Вот такие дела... — он задумался. — Враг украинского народа.... А ведь мы любили друг друга... Душа в душу прожили... Только она меня и спасала от тех военных воспоминаний. А как умерла, они все и навалились на меня, словно кредиторы забытые.

Он опять замолчал надолго, сосредоточившись на дороге, на проносившихся мимо кактусах, на горе Санта-Анна, виднеющейся вдаль, и только когда вулкан стал неумолимо приближаться, вдруг встрепенулся и вернулся к прерванному рассказу.

— Ну, так вот! Возвращается моя жена из своего путешествия по России и Украине. Я встречаю ее в каракасском аэропорту. Везу в Каракас на своем

"Мерседесе", он тогда еще был поцелее, едем горной дорогой, ну, ты помнишь эту дорогу — живописные Анды, террасы, поросшие джунглями, и вдруг за крутым поворотом — Каракас! Зеркальные небоскребы в окружении гор, а вокруг — на горных склонах-террасах, в буйной зелени — глинобитные хижины, красные почти. В общем, красота! Она вскинула руки и прямо воскликнула: "А все-таки моя родина — Каракас!" Искренне так воскликнула, как девочка. Само вырвалось. Вот и пойми этих женщин. Ну, что ж... Она была младше меня, родилась уже за границей. Никаких детских воспоминаний не сохранилось у нее. У меня же все сложилось по-другому... У меня много воспоминаний...

Он покосился на меня и откашлялся. А потом вдруг сказал совсем неожиданное:

— Да, мы думаем, что мы птицы, покидающие родину. Мы улетаем, а она остается. Мы перелетаем с места на место, а она теряется вдали. Но наступает момент, когда ты не можешь лететь. Ты превращаешься в камень... И вот этот камень лежит в пустыне и мечтает о родине. Он так долго, так страстно мечтает о ней, что родина не может не откликнуться. Наступает прекрасный день последней весны, и к нему прилетает маленькая разноцветная птичка. И пока она сидит на нем и чистит перышки, он понимает, что это родина прилетела к нему.

Вот это было для меня неожиданностью. То, что этот старик способен так сказать. Одно дело — читать Гумилева наизусть, и совсем другое — сказать самому. Как же плохо я знала его! Он прочитал это по моим глазам. Он смутился. Отвел взгляд и забормотал:

— Это все Жюль Дютель. Ездил тридцать лет на осле по Испании. И чего он ездил? А вернулся не во Францию и не в Швейцарию, а в Россию. В России и помер. Перед смертью просил на могиле камень положить вот с такой надписью — про птичку и родину.

— Поэт был, — уважительно отозвалась я.

— И не только, — у старика как-то странно блеснули глаза, а голос прервался хрипотцой. — Я много думал об этом Жюле Дютеле. Я изучал архивы! Я понял, кем он был!

— Кем? — затаив дыхание, спросила я.

— Он был масоном и алхимиком, — выпалил старик. И я поняла — для того, чтобы сказать это, не рискуя бросить тень на свой род, он и вывез меня в эту пустыню на разбитом "Мерседесе".

— Ну, конечно, кем же он еще мог быть, если сочинял стихи и тридцать лет ездил по Испании на осле, — согласилась я, не моргнув глазом. Но старика это не охладило.

— Он был архитектором, лютеранином, но построил семьдесят четыре православных храма, а в Петербурге оборудовал тайную мастерскую в районе Лиговского проспекта. Он проводил там дни и ночи. И я подозреваю, он кое-чего там достиг...

Глаза у него горели, и я, честно тебе признаюсь, испугалась. Одно дело предполагать безумие — собственное и чужое, и предполагая, писать об этом притчи, и совсем другое — столкнуться с этим нос к носу вот так, посреди

пустыни в разбитом "Мерседесе". Страстное, безумное желание — вернуть Россию с той единственной судьбой и любовью, которая возможна только на родине. Вот что горело в его глазах! Вот для чего ему необходимо было нечто, открытое его предком.

Наши желания сводят нас с ума, брат мой Лилисий. Бывали дни, когда я так желала нашей встречи, что готова была сама заняться изготовлением философского камня, я готова была и душу и тело превратить в этот философский камень, который исполнит мое желание. Кто знает, к чему приводит нас наша готовность? В кого мы превращаемся в результате? Знает тот, кто нас любит.

Он все отследил по моим глазам. Он спросил:

— Ты веришь в чудеса? — и ответил сам себе: — Верить! — потом, словно спохватился. — Нет, не так. Даже не вера... Просто отсутствие неверия. Как у детей. Мой прадед это имел в виду. Вере нужен символ, столп, гора, которая пойдет навстречу, — он кивнул в сторону горы Санта-Анна. — А отсутствию неверия ничего не нужно, оно само не подозревает о себе, пока не отразится в чьей-то вере, — он посмотрел мне в глаза, в самые зрачки, и прошептал едва слышно: — Я верю в то, что это возможно...

— Что — это?! — так же шепотом спросила я. И увидела в его зрачках собственное отражение.

— Потом поймешь, — одним дыханием ответил он. Склонился и стал целовать мои глаза — веки, ресницы, слезы. Я не успела даже зажмуриться!

И я вспомнила в это мгновение, как страстно хотела поцеловать тебя, вот так же — прямо в глаза, чтобы ты не успел зажмуриться. Ощутить твои слезы на вкус. Хотела да не решилась. А этот старик решился. То ли от его горячих губ, то ли от пыльного ветра, а может воспоминания о тебе были тому виной, но глаза мои наполнялись слезами. Я не могла больше сдерживать их... И я разрыдалась...

— Ничего... Ничего... Все будет хорошо... — он утешал меня, как ребенка.

И тут — о чудо! — я ощутила в себе то самое отсутствие неверия. Боже мой! Я все вспомнила! Это было как гром среди ясного неба!

Не знаю, что отразилось на моем лице. Но старик удовлетворенно кивнул:

— Иннокентий такой же. Но теперь я его не боюсь. Боишься, пока не веришь. А теперь я верю — достаточно двоих-троих и все получится... А близнецов-то гораздо больше!

Не знаю, о чем он бормотал, он говорил уже не для меня, но потом будто опомнился и опять повернулся ко мне:

— Видишь гору Санта-Анна? — мы подъехали совсем близко. — В тот день, когда она проснется — все станет возможно... Город всплывет... и... мы... все встретимся!..

Он круто развернул машину, и мы поехали обратно. Я поняла: он сказал все что хотел.

Людей, верящих в чудеса, не так уж много на этом свете. Но почти никогда они не решаются открыться друг перед другом. А тут так все совпало... Я подумала, что обязательно напишу тебе об этом, как только мы вернемся в Пунто-Фихо. Но в тот вечер меня ожидало еще одно потрясение, хотя и совсем иного плана.

Домой мы вернулись уже затемно. Чилия собирала поздний ужин и была как-то странно молчалива. Обычно она напевала какие-то веселые песенки и то и дело подмигивала московской гостье — то по поводу личного шофера сеньора Деметрио — Джулио, то имея в виду Джонни, официанта из отеля "Вилла Реаль". В ее воображении постоянно происходили какие-то фантастические романы между гостьей, приехавшей из России, и самыми видными кавалерами родного городка. Более того, самых впечатлительных из них, а значит обладающих душой романтической и возвышенной, она своими фантазиями даже подталкивала к решительным действиям. Так через некоторое время мне стали передавать записки от этого шофера по имени Джулио. А сам обладатель бархатных черных глаз, небольшой лысины и семьи из дюжины детишек с вечно беременной женой стал томно вздыхать при встрече со мной и посылать красноречивые взгляды. Записки я принципиально не читала... Хотя глаза вздыхателя были такие бархатные, лысина совсем маленькая, — гордо выставленная напоказ в короткой стрижке, она гармонично вписывалась в общий облик Джулио — молодого полноватого мужчины. Но я чувствовала, что такая полнота, легкая и плывущая, воздействует на женскую душу как таинственная фаза луны, когда женщины теряют голову совершенно непонятно отчего. И то сказать — разве можно потерять голову от простодушной улыбки и обаятельной полноты многодетного мужчины?

И вот в тот вечер Джулио привез нового гостя, приезд которого внес напряженное молчание в дом. Попутно шофер передал мне очередную записку. Изменив своим правилам, я развернула клочок бумаги. Неровными русскими буквами с орфографическими ошибками было написано: "Берегись его". Я заметила, что даже Чилия была настороже — всегда веселая, улыбчивая негритянка с такими смешными, неровно выпирающими зубами, которые словно клавиши на пианино чередовались, то черный, то белый, то золотой, — теперь она ходила с плотно сжатыми губами, не говоря ни слова.

Я присмотрелась к незнакомцу. В нем было что-то возвышенно волчье, не хищное, а именно волчье, как если бы какая-то ветвь этих существ пошла по пути тайной эволюции и выдала в конце концов такой великолепный результат — наследника рода Брулкиных. Да, незнакомец оказался единственным сыном сеньора Деметрио. И видно было по всему, что он не очень-то благоволил к своим родственникам, а к гостям тем более. Он смотрел на нас так, как будто собирался всех скопом отдать в ближайшую психиатрическую лечебницу. И не делал это только потому, что сам был из той же стаи и не мог предать ее.

Нас церемонно познакомили, но ужин прошел в полном молчании с обеих сторон. Мне почему-то захотелось поскорее покинуть дом и уйти в гостиницу. Но когда я попыталась это сделать, случилось неожиданное. Он перехватил меня в прихожей странным вопросом.

"Ну что, ты уже все выжала из этого лимона?" — с неожиданной злостью спросил он, как будто мы сто лет с ним знакомы. "Я говорю, ты уже все выжала из этого лимона?" — с напором повторил он.

И тут я узнала его! Это был тот самый человек с волчьим взглядом, выхвативший меня из шторма, когда я теряла сознание от солнечного удара.

Теперь он словно продолжал диалог, начатый на берегу. И опять про лимоны! Дались ему эти цитрусовые!

"Нет... Еще не все.... Выжала..." — вдруг неожиданно для себя самой ответила я, как будто только тем и занималась в этой глуши, что выжимала лимоны. Конечно, я хотела сказать, что книгу писать мы еще не начинали, и, судя по всему, вряд ли начнем. Но Афанасий, сын сеньора Деметрио, явно подразумевал что-то другое.

"Имей в виду, старик — полный банкрот и сумасшедший к тому же", — со злостью прошипел он.

"Если оглянуться на историю, именно безумцам удаются все их великие замыслы", — с вызовом ответила я.

Отец и сын удалились в кабинет и долго беседовали там. Потом сын вышел, хлопнув дверью — на лице его застыло холодное бешенство. Подойдя к двери, я услышала, как старик плакал в своем кабинете.»

3

Афанасий отшвырнул мобильник: «Ну и глушь! Опять связи нет!»

Вот уже два часа он накручивал круги по городу, собираясь с духом для окончательного выяснения отношений с отцом. Тут бы и отвлечься от мрачных мыслей, выпить со старыми друзьями, а потом уже во хмелю легко и как бы шутя завершить задуманное. Но где же они все, старые друзья?! А в доме отца, между тем, все спокойно и полно народу. Опять собирается кадетский съезд — юбилейный праздник... Ничего невозможно понять в этом мире престарелых родственников, живущих непонятно на каком свете и в какой стране!

Чертыхаясь, он нагнулся за телефоном, но звонить больше не стал. В конце концов, может быть, это и к лучшему. С отцом нужно говорить лично, с глазу на глаз, а то старик, небось, и забыл, что кроме горячо любимых племянников и племянниц у него имеется еще и родной сын, блудный, быть может, но все же сын. Родной!

Он вытащил письмо адвоката из внутреннего кармана и еще раз пробежал глазами последние строки.

Итак, в его доме живет журналистка из России и пишет книгу о его семье и обо всем их знатном сумасшедшем роде — да, именно она, та, которую он спас на берегу залива. Ничего себе совпадение! Мог бы и притопить, между прочим — и все проблемы решены! Шутка, конечно... Тем более, что даже в шутку это не решает проблемы.

Афанасий с трудом подавил раздражение. Отца он давно уже считал сумасшедшим, и любое его действие расценивал не иначе как проявление старческого маразма. Вот и сейчас, когда адвокат прислал сигнал тревоги — в Пунто-Фихо прибыла гостья, по слухам, вызванная из России для работы над книгой мемуаров, он решил, что старик готовится опять переписать завешание.

Но, похоже, не только завешание, он готовится переписать всю историю их семьи! Эта гостья, какая-нибудь прожженная журналистка, начнет копать в их

грязном белье, обряжать в это белье все тайные скелеты, скрытые в шкафу, и выставлять их на всеобщее обозрение. А у старика этих скелетов — целая кунсткамера, судя по тому, как он благоговееет перед всеми этими внучатыми племянниками и племянницами. Причем предполагаемое их родство оправдывается исключительно чувством вины.

Афанасий пытался воспринимать все происходящее с юмором, как советовал адвокат, но чувства юмора на абсурдность ситуации ему явно не хватало. Он никогда не слышал, чтобы чувство вины в конце жизни принимало столь экзотические формы. И чувство вины перед кем?! Перед родиной, которая выбросила всю их семью в темный вонючий трюм на пароходе, следующем в Константинополь? Или перед женщиной, встреченной в концлагере, где он служил — подумать только! — бухгалтером. Рвался спасти родину от коммунизма, а не смог спасти даже возлюбленную, встреченную там... И ведь никому ничего не рассказывал толком. Никогда! Но жалкий бред его ночных кошмаров они с матерью вынуждены были выслушивать каждую ночь уже здесь, в Венесуэле, когда прошло столько лет. И как ни советовала ему жена, мягко и тактично, обратиться к врачу с этой проблемой, старый упрямец стоял на своем — никакой проблемы нет, он знает сам что делать, и никакие психотерапевты ему не нужны. И, действительно, лекарство от своих кошмаров он нашел весьма своеобразное — осчастливить всех воображаемых наследников, каждый раз заново переписывая завещание. Развлекался и трепал нервы своим родным, да еще приговаривал: «Я знаю, что делаю!»

Что ж, в отличие от великих русских писателей, отец всегда знал, кто виноват и что делать. Афанасий испытал это на собственной шкуре, когда переписывал под диктовку целые главы из «Войны и мира» и «Братьев Карамазовых», а потом заучивал их наизусть. Так отец пытался пробудить в нем русский дух.

Это была собственная методика семьи Брулкиных. Афанасий сам удивлялся своей памяти — он легко запоминал стихи и помнил их до сих пор. «Там русский дух! Там Русью пахнет...» «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Ну какие снежные вихри здесь, в тропиках? Зачем ему это нужно?!

И все же русский дух в нем пробудился, хотя и своеобразно. Когда Афанасий вырос, завел семью и сам стал отцом, он запретил детям учить русский язык, и дед мог общаться со своими внуками только на испанском, да и то по большим праздникам. Ненавистное Пунто-Фихо Афанасий покинул сразу после окончания школы, успешно закончил каракасский университет, поселился в Каракасе и открыл свой бизнес. А вскоре пробудившийся русский дух нанес второй удар по русской общине в Пунто-Фихо — Афанасий страстно увлекся сайентологией и отписал все свое имущество в пользу нового бога — Рона Хабборта. И в дальнейшем все богатое наследство, которое он готовился получить, должно было последовать туда же — в ненасытную утробу новой религии. Афанасий больше всего на свете мечтал об этом. Неудивительно, что он так болезненно реагировал на все многочисленные переписывания завещания, хотя и знал, что закон всегда будет на его стороне — родные дети по венесуэльским законам имеют преимущество даже перед женами, а тем более —

молодыми женами. Поэтому его не беспокоило, что овдовевший отец может жениться еще раз, опасность заключалась в том, что объявится новый наследник. Хотя обычно такое почти невозможно доказать... Но ведь случилось же это с Иннокентием.

Иннокентий... Это был удар, которого сын от отца не ожидал! Он давно уже считал, что удары может наносить только он, Афанасий: мол, имеет на это право. За что? За казарменное воспитание и пробуждение русского духа? Да, он всерьез считал, что детство его было изувчено этими кошмарными педагогическими экспериментами. Но если в казарме есть хотя бы друзья-товарищи и живая жизнь, которая переваривает любую мифологию, то в его случае он остался один на один с мифом о великой России. Со временем он определил для себя это так: отец пытался даже его детство подменить этим мифом, даже собственную отцовскую любовь. Но понял он это гораздо позже, уже после своего возвращения с острова Маргарита. И многое понять ему помог сам Иннокентий.

В первый раз увидев Иннокентия, он просто нутром почуял, что это существо на все сто процентов *не здесь*. Даже по сравнению с самой теткой Анастасией и всей ее русской усадьбой на острове Маргарита, находящейся явно не в двадцатом веке, этот мальчик пребывал в каком-то совсем другом мире, и не собирался оттуда возвращаться. И вот что удивительно! Афанасию это понравилось. Там, в Пунто-Фихо, под строгой опекой отца он был лишен этого мира — он просто переписывал его под диктовку. Даже сказки Пушкина, которые он знал наизусть, не проводили его в этот мир, а глухой стеной стояли на пути — стеной, которую не обойти ни с какой стороны. А Иннокентий просто взял за руку и провел его туда.

А уж когда у блаженного загорались глаза, он мог убедить кого угодно и в чем угодно!

Они проговорили тогда всю ночь — Иннокентий пересказал ему сказку про Ивана-царевича и Серого волка так, как Афанасий никогда не слышал, и еще уверял, что именно так рассказывала няня Варфоломея Евстафьевна — а уж она-то точно знает! Эту няню Афанасий так и не увидел ни разу на острове Маргарита, но усомниться не решился.

И все-таки в тот первый день знакомства Афанасий почувствовал себя уязвленным. Говорил все время Иннокентий, а он только слушал и поддакивал. Выходило, что ему самому и рассказать нечего. А ведь он наследник древнего дворянского рода, у него есть родные отец и мать, и сестры к тому же! И живет он в большой дружной семье, а не на каком-нибудь острове в обществе двух старух. В их городе — целая русская община, и все там родные друг другу, по вечерам собираются за самоваром, как было принято еще в России, и рассказывают всякое... Что там сказки старой няни! Вот отец ему рассказал однажды, как в кадетском корпусе, где он учился, все преподаватели в зверей превратились — кто в медведя, кто в волка, кто в зайца — в общем, каждый в своем чине. И учились они по книге, которая называлась «Звериада». Тоже волшебная книга была и вся стихами написана, так выходит, что звери, они первыми стихи писать начали.

— Наверное, это была специальная школа? — робко предположил Иннокентий.

— Дурак! — вспыхнул Афанасий, — это была не какая-то школа. Это был настоящий кадетский корпус! Там воевать учились! И располагался он в старинном рыцарском замке. А в каждом рыцарском замке свое привидение имеется, и там тоже было. Вот с ним-то они и воевали. Привидение все время превращало преподавателей в зверей, но перед кадетами было бессильно, потому что у них волшебная книга имелась — та самая «Звериада». А потом явился мой прапрадедушка — тоже призрак! — и всех победил!

Иннокентий слушал, как заворуженный. «Звериада» — повторял он магическое слово, — родные отец и мать! — и эти слова были для него еще более волшебными. — И даже сестры родные! — выдыхал он потрясенно, глаза у него разгорались все ярче, но Афанасий только много позже узнал, какая опасность таится в этом, — целая русская община! И все родные! Даже призрак!

— Да, у нас и призрак собственный! Свой! Родной! — решил упрочить Афанасий победу, и тут же осекся. — Правда, он вроде как француз...

— Жюль Дютель! — тут же воскликнул Иннокентий. — Он и мой тоже...

И этого в тот решающий момент десятилетний Афанасий пережить не смог, он не дал даже договорить брату:

— Как это твой? Да кто ты такой? Ты сирота! Приемный! У тебя кроме двух сумасшедших старух и нет никого, да и те не родные, а просто опекунши, благотельницы из жалости. Ну скажи, кто у тебя есть свой, родной?! — выкрикивал он в лицо бедному Иннокентию.

— У меня есть ты... — совсем тихо ответил «приемыш».

Этого ребенка невозможно было расстроить, обидеть, а тем более полезть на него с кулаками, хотя еще минуту назад Афанасий был близок к этому, а теперь просто растерялся.

— Эта книга «Звериада»... Я тоже видел ее в архиве Жюля Дютеля, — продолжал Иннокентий. — Не думаю, что он учился в кадетском корпусе, скорее всего, она попала туда случайно, а между страниц ее оказалось много фотографий с разными надписями. Там есть одна, которая мне очень понравилась: такая красивая девушка в белой фате под меховой шапочкой, а рядом офицер в парадной форме. И представь себе! — на этой меховой шапочке невесты и на погонах офицера-жениха лежат облака, маленькие такие, но самые настоящие — белые, пушистые... И вокруг кружатся — маленькие, белые... А за ними — город чудесный!

— Я знаю, что это! Это снег! — закричал Афанасий восторженно. — Это мои дедушка и бабушка! Они венчались зимой во Пскове. И падал снег... У меня тоже есть такая фотография!

— И падал снег... — отрешенно повторил Иннокентий. — А ты видел этот снег? — так же отрешенно спросил он кузена.

— Я? Нет... Никогда... — растерялся Афанасий.

— А я видел. Я знаю, какой он. Но на той фотографии... Это все равно облака...

Это была полная победа Иннокентия. Экзальтированное воображение

победить невозможно. Над ним можно насмехаться, иронизировать... Но победить... Никогда! И Афанасий оставил усмешку за собой, а победу — за Иннокентием. Этот расклад определил их отношения на все последующие годы.

...Остановившись на Соборной площади, Афанасий долго прислушивался к шуму ветра: хлесткий плеск пальмовых листьев, постанывание гнущихся стволов, треск сучьев и еще какое-то тонкое постукивание, как будто кто-то пытался достучаться до него азбукой Морзе и сообщить что-то очень важное. Присмотревшись, он обнаружил источник звука — маленькая птичка сидела на левом дворнике и долбила клювом лобовое стекло.

— Колибри! — ахнул Афанасий. — Как она сюда попала? Тоже мне цветочек выбрала...

Птица словно слышала его голос, перестала стучаться и, поворачивая головку то вправо, то влево, стала пристально вглядываться в стекло.

— Надо же... Еще и любит себя, — усмехнулся он и включил дворники.

4

А душа Люни все не могла смириться с очевидным — с отражением в стекле...

Что же это такое?! Колибри! Она, Люня — колибри! Но это же просто смешно! Дочь интендантского полковника, рослая русская красавица, и вдруг — колибри! Такая маленькая птичка... Да, она лечилась у местного шамана, который что-то ей рассказывал про их обычаи и верования. Но что с того?! Она же православная и службы в храме посещала регулярно, исповедовалась и причащалась... И вдруг — колибри...

Или это просто воображение ее души, выпущенной на свободу? Но откуда тогда такое горячее ощущение воздуха в саду — тончайшие нюансы запахов и переливы света? И какое-то знание, которого не было прежде... Как много знает эта маленькая птичка — Люня-колибри! И главное, она умеет читать письма, еще не отправленные и даже не написанные, а те, которые только-только на кончике пера.

Вот уж который день она кружит вокруг дома Брулкиных и наблюдает, как брат пытается написать ей письмо — он сочиняет его, почти задыхаясь: строки путаются, воображение разгорается, а чувство вины только подогревает его. Мысли бегут огненной строкой через весь горизонт, потому что пока рука его выводит семейное предание, душа мается совсем другим, он все время думает об одном и том же: как сделать так, чтобы этого никогда не было?! Августа сорок третьего... Местечка Могила под Краковом... Лагерь советских военнопленных недалеко от немецкого аэродрома... Как сделать, чтобы не было этой колючей проволоки, которой проросла вся его жизнь. И не только жизнь — сердце... Душа... И выходит, что смысл имеет только колючая проволока и женская рука, что тянется сквозь нее...

Вот истинное проклятие его, а вовсе не коллекция французского предка! А может быть, и не было никакой коллекции?! Ну и пусть... Сейчас это уже не

имеет значения. Все равно что-то должно случиться. Все взаимосвязано! Не зря же в их роду никто не был счастлив в любви! Это кое-что да значит... И тогда судьба его няни Варфоломеи Евстафьевны — путеводная нить во всем этом лабиринте. Да! Идти нужно за ней — за строкой Жюля Дютеля, единственной, написанной четко и внятно:

Только рождением новой легенды снимается родовое проклятие!

По радио опять передают штормовое предупреждение. А никто не собирается уезжать — все ждут Иннокентия, который привезет семейную реликвию. Но как Люня может помочь им всем, престарелым родственникам, впадшим в детство — тем, для кого сказка оказалась важнее и реальнее, чем последние часы их жизни? Что может она, если тело ее лежит в коме в каракасском госпитале, а душа мерцает радужным пятнышком над плечом брата, который медленно выводит эти строки:

«Не вини ты себя, Люня, что подбросила ожерелье Варфоломее Евстафьевне — оно все равно принадлежало ей, оно как бы к ней и вернулось, само притянулось. И уж то, что няня после этого вмиг потеряла свою молодость и стала древней старухой, так никто не знает, как это вышло. Говорят, бывает такая болезнь... Но не думаю, что такое могло случиться от оговора... Хотя кто знает?... Кто знает?»

От душевного смятения строки в письме наталкиваются друг на друга, дробятся и вновь переплетаются...

И вдруг Люня понимает, что видит воочию, как растет Древо легенды их рода, она созерцает это особым зрением, открывшимся в ней только сейчас.

И тогда она сделала это невероятное усилие...

Рука медсестры замерла на полпути к отключению аппарата, и в это мгновение на экране снова побежала кривая кардиограммы...

Вот она по-прежнему лежит на больничной кровати, прикованная к аппарату искусственного дыхания. Лицо скрыто кислородной маской — кривая сердечного ритма агонизирует... — но зрение и слух обострены как никогда. Она совершенно явственно слышит тихий детский смех — это радужное пятно кружит над ее телом и смеется все громче, и шепчет на ушко что-то тайное, совсем как младший брат в детстве.

«Наверное, я впадаю в детство, и глаза мои сами удивляются тому, что пишет рука. И я представляю, как удивишься ты, Люня! Но уж так душа моя истосковалась по няне и ее сказкам, просто сил никаких нет! Не усмехайся, Люня и не качай головой... Хотя бы перед смертью могу же я позволить себе то, от чего отказывался всю жизнь? Я-то, дурак, считал, что вера наша христианская — сама по себе, а чудеса, в которые верил в детстве — они сами по себе, и во взрослой жизни только помеха. И вот теперь моя жизнь продолжается, а радость закончилась. И никакие кадетские съезды и праздники эту радость не воскрешают. Теперь я точно знаю, только Варфоломея Евстафьевна может мне помочь — вернуть эту радость! Ведь еще Лев Толстой писал: "Если радость закончилась, ищи в чем ошибся! Ищи!" Вот я и пытаюсь найти эту ошибку, а их столько выискивается, что и не поймешь, какая главная. Запутался я, Люня, в собственных воспоминаниях, и самому мне нипочем не разобраться. И все

вспоминается мне она, эта узница немецкого концлагеря... Она является мне в снах, и на груди у нее — представь! — жемчужное ожерелье твоей матушки! И как только начинаю я просыпаться, весь жемчуг прямо на глазах у меня рассыпается. И голос нашей няни во сне говорит, что все наши ошибки сплетены в одно "жемчужное ожерелье", но распутать этот роковой узор можно только тогда, когда найдешь самую главную — ту самую, лиловую, привезенную предком из заморской страны...»

— Опять эта жемчужина! — возмутилась Люня и сама удивилась, что даже в такой маленькой птичке колибри проявляется ее прежний характер. — Неужели он меня так и не заметит?! — вдруг с внезапной горечью подумала она, наблюдая, как брат комкает очередное письмо и бросает в корзину.

А старик за письменным столом задумался и стал прислушиваться к чему-то. Он снял слуховой аппарат, склонил голову на плечо, и морщинистое лицо тронула робкая детская улыбка.

И в этой тишине, возвратившей его детскую веру, старик наконец-то заметил маленькую разноцветную птичку, которая давно пыталась достучаться к нему. Он открыл окно, колибри влетела и опустилась к нему на плечо — и от этого обоим стало спокойно и хорошо.

5

Городок Пунто-Фихо местами напоминал огромную движущуюся помойку. И дело было даже не в какой-то особой нерадивости властей города, а в этих самых парагванайских ветрах. Порой казалось, что если даже запаять весь мусор в железные контейнеры, ветер все равно вскроет их, чтобы развешивать свои любимые игрушки в кактусовых рощах, а потом срывать и перемещать мусорный праздник по всему полуострову. Мне ли, приехавшей из России, где помойки являются национальным достоянием, осуждать жителей маленького венесуэльского городка, не желающих бороться с местным демоном в образе ветра?! Но когда в последние три дня ветер собрал весь этот мусор в огромную воронку вокруг горы Санта-Анна, раскручивая ее все больше и больше, даже мне стало не по себе. Ну и зрелище было, я вам скажу! Я-то, конечно, обратила на это внимание сеньора Деметрио, но он только рукой махнул! Вот я и решила, что у них всегда так. Вообще-то, я очень неправильно вела себя все эти три месяца, совсем как гора Санта-Анна последние три века. Когда ты ведешь себя слишком тихо, с тобой перестают считаться.

За несколько километров я чувствовала ее пробуждающееся дыхание — запах, который предшествует пожару и равен послевкусию очень старого вина, несколько веков хранившегося в погребках. Когда я пыталась рассказать об этом домочадцам сеньора Деметрио, надо мной все только посмеивались, даже кухарка Чилия, которая и сама обладала очень чутким обонянием и даже подрабатывала в одной парфюмерной фирме.

В доме сеньора Деметрио по-прежнему продолжались чаепития и подготовка к юбилейному кадетскому съезду. Вода схлынула, и то, что я считала чуть ли

не цунами, было названо просто большим штормом. Слухи улеглись, жители стали возвращаться в город. Была назначена новая дата карнавала, посвященного Умберто. И никто почему-то не вспоминал, что за первой волной всегда следует вторая...

Так же, как за первой встречей — неизбежное продолжение, не всегда приятное...

...Мы столкнулись в коридоре — лицом к лицу. И я вдруг поразились, как он похож на Иннокентия, этот сын сеньора Деметрио. Его звали Афанасий. И он единственный меня раскусил. Впрочем, возможно, он этим занимался специально — ездил в Россию, собирал сведения, разыскивал Иннокентия. Но вряд ли ему удалось узнать что-то конкретное...

Да, все это время я строго соблюдала обещание, данное Иннокентию у источника святого Пантелеймона — никому не рассказывать о нашей встрече в России тем давним дивеевским летом. Но вспоминала его часто и ждала хоть какой-то весточки — скажем, звонка, за которым не последует молчание. Потому что чем дольше я пребывала на полуострове Парагвана, собирая материалы о «тайне старинного дворянского рода», тем ярче и подробнее вспоминались мне некоторые детали нашей последней встречи в Дивеево — уже на автобусной остановке, в самый момент прощания...

Иннокентий... Я испытывала к нему чувства, которые невозможно описать словами. Он представился мне музыкантом и сказал, что коллекционирует карнавалы. Тогда я еще не знала, что это значит, и подумала про цифровую камеру и гору дисков с записью карнавальных шествий, но он имел в виду что-то совсем другое. Я это поняла гораздо позже, уже оказавшись здесь, на полуострове Парагвана.

Тогда в Дивеево я и не помышляла о том, что такое путешествие возможно. Его странное предложение у источника святого Пантелеймона — как-то вот так сразу, с бухты-барахты, показалось мне несерьезным. К тому же в то лето у меня была запланирована совсем другая поездка, билет на поезд уже лежал в кармане, и через три дня я должна была быть на Ленинградском вокзале с вещами.

Я порывалась уехать, он меня удерживал. Я переносила отъезд со дня на день. Мы уже почти ссорились... Хотя поссориться с ним было практически невозможно. И все-таки я должна была ехать... Почему? Потому что я искала встречи с тем, с кем встретиться мне было не дано. Тогда я еще не могла в этом разобраться. И скажу честно, мне все время хотелось сбежать от него, что я все время и делала — вполне успешно сбегая от реальной жизни. И только этот кошмарный старик, заперший меня на полуострове Парагвана, смог воспрепятствовать этому бегству, по крайней мере, физически.

А Иннокентий, он ничего не предпринимал, чтобы как-то остановить меня.

Ну что он может понять, если я сама не могу разобраться в себе, подумала я тогда. И чтобы не поссориться окончательно, решительно повернувшись, пошла по направлению к автостанции. Я спешила уехать в Арзамас, а оттуда в Москву, а через два дня — в Питер, потому что там, под Питером, на Ладожском озере проходил фестиваль, на котором меня ждали... И вдруг он крикнул мне вслед:

— Я знаю, в чем дело! Я все про тебя знаю! Ты просто не веришь! Не веришь в меня! Но ничего, моей веры хватит на двоих. Ты еще увидишь, что я для тебя сделаю!

Я даже и предположить не могла, что он имеет в виду, но его возглас тронул меня... Нет! Не так! Этот окрик поразил меня в самое сердце. Потому что это была правда. Только правда действует так неотразимо — правда, в которой сама боишься признаться.

И тогда я остановилась... Он подбежал с такой надеждой в глазах. Я не знала, что сказать... Зачем я вообще остановилась? Оглянулась... Подала лишний повод для надежды. Я ненавидела себя за это! За все эти колебания, сомнения... Ведь я же знала, что все равно уеду.

Но все же... Его старомодное воспитание, как, сам посмеиваясь над собой, он говорил — девятнадцатого века — толкнуло меня на не менее старомодный жест. Мне захотелось подарить ему что-нибудь на память — ну, не просто визитку, как напоминание о несбыточном, как мне казалось, обещании — путешествии в Южную Америку, а еще что-то... В спешке, в суете отъезда, это могло быть только то, что всегда под рукой — ну, скажем, какая-нибудь памятная фенечка, висящая на шее, типа вязаного мешочка для мобильного.

Именно это я и сделала. Я сняла этот самодельный чехольчик, пустовавший по причине потерянного в то лето телефона, и надела ему на шею. Как-то нелепо дарить мужчине женское украшение, даже если это какой-нибудь старинный кулон, но вот чехол для мобильного — это совсем другое дело, это вещь полезная, да и носить ее можно в кармане, не обязательно на шее. И Иннокентий это тоже понял. Он весь просиял...

И вот здесь начинаются именно те подробности, воспоминания о которых не давали мне покоя темными венесуэльскими ночами.

Во всех деталях — широко раскрытые глаза, вся подвижная мимика радости и удивления, и улыбка, наконец-то! — мне вспоминалась его детская и немного смешная реакция на мою безделушку.

Он тут же стал рассматривать подарок — прямо так, не снимая, словно боясь нарушить некий ритуал. Слово «лилий», вышитое цветными нитками, особенно заинтересовало его. Я призналась, что это имя обозначает того, кто близок моей душе так, что его можно назвать «близнецом моего сердца».

Для него это прозвучало как гром среди ясного неба! Он побледнел. Что-то забормотал себе под нос, но расслышала я только странное словосочетание «драгоценный близнец»¹...

Тут объявили посадку на мой автобус, и я тоже занервничала:

— Это твое. Делай с этим что хочешь. А мне все-таки пора.

Он прижал «это» к груди:

— Нет! Не уезжай! — он все теребил в пальцах эту безделушку, а потом нащупал в ней что-то и нервно высыпал на ладонь. — Что это?!

— Мусор, — честно призналась я.

¹ Одно из имен Кецалькоатля.

— Нет, вот это — что?! — Он выбрал из пожухлых травинок и невесть откуда взявшейся подсолнечной шелухи три облезлые жемчужины и, близоруко щурясь, поднес к самым глазам.

— Это... — я замялась, — говорят, это предохраняет от облучения. Ну, типа того, что старинные жемчужины поглощают радиацию. Не знаю, может врут, но я на всякий случай положила.

— А откуда они у тебя? — он подставил ладонь лучам заходящего солнца, и они, эти потускневшие мертвые жемчужины, вдруг вспыхнули лиловым оттенком. — Где ты их взяла?! — воскликнул он.

— Нашла.

— Нашла?! Где?!

Ну, придумал тему, рассердилась я — автобус вот-вот уйдет, а ему «родословную жемчужин» подавай.

— Ну, под тем домом, где я живу в Царицыно, оползень случился. Почва там ненадежная... Плывун, одним словом. Дом чуть не завалился... Когда укрепляли, на сваи ставили, много чего выгребли из-под фундамента.

— А чего выгребли? — он прямо затрепетал весь, ну как дитя малое, что в сказки верит, а какая уж тут сказка — чуть не завалило меня тогда.

— Ну, как чего, — отвечаю, — глины много выгребли. — Не буду же я ему и вправду все расписывать в подробностях, чего мы там выгребали из-под дома, особенно когда автобус в Арзамас вот-вот уедет. — Я тогда печку лечила — несколько кирпичей вывалилось из передней стенки. Ну, решила, что справлюсь сама. Набрала глины, которую из-под дома выгребли, замесила с песком, как полагается, и вдруг укололась чем-то. Промыла под водой — а это жемчуг, старый, потускневший... Интересно мне стало, всякие романтические мысли в голову полезли о тех, кто дом этот строил. А вдруг это реликвия какая-то, — подумала я, — нить перегнила, весь жемчуг рассыпался, а я вот соберу его воедино и это судьбу мою переменит. А тут как раз по телевизору фильм показывали про старинные украшения, и голос за кадром сказал, что старый жемчуг вбирает в себя все негативные излучения. Ну, я и решила, что это знак! Как надела, так и не снимала. А теперь вот тебе дарю. Может, тебе больше повезет...

Он стоял и внимательно рассматривал этот старый жемчуг на ладони, потом выбрал одну большую лиловую жемчужину и поднес ее к самым глазам.

— А знаешь, — тихо и как-то нарочито загадочно сказал он. — Я тоже могу тебе кое-что подарить.

— Что?! — тут же обрадовалась я. — Ну, уж наследник старинного дворянского рода наверняка мне подарит какое-то дорогое украшение и, скорее всего, фамильное.

Он заметил мое возбуждение, и глаза его хитро блеснули:

— А вот это ты узнаешь там, на полуострове Парагвана...

— Да брось ты сказки рассказывать! — я даже расстроилась.

— Да-да... Мой посредник пришлет тебе приглашение...

— Ну что ж... Может быть, и правда повезет, — я хотела просто исчерпать тему. И тогда он сказал:

— Нам всем повезет. Вот увидишь! А это... — он прижал мою фенечку к груди. — К тебе вернется... там, на полуострове Парагвана...

— Это еще как? — я даже остановилась, уже убегая.

— А вот увидишь — как! — вдруг воскликнул он, глаза у него загорелись и он расхохотался, запрокидывая голову, смехом совершенно ему несвойственным. — Ты даже представить себе не можешь, как это может вернуться! — он меня просто напугал этим смехом.

И тогда я заскочила в автобус, уже вполне уверенная, что все делаю правильно.

— Давай встретимся позже! В Москве! — вдруг воскликнул он совсем по-детски.

— Конечно, — сказала я, уже из окна автобуса, а сама подумала: «Конечно, нет!» — и тут же назначила встречу — именно в том месте, в тот день, в переходе на Пушкинской, прекрасно зная, что самой меня в этот день в Москве уже не будет.

И все-таки... Все-таки, когда автобус тронулся, все внутри у меня оборвалось: «Куда я еду? Зачем? Зачем мы расстаемся?!»

Я обернулась, открыла окно — он смеялся и махал мне вслед. Он был совершенно счастлив. А мне вдруг песчинка попала под веко и я заплакала — ну просто в три ручья... И увидев мои слезы, он весь преобразился и захохотал, как шут карнавальный. Знала бы я, чем этот смех мне обернется здесь, на полуострове Парагвана...

Люня уже не удивлялась, что в пачке писем, оставленной ей Иннокентием, встречаются письма таких разных людей. Она уже ничему не удивлялась. С того момента, как она поняла, что ее простили и отпустили, она ощущала бесконечную свободу! Времени больше не было, зато в пространстве проступило столько горизонтов — весь многослойный свиток жизни разворачивался и светился перед ее взором, и ни одна картинка не затмевала другую. И горизонт дивеевских холмов, и линия соединения неба и моря из окна ее венесуэльского дома, и самая близкая черта — спинка ее больничной кровати — мерцали параллельно, пока она поднималась надо всеми на свете горизонтами. Теперь ничто не сможет ограничивать ее душу! За ней осталось это право — любить и охранять тех, кто остался там, на берегу, перед надвигающейся волной...

И тогда, уже уплывая за горизонт на своей больничной кровати, Люня вскрыла последнее письмо Иннокентия.

6

«...И теперь, тетушка, я подхожу к самому главному — когда я оказался в этой больнице, я не помнил ни имени своего, ни прошлого, ни настоящего, я не осознавал, сколько прошло месяцев, лет, а быть может, и веков? Да, тетушка... Я предполагал даже это... Удивительно, что я все-таки что-то предполагал, находясь в таком состоянии. Санитарки рассказывали потом, что все это время

я был, аки волк, привязанный к больничной кровати. Я не помнил в те дни ни себя, ни Иванну, ни Пушкина, под которым случился взрыв... А памятник все же устоял! И потом, уже придя в себя, я вспомнил, как в детстве Афанасий очень раздражался на все эти стихи, и даже грозился поехать в Россию и подорвать памятники всех его мучителей. Он был очень свободолюбивым мальчиком. Конечно, я не думаю, что он осуществил бы свои детские угрозы, однако Афанасий был единственным, кто нашел меня в этой больнице. Он пытался со мной о чем-то говорить — о каких-то акциях, наследстве, а потом махнул рукой, выругался и ушел. Но о "несчастном братце" все же похлопотал, потому что вскоре меня перевели в другую больницу. И в этой новой больнице ко мне относились очень хорошо, а я был вежлив и приветлив со всеми, как вы меня учили с самого раннего детства, тетушка. В холле стояло хорошее фортепьяно, и я часто играл на нем. Пальцы мои сами вспоминали какие-то мелодии, и я использовал их для собственных импровизаций. Врачи готовы были признать меня здоровым, если бы не эта, так называемая, амнезия. Никто, даже я сам, не знал, кто я и откуда, и поэтому идти мне было некуда. Удивительно, что Афанасий не оставил врачам никаких сведений обо мне, как будто он хотел, чтобы я навсегда остался в этой больнице.

Так продолжалось до тех пор, пока в палату ко мне не положили одного странного молодого человека. Даже в бреду он заикался и звал кого-то по имени. Имя это я никогда не слышал прежде, но оно мне показалось благозвучным и исполненным тайного смысла, который хотя и ускользал от меня, но все же приоткрывал что-то о моем прошлом. "Лилисий... Лилисий..." — кричал по ночам этот человек и был, аки волк — так же, как и я вначале. Он был даже чем-то похож на меня и, если бы не свежие ожоги на лице, я бы сказал — очень даже похож.

Чем больше он был, тем больше его кололи. И я понимал, еще немного — и он совсем не сможет вернуться. Его волчий вой пронзал мне сердце, как самые острые клыки. И однажды ночью я не смог больше переносить эту боль.

Как сейчас помню, было полнолуние... Огромная луна светила в окно. Я поднялся с постели, подошел к кровати и склонился над его лицом. Взгляд был бессмысленный и блуждающий, изо рта вырывался волчий вой. Я склонился совсем близко. Я еще не знал, что делать... Чем заткнуть этот вой? Но я знал, что это нужно сделать немедленно, пока не вошла санитарка. Я и по сей день благодарю Бога, что руки мои не нащупали ничего другого — ни подушки, ни тряпки какой-нибудь — ничего, кроме собственного сердца. Да, у меня так болело сердце в ту ночь... У меня потемнело в глазах, и я почти упал — лицом в этот вой. Я ощутил его искусанные лихорадочные губы... И тогда, — сам не знаю, как это случилось — языки наши соприкоснулись, — взгляд его перестал блуждать, в нем появилось что-то осмысленное, и в это мгновение зубы мои сами собой сомкнулись — я прокусил его язык!

Он не издал ни звука... Но взгляд стал осмысленным. Он посмотрел мне прямо в зрачки, прямо в мое прокушенное сердце, и я понял, что он узнал меня...

"Лилисий..." — прошептал он еле слышно. "Да, это я..." — ответил я.

В палате воцарилась тишина...

А потом, тетушка, этого человека вылечили, и он перестал кричать по ночам

и звать Лилисия. Он лежал на кровати неподвижно и ничего не говорил. Время от времени ему еще делали уколы и излечение его продвигалось, — по крайней мере, так говорили врачи. Потом ему перестали делать уколы, но еще долго он лежал неподвижно, ничего не говоря.

Но когда он все же пришел в себя, то посмотрел на меня таким взглядом... Т а к и м взглядом, тетушка!

"Этто тты?" — спросил он, по-прежнему заикаясь. "Да, это я — Лилисий", — с готовностью откликнулся я.

Но мой сосед уже не помнил Лилисия. Он помнил что-то другое, возможно, то, ради чего его и вылечили. Однако своего родственного отношения ко мне он не изменил. Потому что в этом новом прошлом, которое ему вылечили, я тоже был для него не чужим. Он, правда, называл меня уже другим именем и рассказывал обо мне много невероятного, но я с ним не спорил. Мне не хотелось его расстраивать. Хотя прежнее имя, Лилисий, мне нравилось гораздо больше и о большем говорило. А он все никак не мог смириться и подробно рассказывал о нашем общем прошлом. Так из его рассказов я узнал, что у него был друг музыкант, с которым они вместе попали в то страшное происшествие. Возможно, это была автокатастрофа... Он не объяснил мне... Проронил только вскользь, что с тех пор он ничего не слышал о своем приятеле, а последствия черепно-мозговой травмы привели его в эту больницу.

Но о своем более далеком прошлом он рассказывал много и подробно, хотя иногда путался в деталях, и называл меня то другом, то братом. Иногда мне казалось, что у него и друга-то никакого не было, а просто он рассказывает о себе в той прошлой жизни, перенося это на мою особу.

Тетушка, не знаю, правильно ли я поступил? Возможно, я смалодушничал... Возможно, был какой-то другой выход. Но я больше не мог оставаться в этой больнице. А без какого-никакого прошлого меня бы ни за что не выписали. Я согласился с этим человеком... Я согласился стать его другом музыкантом со странным псевдонимом — Брат Ли.

Жорик (так его звали) был счастлив. Я тоже. Нас выписали вместе. И мы вместе стали делать музыку, как говорил он. Я, правда, ничего не делал, а просто жил, как и прежде. Но Жорик был доволен. Время от времени он устраивал какие-то концерты, гастроли... Потом мы опять возвращались в Санкт-Петербург. Потому что теперь, по воспоминаниям Жорика, я должен был жить в этом городе. Я был не против. Я по-прежнему чувствовал себя шутом на карнавале. И вел себя так, как и полагается шуту. Самое главное, я знал, кто я — под маской. Я знал, что я — Лилисий.

Так прошло довольно много времени. И вот однажды, тетушка, мне передали мои вещи, которые затерялись в той первой больнице. В правом кармане моего пальто оказалась внушительных размеров дыра и, исследуя ее, я обнаружил за подкладкой несколько писем, написанных моим почерком и адресованных вам, тетушка Анастасия. Письма эти страшно взволновали меня. Я стал тщательно изучать недра своего старого пальто и вскоре вместе с мусором выгреб горсть старых обугленных жемчужин, которые и на жемчуг уже не были похожи. А то, что я считал мусором, оказалось разорванным вязаным чехольчиком для мобильного, а на нем цветными нитками слово: "Лилисий". Руки у меня

затряслись от волнения, и из дырявого чехольчика выпала крупная лиловая жемчужина, завернутая в записку: "Иннокентий, когда будешь в Париже, передай это по указанному адресу". Далее следовал адрес, и как только я увидел этот почерк, все тут же восстановилось в моей памяти. Лиловая жемчужина мерцала на моей ладони, и я знал, что любой ценой должен выполнить обещание, данное ей. Подарок, которого она так и не дождалась, уже созрел в моем воображении. У меня появилась цель, и я решил действовать! И самое главное, это никак не противоречило тому, что на самом деле я — Лилисий и названный брат-близнец музыканта Жорика.

Будучи на гастролях в Париже, я зашел по указанному адресу, и все выяснилось само собой — и о вас, тетушка, и о наследстве, и, собственно, о Лилисии. Я даже не удивился тому, что задуманная мной шутовская игра почти во всем совпала с некоторыми тайными подробностями нашей родословной...

Я понял, что это знак. И вдруг почувствовал, что совершенно свободен, и опять могу вернуться к прежней жизни, чтобы выполнять истинное свое предназначение, о котором знал с детства, и совсем забыл в той игре, что вел последнее время.

Вот и все, тетушка, что я хотел вам сообщить. Сейчас я заканчиваю свое письмо, укрывшись в нашей усадьбе на острове Маргарита, а в соседней комнате не может уснуть княгиня Ольга, и я знаю, что тревожит ее сердце. Поэтому мне пора погасить свет и прекратить скрипеть пером. Утром я, как всегда, сварю для нее кофе, а потом на вашей любимой яхте отправлюсь в маленький городок Пунто-Фихо, чтобы завершить одно очень важное дело. Я думаю, вы догадываетесь, какое. От успешности этого предприятия зависят судьбы многих, и в первую очередь, моей разноцветной птички. Отправляюсь морем как самым коротким путем, потому что боюсь опоздать к началу праздничного обеда, который затекает дядюшка Дмитрий. Я слышал, он уже купил пароход и распорядился поставить на палубе длинный обеденный стол, накрытый белой скатертью.

Это мое последнее письмо, тетушка. Теперь, когда мне самому есть о ком позаботиться, я понял и вашу неусыпную заботу обо мне, ваше даже смерть презревшее беспокойство о том, что я не способен жить в этом мире без вашей опеки. Но мне доподлинно известно, что вскоре на карнавале в Пунто-Фихо случится нечто, что объединит все наши миры — и мой, и брата моего Афанасия, и тот, где блуждает сейчас Жорик, и тогда мы наконец-то все встретимся, как встретились в моей детской сказке — волк, человек и ангел.

А пока целую и обнимаю. Вечно Ваш Иннокентий.

P. S. С документами и всем архивом Жюля Дютеля я поступил так, как Вы велели мне на Вашем смертном одре. Теперь я понимаю, что Вы были правы, тетушка. Я выполнил свой обет.»

Налетевший ветер вырвал письмо из рук Афанасия. Это было удивительно, потому что он стоял в самом защищенном от ветра месте, в холле отеля «Вилла Реаль» и уже который раз перечитывал постскрипtum. «Откуда здесь ветер? — пронеслось в голове, — и что именно этот блаженный сделал с бумагами?!»

Только что из больницы ему передали вещи княгини Ольги, и он, словно

предчувствуя недоброе, сразу же вскрыл именно это письмо. И едва дочитал последние строки, как начался ветер! Холодные влажные порывы нарастали, толкая в спину и не позволяя даже оглянуться. Его вынесло на один пролет лестницы, и только там, цепляясь за колонну, он смог оглянуться. Весь фасад здания был снесен и... он почувствовал новый толчок... под землей... И только тогда увидел бегущего к нему Иннокентия, а за ним — огромную волну. Ему показалось, что смеющийся Иннокентий бежит по воде, даже не касаясь ее. Но конечно, это только показалось, — тут же убедил себя Афанасий, — просто вода прибывает не так быстро

— Сюда...Сюда... — закричал Афанасий брату.

— Начинается! — воскликнул радостно Иннокентий.

— Не успеет... — мелькнула обжигающая мысль, и вдруг само собой и совсем не к месту вырвалось: — Что ты сделал с бумагами, дурак?!

— Я сжег! Я все сжег! — счастливо завопил Иннокентий. — Все-все! Сжег! Все акции! Весь архив Жюля Дютеля! Всю его коллекцию! Мы теперь свободны, брат!

И тут Афанасий увидел то, что заставило его забыть обо всем на свете — по залитому водой городу плыл огромный белый стол, накрытый белой скатертью, а за ним восседали все его престарелые родственники, и он не мог понять, почему они не тонут и чему радуются. Они указывали на отражение в воде и смеялись.

— Димочка, смотри! Смотри! Купола! — восклицала Татьяна Афанасьевна, глядя на отражения огромных белых шаров на крышах домов в Пунто-Фихо. — Это тот самый город!

«Но это же просто чаши для сбора дождевой воды! Они просто отражаются в воде... и ничего более!» — хотел воскликнуть Афанасий, но понял, что его никто не услышит. Все смеялись и махали руками, словно приветствуя кого-то в отраженном городе.

— Дима, это же наша Люня! Она уже там! В отраженном граде! — ахнула младшая из Брулкиных, и все вскочили, закричали: «Люня! Люня!»

Волна росла и приближалась... Афанасий вдруг понял, что сейчас это случится и открыл рот, чтобы закричать. Но не издал ни звука.

Он уже вообще не видел никакой волны, а верхний этаж отеля «Вилла Реаль» стремительно поднимался вверх вместе со всеми его обитателями. Казалось, крыша здания следует за вскинутой вверх ладонью Иннокентия, на которой сверкали странные лиловые жемчужины.

— Нет! Не может быть! Это просто капли воды на солнце! Волна снесла верхнюю часть дома и теперь несет нас куда-то в горы. Мы на самом гребне! Мы все погибнем!..

— Или спасемся... — услышал он голос Иннокентия и, обернувшись, увидел его рядом. Тот по-прежнему протягивал к нему раскрытую ладонь, но на ней уже не было лиловых жемчужин, а только жалкая горстка мусора, который обычно скапливается в кармане. Сверху послышался шум винтов вертолета, и Афанасий забыл обо всем на свете.

— Мы спасемся! Спасемся! — закричал он, протягивая руки к набухшему свинцовыми тучами небу...

Эпилог

Двенадцать лет спустя, разбирая письма и старые рукописи, я нашла пожелтевшую газетную вырезку, которую мне передали в каракасском аэропорту за полчаса до отлета авиалайнера «Каракас-Париж». Странно узнавать о собственном спасении задним числом, по дороге домой.

Но именно так я узнала, как все это выглядело со стороны — уже на следующий день венесуэльские газеты подробно освещали стихийное бедствие на полуострове Парагвана, описывая в горячих репортажах, как давно спящий вулкан Санта-Анна пробудился и изверг из себя потоки лавы. Подводное землетрясение вызвало цунами, двинувшееся на город. И тут случилось невероятное!

В газетах писали о редчайшем явлении, когда торнадо, идущее с противоположной стороны полуострова, погасило цунами — и в одно мгновение наступило полное безветрие, а ослепительно сияющая гладь воды многих ввела в заблуждение призрачными картинками... Впрочем, каждый увидел свое... Но в любом случае о лиловых жемчужинах Кецалькоатля в газетной статье не упоминалось. Тот, кто писал статью, решил сохранить это в тайне.

Что касается меня — никогда не забуду, как радостные старики-эмигранты сидели за праздничным столом, накрытым белой скатертью — каждый день... ровно в 13.00...

...Я закрываю глаза и вижу этот обеденный стол, плывущий по затопленному городу, я вглядываюсь в отражение — кто-то машет мне рукой: там, в глубине сияния.

Где-то совсем близко раздается рокот вертолета...

Я открываю глаза...

На крыше отеля «Вилла Реаль» мечутся три маленькие человеческие фигурки.

— Отец! — надрывно кричит один. — Отец! — протягивает руки к отраженному городу и не может сдвинуться с места.

Двое других едва различимы в сверкающем отражении города — они белеют одинаковыми белыми рубашками и тоже стоят неподвижно.

Я не знаю, кто из них волк... кто человек... кто ангел...

Но я точно знаю, один из них — Иннокентий...

...Он прощается со мной на автобусной станции в Дивеево и говорит, выбирая из случайного мусора, завалявшегося в кармане, потускневшую облезлую жемчужину: «А я тебе тоже кое-что подарю... Но что именно, ты поймешь, только там, на полуострове Парагвана. Назови это "Колибри-блюз". Потому что для нее очень важно это... Для нее...» — повторяет он еще раз и вздыхает, провожая взглядом маленькую разноцветную птичку. Он смотрит ей вслед, он смотрит куда-то очень далеко — мой друг-музыкант, гений импровизации, которая не повторяется никогда. В следующий раз он расскажет эту историю совсем иначе...

Ветер с Гудзона

*Антология современной русской поэзии Америки**

Геннадий Кацов

Родился в 1956 г. в Крыму, в Евпатории. Окончил Николаевский судостроительный институт. В начале 1980-х переехал в Москву. Один из создателей московского клуба «Поэзия» и участник литературной группы «Эпсилон-Салон». Автор пяти книг стихов, в т.ч. литературного проекта «Словосфера» (2013) и сборника стихов «Меж потолком и полом» (2013). С 1989 г. живет в Нью-Йорке.

Возвращая воспоминание

Нарисуешь на гальке Судак или Планер-
ское, бухту подковой и море июня,
Одинокую пару на заднем плане
Безоглядно бредущих, влюблённых, юных,
Так картинно открытой холмистой местно-
сти, похожей на чей-то пейзаж (Каналетто?),
Симметричную вязь, но без центра — вместо
Перспективы и ракурсов всюду лето.

И шипение пены, её белила-
ми прописанных хлопьев, и безусловно,
Словно в комиксах, всё, что тогда говорила,
Только вспомнить бы всё, до последнего слова.
А иначе нельзя: слова невосстановлен-
ного, даже потерянной паузы хватит,
Чтоб распалось, как пазл, наше прошлое, снова
Погрузившись в безмолвье надмирной ваты.

* Журнальный вариант.
Окончание. Начало см.: «ДН» № 6 за 2014 г.

Esse Homo

Человек есть владение смерти,
Территория «что? где? когда?»
С лаконичным ответом в конверте
В виде двух, в чём-то родственных, дат.
Между ними, под знаком дефиса,
В хищно сплюсненном мире часов,
Подчиняясь чьему-то капризу,
Человек пьёт то виски, то сок,
То в грязи, то в князьях, то на троне
В окруженье друзей и врагов,

То закажет себе с пипперони
Пищу римских всеядных богов.
И прозрение сразу наступит:
Как ристалище чисел и слов,
Он явился геройским поступком
Безымянных, по сути, основ,
А затем, как рассказчик про Бога,
Алкогоре его, алгоритм, —
В меру сил, осторожно, убого
И бездарно о Нём говорит.
Ибо лучше рассказчика нет.

Alter Ego

Он собрал массу разных вещей и фактов:
Мишку с ухом оборванным, Буратино
Без обеих ног, как пример — как фатум
Для судьбы есть и следствие, и причина.

Из того же времени тусклый мячик,
Размалёванных им же с десятков книжек —
Всё, что позже уже ничего не значит,
Как и всё то, что значиться будет ниже:

Новогоднего шара забытый сполох,
«Филиппок» из учебника, парта, клякса
Из чернильницы, туго набитый порох
В револьверный патрон, фотография класса.

Поцелуй в коридоре, а дальше поле,
Дальше длинное поле с густой травой,
Где не ветер, не волк, а бедой поболее
Что-то невыносимо протяжно вое.

Что-то переставляет года и даты,
Что-то движет, как в шторм катера и яхты,
И стоит капитан, как к рулю придаток,
Выражаясь, для русского уха, ямбом.

Сплошь по небу круги, как на свежем срезе
Одинокого дерева, что всей кроной
Упирается в землю и долго грезит,
Будто будет когда-то ещё зелёным.

И «не-я», как под вечер овечек пастырь,
Соберёт наше прошлое, что так схоже
С возвращением в тюбик засохшей пасты,
Что никто никогда повторить не сможет.

Ирина Машинская

Родилась в 1958 г. в Москве. Окончила геофак и аспирантуру МГУ (1983). Участница литстудии «Сокольники», основатель детской литстудии «Снегирь» (1984-86, Москва). Печатается как поэт с 1984 г. В США с 1991 г. Автор семи книг стихов, в т. ч. «Волк» (М., 2009). Соредактор журнала Cardinal Points — английской версии «Сторон света». Живет в г. Фэйр Лоун (штат Нью-Джерси).

Конёк-Горбунок

Что делилось на два,
то разделится вдруг на три.
От сейчас до утра —
лишь пустая ночь об одном ветре.
Поле-озеро светит в две слезы,
а то во все три,
а ты молчи у печи,
жар-стекло протри, огонь вытри.
Вон по льду-окну к другу берегу
след к следу цепится,
и савраска бежит, лёдкий лёд дрожит,
ей не спится-спится,
Говорит: я к утру слезу вытру,
уйду в несознанку,
ты сама вези меня,
звонкая, вези, салазка-вязанка.
В петлю из петли прочерки-следы,
из следа в след.
Навернул январь
на стекло треск, черноту-свет.
Через поле-окно, в угол из угла
туго вышло вязанье,
ты вези, не сморгни, смотри,
моё несказанное наказание.
А деревья зимы всё идут к земле,
анонимы.
Они к лету придут,
все в листе на свои придут именины,
и стучатся в пустой,
не узнаем, каким спелым ветром,
а кто ночью не спал, он потом доберёт
целым светом.

Солнце в лесу. На пороге

Вот человек с утра: два ребра — сруб.
Тяжёлую дверь надави,
выдвини в сугроб —
и полоснёт синевою двойною силой.
А косяку не верь,
потолку не верь —
только дуге в снегу высотой в дверь,
радуйся этой дуге весёлой.
Солнце сбивает с ели двойной замок —
медленно падает, ветвь задевая, в снег,
— как расцепились, вдруг разошлись объятья,
звенья распались, и распелась пенька,
вымахал рослый ствол из трухи пенька,
и, рассыпаясь,
искры, меньшие братья,
стали собою.
Нет, не у входа — а
выхода встанет свобода и скажет «да».
Солнце тебя нашло и в кривом овраге.
Леса длинна пола,
и широк запах.
Вечности сколько набилось — как снег в сапог!
Ты уже вышел навстречу своей отваге.

* * *

Пустыня меж домов
воскресных, однооких.
Закат воскресный злой
в пыли небес далёких.
Воскресший голос мой.

Ничейная земля, горячая, сырая.
Толчёное стекло, внезапно догорая
меж городом одним
и городом другим,
поглотит тёплый дым.

Филипп Николаев

Родился в 1966 г. в Москве. Пишет на двух языках. Окончил Гарвардский университет (2001). Основатель и редактор журнала Fulcrum. Публикации в ведущих американских журналах поэзии, включая Poetry. Живет в Бостоне.

* * *

На перепутье тех времён, когда ещё был мал,
умом особо не умён, хоть после догонял,
застряло много глупых чувств и ноют до сих пор,
пусть их не показать врачу, не выманить из нор.

О чём таком они поют, конкретно не назвать,
в какой компании-кают каюк и чья там мать,
но в них сочельником горит сошедшее на слом,
и твой ковровый броневик, и девушка с веслом.

Мелькнуло белым мотыльком Чертаново одно
и над филёвским камельком открытое окно,
и жар костра ещё трещит, и речь ещё рычит,
и боль остра, и гвоздь кричит, и гроздь горчит.

Всю безутешность тех утех не воспроизвести,
улова слов, безвестных слов, не воспроизнести,
но остается головой мотнуть и им с пути
послать воздушный поцелуй из ностальгии, и

пусть выйдут ветер с ветерком проветриться с дождём,
не сокрушаясь ни о ком, рыдая обо всём,
что можно было написать в пустом беловике.
Жаль, сердцу нечего сказать моей руке.

* * *

Навязчива грёза, что мне повезло,
и силой неведомой какой
на радость добру и чёрту назло
билет окупается мой.

Пусть в правом кармане таможенный штраф
и в левом не меньше беда,
я нагло словлю незаслуженный кайф,
и сердце отгадывает тогда.

На площади белой до мозга костей
мне сбудется вновь побывать

и утром в случайной постели своей
гудкам на шоссе подвывать.

Присяду в фойе, со швейцаром на вы,
засиженным креслом треща,
и в толстый бокал охлаждённой любви
впущу золотого ерша.

Тут стоит пройтись, покурить под дождём,
разведать про местный театр
и всем устаревшим своим пиджаком
впечататься в солнечный кадр.

Хельга Ольшванг

Родилась в 1969 г. в Москве. Окончила ВГИК. Автор трех сборников стихов. С 1996 г. живет в Нью-Йорке.

* * *

Вот что:
бывшие вещи мои
закатились пропали по швам
раскололись на свет и шумы по рукам
разошлись по шкафам истлевают в дали
залегают в песке непорочные платья мои
у чужих заседают непрочные книги мои
развеваются в реках подобные травам чулки
переплавлены в рельсы коньки транспортиры вязального детства крючки
и какая по счёту петля хоть убей
Не припомню молекул самих по себе
состоящих теперь
из каракуль кометы мелком
по стеклу неподвижного зрения в мире другом

* * *

Стол, стулья вокруг разной масти стоят, наклонясь,
как животные в засуху — к бледнополосой
луже солнца и пусто в кафе, несмотря на обеденный час
и настенную роспись: в траве
повторяется роза в траве повторяется роза.

Лето в самом начале, но всё тоскует о нём уже.
Diner, где твои diners? Только в таких местах —
нелепых — на первом-втором этаже и меню о семи листах,
нахожу себе место свиданья.

Отраженье в столе и узор наверху —
Налицо, а внутри, если верить Декарту, конечно,
потайный закон залегает, как роза, в мозгу,
и о городе память крошечном,
В эту пору всегда на Бульварном кольце
Пахло краской и, помнится, выпечкой мятной,
В дождь, особенно. Курят на заднем крыльце.
Дверь прикрыта, но всё залетает обратно.

Давид Паташинский

Родился в 1960 г. в Москве. Жил в Новосибирске, окончил Новосибирский электротехнический институт. Автор трех книг стихов, в т.ч. «Рассвет перед сном» (М., 2008). С 1991 г. в Израиле, с 1997 г. в США. Живет в г. Манси (штат Индиана).

* * *

Серое ты моё, нерусское поле,
светит туман, и в окошко летят цветы,
и прорастают в твоём голубом подоле
золотые гудзоновые мосты.

Знал бы я прикуп, жил бы тогда не шибко,
сочные собирая столбы,
верстовые, они отмечают ошибки
состарившейся судьбы.

Ещё вчера улыбаясь голосу менестреля,
песо бросая ему в лицо,
мокрого места от нас не оставит время,
сохранив только бронзу и колесо.

Серое моё окружающее пространство,
кто руки тебе за спину закрутил,
как садовник все залепляет зелёной краской,
не зная других картин.

Как мы режем себя на живое и неживое,
и солнце в глаза нам и не посмотрит уже,
как борона, наевшись пустой травой,
находит кролика на меже.

* * *

Гудело горькое в груди, а он всё шёл себе, пахал,
а ты ещё к нам приходи, великовозрастный пахан,
а ты заточку не томи, а ты дырявого не строй,
а если, Боже сохрани, так это плаванье не кроль,

и эта кровь не для мужчин и их событий без конца,
пшеница знает свой почин, и пот с корявого лица
на землю тёплую пролив, он шёл и песню угадал,
а где-то Берингов пролив, и смерти ласковый миндаль,

а где-то сказано в ружьё, и барабанит дождь в бадью,
и тихо плачет мужичьё, прильнув к забвенному бабью,
и раздаётся на версту, и горло Родина свела,
и ты всё помнишь бересту, что завивалась от ствола.

* * *

Всё, что сказал, станет теперь ложь,
слова сделали ноги и по кустам,
а в России сейчас идёт дождь
или солнце жаркое там,
а в России сейчас выпал снег,
по снегу прошёл человек,
у него чёрные злые зрачки,
и любви нет почти.

Всё, что подумал, сейчас станет мрак,
сейчас стонет, что я сейчас скажу,
а в России детский не слышен крик
или он слышен уже?
Нет, не слышен, слишком он далеко,
и не знаю, зачем написал о том,
а в России холодное молоко
согреваешь горячим ртом.

Каждый раз, когда настаёт ночь, я иду в печь,
ты не плачь, я караваем туда иду,
а ты идёшь от меня прочь, с другим лечь,
дёргаться, как рыба на льду.
А на дороге от обезумевших голубей,
но ты их не пугай, не бей.
А в России небо выше и голубей,
выше и голубей.

Наталья Резник

*Родилась в 1972 г. в Ленинграде, окончила Ленинградский политехнический институт.
С 1994 г. — в США. Автор двух книг стихов. Живет и работает в Колорадо.*

* * *

Приезжай на Московский, я всё ещё там,
Я только что вернулась из Туапсе.
Один кавказец ходит за мной по пятам,
Пойдём, говорит, угощу кофе-гляссе.
Но я не иду: мне всего двадцать лет,
И я вообще боюсь незнакомых людей.
А ты опаздываешь. Опаздываешь на двадцать лет,
Ты двадцать лет шляешься неизвестно где.
Приходи, иначе не будет здесь больше моей ноги,
Мне страшно представить, что я без тебя ушла,
Что я ушла давно и совсем с другим,
И даже не помню точно, кого ждала.

* * *

Когда уже сметёт с лица земли
И нас с тобой и внуков наших внуков,
Забыв тысячелетнюю науку,
Сюда придут иные корабли.

Иные пилигримы принесут
Свои законы, истину спасая,
Неверных псов камнями забросают,
Как постановит их недолгий суд.

Оставшихся оденут, остригут,
А жёнам чёрным занавесят лица.
Детей научат истово молиться,
И книги наши радостно сожгут.

Ещё тысячелетье проживут
И станут нас во много раз мудрее,
И народятся новые евреи,
И покрывала женщины сорвут.

И к тем благословенным временам,
Возникнет поколение другое,
В котором будут новые изгои.
Но им не будет страшно так, как нам.

* * *

Пьяный бомж храпит на остановке
(Гол татуированный живот).
Леди на его татуировке
Будто жизнью собственной живёт.

То она взметнётся горделиво,
Грудь подставив солнцу и ветрам,
То она поморщится брезгливо,
Прикрывая пальчиками срам.

Было время, вздохами встречали
Взлёты нарисованных сосков,
Только грудь, высокая вначале,
Растеклась кругами вдоль боков.

Но не плачет чёрными слезами,
Избавленья леди не зовёт.
А покуда жив её хозяин,
Леди дышит. Дышит и живёт.

Разные она видала виды,
Испытала всякого житья.
Вдох и выдох, леди, вдох и выдох.
Так и я, родная, так и я...

* * *

Марине Гарбер

Не Манделыштамы мы, ни ты ни я,
Не сыплет Манделыштамами природа.
Она жалеет в когти бытия
Бросать на муки гения-урода.

Их — единицы. Нас — и тьмы и тьмы.
Мы снова строим на обломках Рима.
Да, повторяем, повторяем мы.
Но повторяем мы неповторимо.

Поверь, пока мы не судимы там
И здесь судом посмертным не судимы,
Не нужен миру новый Манделыштам,
А мы с тобой ему необходимы.

Григорий Стариковский

Родился в 1971 г. в Москве. В США с 1992 г. Окончил Колумбийский университет. Докторская степень по классической филологии. Много переводит с английского, французского, немецкого. Перевел «Пифийские оды» Пиндара (2009). Автор сборника стихов «На углу» (М., 2005). Живет в пригороде Нью-Йорка.

* * *

вот и начни с пристрочья, предстоянья,
отточием декабрьского зиянья,

космическим пробегом ветровым
по ивовым по струнам даровым.

не остывай змеиной прелью вровень
с лицом земли, не доглядевшей в корень.

когда окликнет выпь или не выпь,
раствор сутулых сумерек пригубь,

скажи водице волчьего пруда:
я, кажется, не сдох ещё, вода.

* * *

побрызгаем от муравьёв на кухне,
проветрим воздух, чтобы вышел запах,
рассмотрим их, вот угольные крохи
на скатерти потухли.

здесь хорошо, и место теневое,
хотя не влажно, и довольно света.
взгляни, вот чёрные слезинки индевеют
и убывают незаметно.

засмотримся на их успокоенье,
отсутствие крупитчатого бега;
ещё немного, и сольются с тенью
на скатерти, и скатертью дорога.

мы выбьем скатерть, зрение насытив
картиной нанесённого урона,
сметём в совок и вынесем из дома
за дерево, цветущее напротив.

* * *

не выбросишь из головы
вещественные доказательства
предощущения листвы
и первые её свидетельства.

казалось бы, ты с темнотой
соединился горькой схожестью,

но в воздух выгляни густой,
там льётся зелень принадлежности.

как длинный перечень родства,
полопавшихся почек зарево,
и восхищеньем вещества —
в жизнь обрываемое дерево.

Александр Стесин

Родился в 1978 г. в Москве. С 1990 г. в США. Окончил литературный факультет университета в Буффало, медицинский институт и аспирантуру Корнелльского университета. Кандидат медицинских наук. Работает врачом-онкологом. Автор 3-х книг стихов и повести «Вернись и возьми» (НЛО, 2013). Лауреат Русской премии (2013). Живет в Нью-Йорке.

* * *

Как согласный отзвук и гласный звук
из одной фонетики, как из двух
населённых пунктов — в задаче для
младших классов — мчатся два жигуля,
потекут друг к другу когда-нибудь
моя жизнь и смерть моя, двинут в путь,
чтоб внезапно встретиться в точке Икс,
где шумит на Эльбу похожий Стикс.

После всех пробегов на сотни миль
и таких пробелов, что свет не мил,
понимают, сблизившись, полюса:
есть одна лишь встречная полоса.

И прибавит газу одна из двух.
И пройдёт мороз, перехватит дух,
точно в классе, где у доски дрожать,
про s, v и t что-то там решать,
и стоишь, оглядываясь на класс,
но глазам не видно ответных глаз.

И уже задача, как сон, видна,
и уже судачат клаксоны, на
полных v сближаясь — s, t дробя,
и уже не знаешь, что нет тебя.

* * *

Когда придёт черёд попасть
(исчезнуть, говоря честней)
туда, где целым станет часть,
лишившись остальных частей,
всплывут из запасных времён
державный герб и алый стяг,
гитара, сданная в ремонт,
и дядя Коля холостяк.

Он любит дачную «пастель»,
где небо и речная гладь,
и в кресле спит, чтобы постель
с утра не «стлать», не застилать;
заваривает чай и пьёт
из чайничка, башку задрав,
и держит деньги в пачке от
«Дуката»: пригляди, минздрав.

Дрейфуют в небе облака,
личинка плавает в вине:
наклонишь в сторону глотка —
она окажется на дне.

Примеришь вещи и слова
к их забыванию, когда
туда, где жили одна,
вернётся времени вода —
как в гости, где неясно кто
хозяин... И запомнит гость
небес постельное плато
и наберёт водицы в горсть.

А где-то крутится винил,
и вечный Коля, краснолиц,
прощальный тащит сувенир
для тех приезжих «со столиц»,
для тех двоих (рука в руке:
стоят они — отец и мать),
ссужавших медяки реке —
на дно: ни наклонить, ни взять.

* * *

Она говорит: «Тяжело, а ему тяжелей»,
говоря о муже. Они — в ожиданье врача
в онкологической клинике. «Пожалей
нас», — причитает. И медсестра, ворча,
приносит ему подушку, питьё, журнал.
Он — восьмидесятитрёхлетний. Рак
почек. Худой, как жердь, но худей — жена.
Он и она — из выживших: тьма, барак
в Треблинке или Дахау.

С недоверьем глядят
на студента-медика, думают: свой-не свой?
Да, говорю, еврей. И тогда галдят,
жалуясь на врача с медсестрой. Весной
будет ровно шестьдесят лет со дня
их женитьбы. Кивает на мужа: «Тогда он был
вроде тебя... — и оглядывает меня, —
...но постройней». Верный муж охраняет тыл.

Она говорит: «Мы постились на Йом Киппур
даже *там*... Берегли паёк... А в этом году
в первый раз в жизни не выдержали. Чересчур...»
Говорит: «Когда он уйдет, я тоже уйду».

Он — вечно мёрзнувший; помнящий назубок:
«Образ Господа виден смертному со спины, —
засыпает, подушку подкладывая под бок, —
Next year in Jerusalem. Все будем спасены».

Елена Сунцова

Родилась в 1976 г. в Нижнем Тагиле. Публикуется с 1994 года. В 1995—2002 гг. жила в Санкт-Петербурге, в 2002—2008 гг. — в Екатеринбурге. Автор 7 книг стихов т.ч. «Манхэттенские романсы» (2013). Основатель и главный редактор издательства «Айлурос» (Нью-Йорк). Живет в Нью-Йорке.

* * *

Жить с несчастьем:
С больным ребёнком,
Здоровым мужем,
Трёхлапой кошкой,
Двумя полнокомплектными лабрадорами,
Быть красивой девочкой с красивым мозгом,
Как сказали о дочери её подруги на УЗИ,
Райской пташкой с умом Наполеона,
Как сказал основатель «парижской ноты» о женщине,
Которую он всю жизнь называл «мадам»,
Быть кассиршей в универсаме,
Расточницей пятого разряда на котельно-радиаторном заводе,
Как её соседка по парте в третьем классе,
Жить в родном городе,
Жить у моря, в столице мира,
Видеть море,
Не видеть мира.
Вам нравится Нью-Йорк?
Да, очень,
Вы знаете, я ведь выросла в индустриальном городе,
Нью-Йорк — это тот же огромный цех:
Воет, гудит, подбрасывает с кровати,
Опутывает проволокой хайвеев,
Заставляет бродить по комнатам,
Трепещет, как лайнеры в очереди на взлёт.
Вы всё ещё пишете?
Да, пишу,
Особенно здесь и сейчас,
У окна,
В котором один за другим взлетают и приземляются самолёты,
Над рекой,
Воду которой ветер гонит сразу во все стороны,
Пока у меня ещё есть эта река, это небо,
Этот мотор несчастья.

* * *

Слово сильнее пули,
Потому что пулей можно убить лишь раз,
А слово в союзе с памятью
Делает смерть непрерывной,
Живой, как жизнь.
В этом победа слова над человеком.
Голос, звучащий вполуха.
Кошка, бесшумно лёгшая
На одеяло тьмы.

Алексей Цветков

Родился в 1947 г. в г. Станислав (ныне Ивано-Франковск). Учился на химфаке Одесского университета, на журфаке и историческом факультете МГУ. Участник поэтической группы «Московское время». Эмигрировал (1975) в США. Один из редакторов газеты «Русская жизнь» в Сан-Франциско (1976-1977). Доктор философии (1983). Преподавал в Диккенсовском колледже (штат Пенсильвания), работал на радио «Свобода» в Мюнхене и Праге. Лауреат премии А. Белого (2007) и Русской премии (2012). Живет в Нью-Йорке.

* * *

толпа не знала времени отъезда
окрестными теснима небесами
откуда башня падала отвесно
с мерцающими как ручей часами

толпа листвой шумела и дышала
она жила бегом как от пожара
но нашему прощанию не мешала
пока ждала и время провожала

благословенны юности руины
в районном центре солнечного круга
на станции где мы тогда любили
без памяти и всё ещё друг друга

там пел в толпе один невзрачный видом
с гармошкой и в нестиранной тельняшке
прикинувшись вокзальным инвалидом
эскизом человека на бумажке

пускай тогда он не глядел на нас но
отсюда видно чьих коснулся судеб
поскольку пел о том что всё напрасно
что всё пройдёт и ничего не будет

но мы ему не верили конечно
а солнце дни усталые верстало
чтоб доказать как утверждал калека
что всё прошло и ничего не стало

так всё сбылось и ничего не страшно
остался свет но он горит не грея
и там на площади осталась башня
с дырой откуда вытекло всё время

* * *

два зеркала она дала ему
одно взаправду и ещё ночное
где отраженье спрятано в дыру
невидимое зеркало ручное

две лопасти а вместе вся стена
с той стороны заключена причина
она сама пока была всегда
как в зеркале простом неразличима

смотри стекло просверлено насквозь
нить времени проложена подкожно
там предстоит всё что давно сбылось
а то что было раньше невозможно

она ему два зеркала дала
в одном лицо для памяти хранится
жизнь без неё короткая длина
где днём ночное зеркало граница

не вспоминай зачем она вообще
саднит стекло но если глянуть слева
взорвётся ночь и в треснувшем зрачке
сощёлкнутся две половинки света

пепел беслана

вдоль стены стены высокой в сумерках совы
ходит пётр дозором проверяет засовы

ходит пётр с ангелами летучим отрядом
на бедре ключ золотой борода окладом

тверда райская стена только стража твёрже
бережёт сон праведников и явь их тоже
оглядел пётр божий мир закатную тучку
видит дитя перед ним протянуло ручку

видно ищет мать-отца да найдёт не скоро
троекратно обошло вокруг стены-забора
только с севера с юга ли всё никого там
и подошло в третий раз к жемчужным воротам

не горюй дитя говорит пётр не печалься
пойдём глядеть мать-отца кто б ни повстречался
спросим хоть ночь лети напролёт хоть вторая
берёт дитя на руки и ходу от рая

вот идёт пётр по миру в калитки стучится
ищет мать-отца дитяти где свет случится
четвёртый год ходит слёз в бороде не прячет
на плече у петра мёртвое дитя плачет

и где упадёт слеза что младенца что старца
порастёт земля цветом из чистого кварца
светло насквозь горит пламенем камень луг ли
а сорвёшь только пепел в ладони да угли

все голоса в сумерках то ли совы кычут
то ли дети кричат во сне мать-отца кличут
вой ветер-ураган райская стена гнётся

КНИГА

он поднял книгу бьющую огнём
где ни откроет вся она о нём
ну в точности как было вот холера
вот только дымно и зола во рту
он из костра достал её в саду
она там вместе с листьями горела

сперва игрушки все наперечёт
соседка с нижнего у вас течёт
уроки детства о вреде и пользе
совсем забыл про этот выпускной
да правда было в обнинске с одной
и вся неправда что случилась после

она в огне ему невмоготу
ещё немного думает прочту
зрачки как студень из орбит сочатся
пусть сиплый кашель как сверло в груди
не каждый день случается поди
с такой печальной книгой повстречаться

вот занялись последних два листа
теперь обложка чёрная пуста
где только что бежала жизнь живая
он ей велеть не может повтори
и так стоит ещё минуты три
обугленных фаланг не разжимая

и стало жалко тратить пот и труд
и стало слышно в тихом плеске леты
как маленькие детские скелеты
в песочнице совочками скребут

Владимир Эфроимсон

Родился в 1950 г. в Москве. По образованию математик. Работал океанологом, программистом. В 1992 г. в Москве вышел сборник стихов «Разговор перед сном». С 1993 г. живет в США.

Второй опыт философской лирики

В плоской философичности многочисленных как бы сакральных текстов,
в кажущейся глубине пространных рассуждений почти на тему
как правило отсутствуют конкретные обстоятельства времени и места,
зато есть пафос и страсть, придающие им доказательный лязг теоремы...

Шёл по дороге, красиво подсвеченный сзади солнцем закатным,
в духоте, в липком поту, отмахиваясь от злой комариной банды,
и от крамольной назойливой мысли о «может быть, повернуть обратно»,
на что так старательно намекали эти кровососущие музыканты.

Шёл уже долго, в пыльную податливую дорогу вдавливая подошвы,
загипнотизированный размеренным шагом, комариным зудом,
душным вечерним зноем,
про себя твердя этим, прилипчивым как ресторанные мариачи: «Что ж вы,
сволочи, привязались, никак не оставите меня в покое?!»

А встречным путникам или просто бездельникам на обочине,
тёмная фигура, мерно бредущая на фоне фиолетового заката,
казалась глубоко символичной, значимой, навороченной,
и что-то смутно напоминала, то ли виденное, то ли слышанное когда-то.

И всё в том символе для них было важным и поддавалось трактовке —
и закат, и духота с комарами, и пот, и странный цвет неба —
и можно было забыть об этой обрыдлой автобусной остановке
и уйти вслед за странником куда-то туда, где никогда ещё не был.

В пошлой многозначительности расхожих метафор должно быть есть что-то —
видишь штампованную дешёвку, а всё же бессилён — мурашки на теле,
в зеркало глянешь невольно, а там задумчивый взгляд идиота...
И вот такая чушь несусветная — а заберёт на неделю...

Страна Испания

Странны встречи самолётные,
призраки из давних дней —
жизнь, ушедшая под лёд, но я
не могу проститься с ней.
За окном страна Испания,
вечер тёплый за окном...
Беспощадность узнавания
всё поставила вверх дном.

За окном страна Испания,
типовой курортный вид,
и кощунственны названия —
Кадис, Кордова, Мадрид —
всё интриги, приключения,
книжки, оперы, балет... —
и, похоже, здесь вообще не я,
да и «здесь», в общем, нет...

За окном страна Испания...
Глобус, съёжившийся вдруг, —
перешли в воспоминания
грёзы взбалмошных подруг.
Перелёты, полушария,
караван-отель-сарай.
За окном — страна...
Болгария?
Филиппины? Уругвай?

* * *

Объектив деформирует зрение —
видишь только пейзаж да портрет,
не дописано стихотворение —
и в ненайденных рифмах весь свет.

Хром и киноварь видит художник,
в мизансценах живёт режиссёр...
За окном невсамделишный дождик,
стук хлопушки и... как там... «Мотор!»

Александр Бушковский

Как сплести канатик

Рассказ

Бог терпит меня на белом свете по неизвестным причинам. Многие ближние, и моложе, и сильнее, и умнее, уже умерли. Я не верю сам себе, не могу понять бога, и просто плету свой канатик из рвущихся ниток религий и вер.

* * *

А дело было так. Вчера, в канун Нового года, день рождения моего младшего брата. И мы с Ванькой решили съездить на кладбище, зайти к нему на могилу. Помянуть, прикурить сигарету. Да и всех дедов-бабок с Новым годом поздравить. Пирогов покрошить, пшена рассыпать для птиц. Поговорить с портретами на камнях. Короче, сходить на кладбище, как на капище.

Мы с Ванькой тоже братья. Наши бабки были дальними родственницами, и мы, когда уже выросли, однажды решили, что будем братьями. Ну и стали. Туго было поодиночке. Большие потери несли. Ведь что в жизни самое важное? Мудрые женщины считают, что семья. Так оно и есть. Ячейка общества. С нее все начинается, на ней держится. Ради нее все делается. Родители, дети, жены. Осознанная необходимость...

С вечера мы созвонились и все обсудили. Весь завтрашний день распланировали, гладко так у нас получилось! Сначала в деревне одно дельце, потом на кладбище. Потом к маме моей заскочим на чай, и обратно в город, по домам, к семьям. Конечно, обойдемся без водки, взрослые же люди! И так все сделаем, без допинга. По голосу слышу, как он втихаря радуется. Чему? Думаю, поводу бросить дела хоть на денек и повидаться. Гонки свои повседневные заменить мечтами и воспоминаниями. С мамой моей поговорить, его-то мама умерла. И старший брат тоже.

Утром я выезжаю затемно. Еду к нему. Он встречает меня во дворе налегке, с одним только бумажным рулоном в руке, запрыгивает в машину, и мы разворачиваемся.

— Курим? — спрашивает.

Я вздыхаю и отвечаю:

— Давай!

Александр Бушковский родился в 1970 г. в селе Спасская Губа, Карелия. После армии, в 1993—2005 гг. служил в СОБРе. Пять командировок в Чечню. Награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Окончил С.-Петербургский юридический институт МВД РФ. Писать начал в 2007 г. Публиковался в журналах «Север», «Дон», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Дружба народов» (№ 10, 2013). Автор книги «Страшные русские» (2010). Живет в Петрозаводске.

Я все время бросаю курить. У меня никогда нет курева. Беру у него. Курим на ходу. Молчим пока. Думаем об одном. О том, что вместе мы сильнее, чем по отдельности. От этого острее становится ощущение жизни. Растет чувство тайного счастья, всегда живущее внутри. Некоторые огорчения только оттеняют его. Страх, стыд, болячки, накопленные за много лет, все, что обычно раздражает, сейчас вылетает в утреннюю тьму вместе с дымом. Чтобы снова явиться с вечерней темнотой и усталостью, но это будет ночью. Утренняя темнота наполнена надеждой, она отличается от вечерней, как чердак от подпола. Она ярче и больше. Темное утро станет днем, а темный вечер и так уже ночь.

Останавливаю у ларька, покупаю воду и пачку сигарет, чтобы не стрелять у него. Пакетик конфет, положить на могилы. Идет дождь с редкими крупинками снега, я резко жму на газ и стартую с пробуксовкой. Дорога скользкая, ее почти не видно. Я разгоняю все быстрее, чтоб на повороте пустить машину юзом и чуть-чуть схватить адреналина. Выскочить на пик эйфории. Ванька молчит, он спокоен, как индеец. Этими дешевыми трюками его не проймешь. Я сдерживаю дурь и сбрасываю газ:

— Как хочешь жить лет через двадцать, братан?

— ...Спокойно.

— Как это?

— Ты и сам знаешь. Не искать денег, кайфа тоже не искать. Меньше зависеть.

— Самому решать?

— Насколько возможно.

— Не думать о том, что о тебе скажут...

— Нет. Мне это и теперь не важно.

— Просто стареть?

— Не просто. Смотреть, что вокруг творится...

— Вот именно творится, а не происходит! Это ж божий промысел, чувак. И самому что-нибудь творить...

— Да мы в основном только вытворяем, как ты, например, сейчас. Если все будут творить, что получится?

— Не знаю. Молитву бы творить научиться, и хватит с нас.

— Я ни одной не могу запомнить.

— Да че там запоминать, два слова всего. Господи, помилуй.

Ванька вяло отмахнулся:

— Брось ты, братан... Разве так молятся?

Едем молча. Теперь думаем о своем. Мы с женой вчера убрались в квартире, она вытирала пыль, а я ей и говорю: «Протри, пожалуйста, на полке с исусиками». Она иронично так улыбнулась, мол, наставил икон, а сам богохульничаешь. А я слишком серьезно верить не могу. Простоты, что ли, не хватает. Все стараюсь головой, а может, сердцем надо? Только где оно, это сердце, одна межреберная невралгия от кирпичей на работе. Может, надо сразу всем? И головой, и сердцем, и животом заодно, чтоб страх божий был? Стерпеть надо...

Был у меня такой случай. Строил я печь на Соловках. Не в самом монастыре, а в поселке, за стенами. У одного монастырского работника. Нужна была мне глина. Рано утром собрал я пустые ведра из-под раствора, составил их друг в друга в один тубус, взвалил на плечо и пошел к Никольским воротам. Потому как глина хорошая здесь только у монахов. А еще потому, что у меня тут друг послушником, Андрей, он-то и договорился насчет глины. Иду я по

камушкам дороги, на море поглядываю. Что-то там себе мыслю. Служба утренняя только что закончилась, колокола отзвонили. Он, звон, еще в воздухе плывет. Народу на дороге никого. Не помню даже, о чем я в голове гонял тогда. Может, о том, что друг мой скоро пострижется. Или, может, вспоминал, как в прошлый мой приезд привел нас отец Дамиан к Филипповой пустыни. Показал поклонный крест, остатки часовенки, где археологи раскопки ведут, и вдруг спокойно так говорит, глядя мне прямо в глаза: «Вот здесь нашему святителю Филиппу явился Иисус». Я оторопел. Что и сказать-то, не знаю. Сколько мыслей пронеслось в голове, не сосчитать. Помню только, удивился я такой вере, потом испугался, что подшучивает надо мной отче. Ждет, как я отреагирую. А Андрей в это время обошел яму с раскопками, прыгнул вниз, на древний фундамент, поднатужился и оторвал от кладки большущий монастырский кирпич. «Смотри, — говорит, — братан, из чего люди раньше строили! Не то, что мы теперь». Отвлекся от меня отец Дамиан и говорит ему: «Это ты, Андрюха, опрометчиво поступил». Тот смутился немного и обратно в кладку камень воткнул... Так вот, иду я по брусчатке, кубатурю в голове обо всем об этом, а мне навстречу выезжает из-за монастыря «скорая помощь». Старенькая такая буханочка. Вижу — один только водитель в машине. Я быстренько на другую сторону дороги перешел, чтоб он меня колесами из лужи не обрызгал, а тот из окошка чуть ли не по пояс высунулся и давай меня на весь остров материть: «Ты че, бледина, через дорогу с пустыми ведрами!!! е...!!! Мое...!!! Чтоб тебе!!... Чтоб у тебя!!...» Я опешил на секунду, а он дальше погромыхал на своем тазу с гайками. Стою я и мечтаю, догнать, что ли, гада, вытащить из кабины через окно и повозить мордой по булыжникам? Эх, был бы сейчас у меня на плече другой тубус, не эти ведра ржавые, а РПГ-7, или еще лучше «Шмель»... Потом выдохнул из себя воздух, думаю, хрен с ним, все же святое место, утрись, пойду дальше. Прихожу в печной склад, Андрюха меня уже встречает и спрашивает: «Что ты такой смурной?» Я ему всю эту историю рассказываю, он послушал, подумал чуток, и говорит: «Надо было его догнать и приложить пару раз челом об мостовую. Ладно, махни рукой, тут таких бесов полный остров».

— Че молчишь? — спрашивает Ванька.

— Да так, вспомнил... — отвечаю.

— Надо по дороге на хутор заскочить, — продолжает он.

— Че ты там забыл?

— Церковь старую хочу сфоткать.

— Нафига?

— Так. Может, найдем добрых спонсоров, дадут денег, мы ее отремонтируем.

— ...?

— Потом Андрюху из монастыря сюда привезем, будет тут приходом рулить.

— Оно ему надо, ты спрашивал?

Ванька усмехнулся:

— Спрашивал. Он говорит, соблазн это. Смерти моей, говорит, хотите? Или анафемы? Я же тут с вами сопьюсь. Мне с острова нельзя. Ты же знаешь, он как отчебучит... Заунывным своим голосом, а я ржу, не могу!..

Я представил Андрейку в подряснике, с бородой и пьяного и посмеялся вместе с Ванькой.

Рассвело. Все равно мчимся, сильно превышая. Вот отворотка на хутор. Дорога ледяная, скребем шипами в гору. Вот церковь, вернее, то, что от нее

осталось. Толстые стены, а купола нет. Ни окон, ни дверей, но стены чистые. Не так уж все и плохо. Я ожидал худшего.

— Не был тут лет тридцать, — говорю.

— А я иногда заезжаю, — отвечает Ванька, — тут кто-то бывает, иконки стоят. Свечечки.

Мы зашли внутрь и все же перекрестились. Так, на всякий случай. Огляделись. И правда, стоят маленькие Николай с Марией. Потолок почти без дырок. А печь в углу — просто загляденье. Красавица, хоть и подразвалилась. Сразу видно, можно восстановить. Ванька давай все снимать на телефон, а я голову в топку, и пытаюсь понять, как он, дым, там шел. Пригляделся, вроде понял. Вот раньше люди строили!

— Начало девятнадцатого века, — говорит Ванька, — я в Интернете нашел.

— Слушай, братан, печку можно сделать! Всю церковь нагреет, — говорю я, а он хитро так улыбается:

— Что, руки зачесались? Тут сначала надо всех соседей разогнать. Видел, дачные заборы прямо к стенам подбираются. Я каждую весну и осень гляжу — как кроты, подкапываются. Метр за метром. Надо мне знакомых адвокатов напрячь, пусть узнают, сколько земли храму положено. Ничего, узнаю...

Выходим наружу. Ванька фотографирует стены и заборы. Снова курим и едем дальше, в родную деревню.

Вот она. Начинается с поворота на кладбище. Мы и сворачиваем. Снимаем цепочку на оградке.

— Здорово, братан, — говорим камню с портретом. Снег почищен. На блюде крошки от пирожка, вороны склевали. Значит, мама уже была. Ванька прикуривает и кладет сигарету на черную плоскость. Я достаю две конфеты, подкладываю к маминым крошкам. Молчим, сначала всегда так. Вспоминаем с деревянными лицами. Если кому знакома тоска вперемешку с ненавистью, то вот она. Мурашками ползет по спине. Брата нет, его не хватает, мстить духу маловато, ненавижу себя за это. Правды этой боюсь. Оправдываю себя — не надо множить зло. Греха смертного плодить. А сам убивал и за меньшее, лишь бы безнаказанно. Тюрьмы боюсь? Еще бы! Кто ее не боится? Какая там совесть? Где она была, там осталась только жажда причинить врагу боль. И мутная сладость от ее причинения. Страх неудачи. Немножко удивления от сознания собственной подлости.

— Когда я только вышел, — заговорил Ванька, — я сюда часто приезжал. Возьму бутылку и сижу до темноты. Хочется говорить, а молчишь — знаешь, что с ума сходишь. Потом уже перед уходом пьяный скажешь: «Давай, братан, пока».

— Ком в горле, — добавил я, — хочется орать на все кладбище, прямо в темноте. Даже лучше в темноте, сильнее ненавидишь.

— А потом ничего, успокоился. Да и ты тоже. Жить-то как-то надо стоя, не ложиться же и помирать.... Не садиться же снова и звереть...

— Эт точно, — я с силой выдохнул все, что было у меня в легких, — пойдём к дедам с бабками.

Мы вошли в соседнюю оградку и разложили всем конфеты-сигареты.

— Дед твой на цыгана похож, а глаза синие, — сказал Ванька, разглядывая фото на эмали.

— Я однажды видел, как он с мужиками дрался на берегу. Веслом против колов. Пришел домой — кожа под кудрями рассечена, кровь течет, бабуля причитает, а он, как говорится, глубоко удовлетворен. Мне лет десять было, хорошо помню. Вообще никаких эмоций, только глаза довольные, страшные.

Еще раз видел, как он свинью резал. Пошел в хлев, нож за голенище сунул. Я в окошечко гляжу — он ее за ухом почесал, за переднюю ногу подтащил к себе и дык! Я и не понял, когда он нож достал, а она уже лежит. Два раза ногами дернула, и все. Смотрю, он ее за эти ноги задние из хлева на снег тащит. А свинья была — полторы бочки одного только сала накопили-насолили! Тридцать метров кровяной колбасы из кишок намотали...

Ванька усмехнулся:

— Тебе бы сказки писать детям, страшные.

— А я что делаю? — я смеялся. Мне стало легко. Мы пошли к машине, прощаясь и глядя камни ладонями.

С кладбища въехали в деревню. Остановились у магазина. Магазин в деревне — центр жизни. В повседневной жизни бытие определяет сознание. Церковь стоит дальше, в лесу за магазином, к ней ведет узкая тропинка.

Мы взбежали на магазинное крыльцо, и Ванька развернул свой рулон. Оказалось — объявления. Яркие, в цвете, довольно неплохо сделанные. Нарисованы Дед Мороз со Снегуркой. Текст такой: «Дорогие дети и их родители! Дед Мороз и Снегурочка приглашают вас на Новогодний салют, который состоится завтра на центральном перекрестке».

— Что за салют? — спрашиваю я.

— Купил я этих китайских фейерверков целый мешок. Разные там, аж по двадцать залпов есть. Высоко летят. Завтра днем привезу, поставлю и взорву. Кстати, с тебя на это общее дело три рубля.

— Не боишься, вдруг что не так? Детей еще не хватало подорвать или обжечь...

— Что, надеешься, будет как у вас в городе Гэ? Не боись, я ограду уже придумал, с одной стороны машину свою поставлю, с другой щиты фанерные.

— Не жалко машину, если что?

— Да что с ней делается? Что не сгорит, то сгниет. Ты от разговора не уходи. Три.

Он показал мне три пальца.

— Ладно, ладно, сейчас отдам. Кошелек в машине.

Мы стали искать глазами место на стене магазина, куда удобнее было бы прикрепить наше объявление. Все удобные поверхности были заклеены чужими. Мы бегло их оценили. Одно, самое большое, черно-белое и официальное призывало жителей сельского поселения соблюдать осторожность на улицах и не пугаться в связи с проведением в непосредственной близости от населенного пункта взрывных работ обществом с ограниченной ответственностью «Гранит». Ванька попытался приклеить свое объявление поверх него, но «гранитное» объявление было мокрым, и тогда он просто сорвал и смял его в ладони. Выбросил в коробку для мусора, стоящую под крыльцом. Потом мы отколупали кнопки от других объявлений, накрепко прикрепили свое и сели в машину. Скрепя сердце я отдал Ваньке деньги.

— Давай-давай! — подзуживал он, — не жалея, не адвокату. Все, поехали теперь к твоей маме.

Едем привычной дорогой. Вот остановка автобуса. С этой остановки много лет назад я уезжал в город, чтобы прийти в военкомат и отправиться служить в армии. На этом месте мы стояли друг напротив друга с одной девушкой, я был слегка пьян, смотрел на нее, улыбался и не мог налюбоваться. Она тоже улыбалась, чуть наклонив голову к плечу, и глаза ее смеялись над моей бритой головой.

— Будешь меня ждать? — спросил я не очень серьезно.

— Не-а, — ответила она в шутку, и я сделал вид, что не огорчился. Потом я проводил ее домой, она держала меня за руку, и на прощание сказала:

— Пока. Пиши...

Я даже не стал напиваться, и рано утром сел в автобус. Через два часа мне было не до девушек. Писать друг другу мы так и не стали, то ли от глупости, то ли от обиды, а когда я снова увидел ее через два года, она шла навстречу мне с коляской, и была еще красивее. Я поболтал с ней немного, полюбопытствовал на ее новорожденных дочерей-двойняшек и пошел дальше в растрепанных чувствах. Ничего, спецназ не тряпка, только эта мысль меня тогда и выручила. Смешно, но это так. Я очень любил ее, но был молод, и вены вскрывать не собирался. Лучше уж в бою, думал я... и не умереть, а победить. И я победил.

— С этой остановки мы с пацанами однажды из дому убежали, — сказал Ванька.

— Что-то не слышал я этой страшной истории, — ответил я, — расскажи-ка.

— Нас было четверо. Всем по одиннадцать лет. У всех было свободное посещение школы. В смысле, родителям наплевать, где мы. Ну, мы особо и не посещали. Раз во время урока мы гуляли возле столовой, ждали, когда завтрак накроют. Тут выходит завуч, Мариванна, помнишь ее? И говорит. Сейчас, говорит, приедет машина из города, из спецшколы, и вы поедете туда учиться. Жить будете в интернате. Родителям вашим уже сообщили, сейчас они вам вещи принесут. Так что далеко не уходите.

Мы переварили, перекубатурили, и ноги в руки. Решили так. Сейчас по домам, потом на автобус, и, куда денег хватит, едем. Потом пешком в город, а там видно будет. В спецшколу не поедem.

— Так спецшкола же в городе!

— Так мы же в другой город, на юг. В столицу нашей малой родины. Я разбил копилку, от отчима прятал, парни каких-то консервов притащили. Хлеб. Сели в автобус, сказали водиле, что к бабушке в соседнюю деревню едем. А тому все равно, лишний рубль не помешает. Довез до деревни, у Мишки же там в натуре прабабушка жила. Лет двести ей примерно было. Мы вылезли, пришли к ней и говорим, мол, нас, бабуля, к вам родители послали. Дрова поколоть, сложить, снег во дворе почистить, воды потаскать. Она и рада. Мы все почестному делаем, она нас кормит и ни о чем не спрашивает. Как будто так и должно быть. Четыре дня у нее жили, со двора не выходили. Потом захотелось гулять, вечером, как стемнело, мы и вышли. Идем по дороге, темнота, зима, фонарей мало. Глядим — женщина навстречу. Здравствуйте, ребята, вы чьи? Мы ей лапшу вешаем, что от класса отстали, ездили в город на экскурсию. Она нас к себе домой зовет, на чай с блинами, мы что-то почуяли, спасибо, говорим, мы не замерзли, доберемся. Она настаивает, мы упираемся. Не думали тогда еще, что нас уже по всему району ищут. Вдруг видим, машина какая-то едет, далеко еще, но в нашу сторону по дороге. Мы как ломанемся в разные стороны, кричим: «Менты!!» Удрали от нее, от тетки этой, а машина левая оказалась. Собрались на скале за магазином. Сидим, курим, думаем, что делать, куда податься. Я говорю, пацаны, мол, нельзя к бабуле возвращаться, они гривами трясут, типа, согласны, но жрать-то охота. У меня банка кильки с собой на всякий случай была, а ножик я дома у бабули оставил. Со скалы снег смахнули, давай банку об камень тереть. Терли-терли, крышку сточили, кильку съели, еще больше жрать охота. Мишка и говорит, пойдем к бабуле, переночуем, погреемся, завтра утром вещички соберем и в город. Хотя я и против был, остальные пошли с Мишкой. Ну, и я

со всеми. Наелись, чаю напились, спать легли. Ночью вдруг стук в дверь, в окна фары, со всех сторон народу — тьма! Милиция, учителя, автобус. Нас из-под дивана достали, даже не ругали, в автобус и домой. Мы в школе целую неделю героями ходили, хоть поначалу и испугались. Старшеклассники специально приходили поглазеть на таких дураков.

— А что бы вы в городе делали, если б добрались? — спрашиваю я.

— Не пропали бы, — Ванька смеется, — будто нечего в столице украсть!

— А жили бы где?

— Мы тогда не очень парились за это, лишь бы, думали, добраться. А там видно будет...

...Во дворе у мамы живет Маруся. Маленькая черная лайка. Очень похожая на породистую. Шерсть блестит, язык краснеет. Я нашел ее три года назад на улице в городе. Было ей месяца полтора. Грязная, как черт, пыльная, и глаза слезятся. Уж больно жалко ее стало, даже захотелось кого-нибудь ударить, так, чтобы с копыт, в нокаут. Взял в машину. Притащил домой. Мыл, мыл, вода текла чернильная. Стояла понуро, только когтями секла по ванне. Не пискнула ни разу, умная. Понимала — надо. Блох давил ногтями. Кормил консервами для щенков. А дома у меня — жена и кошка. Или они, или Маруська... Привез к маме, больше некуда было. Мама все простит и стерпит, взяла ее на воспитание. Я только корм вожу. А все равно Маруська меня любит. С поводка рвется, аж хрипит, чтоб со мной поцеловаться. На спину падает и писается чуток, когда я чешу ее по пузу. Мы заходим во двор.

— Выросла красивая, — опять смеется Ванька, — хорошая была бы шапка.

Я пропускаю его шутку мимо ушей, потому что знаю — Ванька, если при нем обидеть беззащитную тварь, может и нож обидчику воткнуть. Для начала в ляжку. Смотря как его, Ваньку, зацепить. Причем воткнет умело, не зря пять лет скот бил. И ножичек всегда при нем. Обнимаюсь с Маруськой, Ванька проходит в дом, первым здоровается с мамой.

Мама встречает нас в прихожей, обнимает и целует сначала его, потом меня.

— Ну, что, Ванечка, как дела? — спрашивает ласково, — давно не заезжал...

— Все дела, дела... — Ванька улыбается.

— Ладно, говори, чего такой счастливый? — мама улыбается ему в ответ. — Наверное, папой снова станешь?

— Как вы?... — Ванька ошеломлен, — откуда?..

— Светишься весь, — мама, успокаивая, гладит его по руке.

— Ленуся моя на втором месяце...

— Ну, и слава богу.

— Вот, хотел рассказать, спросить совета, как надо...

— Не волнуйся, все будет в порядке. Она у тебя сама знает, как надо. Ты-то как?

— Да ничего, только вот кисть левая побаливает...

Мама открывает кухонный шкаф и достает маленький клубочек красных ниток.

— На вот, держи, — говорит она мягко, — навяжешь на руку. Знаешь ведь, что нужно именно красную?

— Да, слышал. Спасибо!

— Мам, у меня тоже рука болит, только правая, — говорю я.

— Вот и разделите пополам, тут обоим хватит.

Мы пьем чай с мамиными олашками, целуем ее на прощание и выходим во

двор. Я снова чешу по пузу Маруську. Садимся в машину и плавно отъезжаем, чтобы не расстраивать маму. Она почти незаметно крестит нас и что-то шепчет. То ли молитву, то ли заговор, нам не слышно.

— Как она узнала, что у меня Ленуся беременная? — Ванька до сих пор слегка опешивши.

— Откуда я знаю, я с тобой вместе зашел, сказать ей не успел.

— Вот у нее чуйка!

— Да уж. Эт точно...

— Везет же нам... Помнишь, прислала мне в тюрьму записку, когда я желудком маялся? Полгода весь зеленый ходил. Велела читать на воду и потом пить. Три недели, и желудок как новый. Даже баланду снова мог глотать. До сих пор наизусть помню. «Дуй ветра-ветра дуй мимо раба божьего Ивана...»

— Ага.

— Что это, братан, молитва или заговор?

— Какая разница, братан? Помогло, и слава богу. Плацебо, может быть...

— Что это?

— Таблетки из мела, раковым больным давали, говорили — новое изобретение биохимиков.

— Хочешь сказать, я сам себя лечил?

— Нет, скорее всего, это мамины мульки¹, даже не лично ее, а ей от одной бабки достались. Не нашего ума дело. Так что не забивай голову.

— Ладно, сейчас приедем ко мне, сплетем канатик.

— Канатик? — я с удовольствием покатал слово во рту, пробуя на вкус.

— Ну, да. Из маминых ниток. Из самых гнилых ниток, братан, можно сплести такой канатик, что три кирпича от земли оторвешь. Или сало-колбасу можно нарезать. Или белье просушить. Или мусора чутка придушить. Или дорогу протянуть. Незаменимая вещь. А тут нитки хорошие, красная шерсть!

Мы приезжаем в Ванькину контору, заходим в его кабинет и разматываем клубок. Растягиваем нитки из угла в угол, берем за кончики и начинаем скручивать. Не торопясь, хоть уже и вечер, и дома ждут. Мы стоим и однообразно, молча крутим в пальцах нитки и снова думаем об одном. О том, что жизнь хороша. Что живем сами, живем почти как хотим, стоя, не ползая, и не на коленях, что никому не мешаем, и даже кого-то прощаем. Любим детей и женщин. Не любим врагов. Что никому не позволяем мешать нам жить. Что в бога верим мало, но все же с ним считаемся и на него надеемся, как на старшего.

Наконец Ванька доволен канатиком, он поддегивает его в кулачищах и сматывает в клубок.

— Завяжи мне, — говорит он, — потом я тебе.

Как дети, мы завязываем друг другу на руки красные шнурки.

— Все, братан, давай, — я пожимаю его руку, — Александру Ивановичу привет!

Александр Иванович — это его шестилетний сын, мой крестник и тезка. Ванька, усмехаясь, рассказывает мне на прощание:

— Я тут ему говорю, у тебя скоро будет братик или сестричка. Кого ты хочешь? Знаешь, что ответил?

— Что?

— Все равно, кого, говорит. Лишь бы он ростом был с меня — удобнее играть...

¹ Хитрости (жарг.).

Ирина Котова

Всюду время

Наследство

Мне в наследство от детства достались: двойка-лебедь, затёртая в дневнике,
самолёт, разрубивший облако (был игрушечный — и в пике),
пёс дворовый по кличке Шарик с боком, выжженным кислотой,
пестрота бесприютных, жалких, приходящих к нам на постой,
тренер, гнуший насильно спину: губы в зубы, слеза — на мат,
мой отец, приносящий в кухню леса хвойного аромат,
мальчуган на ребре забора (упадёт? он уже упал!),
новый велик — колени в ранах (его, кажется, брат сломал),
потрошенье несчастной жабы — медицинский эксперимент,
эта жаба и жар ангинный — бред, в котором спасенья нет,
счастье гулкое в осознание, что все живы, — и тут же страх:
то ли землю засыпал порох, то ли землю засыпал прах.
Мама Шарика лечит мазью, Шарик мордой припал ко мне.
Губы — в зубы, плевать, что всюду время тикает в тишине.

Заграница

Дедушка говорит Ире: «Зачем тебе заграница?
Оставайся в Воронеже. Мужа себе найди.
Где родился — там и годился. При Союзе был в Ницце.
Смотришь в их лица и понимаешь — не по пути».

Бабушка говорит Ире: «Уезжай. Выйдешь за немца.
Или за англичанина. Только не отдавай сердце.
Немцы — скупы, но англичане — высокомерны.
Впрочем, русские еще хуже — пьют безмерно.
Посмотри на мать: для того ль я ее растила?
Нужно как-то исправить карму —
уезжай, Ира».

Котова Ирина Владимировна — поэт. Родилась в г.Воронеже. Закончила Воронежский государственный мединститут и Литинститут им. А.М. Горького. Доктор медицинских наук. Автор двух сборников стихотворений. Ее стихи в журнале «Дружба народов» печатаются впервые. Живет в Москве.

Ира историю России сдала на «отлично»,
На бале медалистов видела президента, лично.
Ира знает: наша жизнь от лубка к совку и обратно.
От этих мыслей ей тягостно, грустно и неприятно.

Ира уедет и будет по скайпу посылать улыбки —
Солнечных зайчиков, птичек и делать свои ошибки;
На week-end ездить в Альпы — смотреть как пасутся овцы,
Вспоминать Воронеж.

Она никогда не вернётся.

* * *

Господи, разрули, всё, что в жизни этой принять пришлось:
Я не знаю, кого любить, с кем быть в свои сорок лет,
Просыпаюсь ночью, думаю: офицер, поэт...
Женщина — это та же девочка. Зарываюсь в плед.
Господи, что спешит и тужится так земная ось?
Подставляет голову приласкать его чёрный пёс,
Эх, Портос, у твоей хозяйки, знаешь ли, крышеснос.
Принеси ошейник — гулять идём
В одиночество. Нам не нужен дом.

Подводная лодка

А. Волосу

— Ну, куда мы с этой подводной лодки? — говорит мужик, наливает водки.
— Жизнь как земля, — говорит, — разбита на сотки,
за сотками — околотки.

Иди, дружок, паши.

Сдужишь — в шкуре лошади, сладишь — в тельце блохи иль вши.
Как напашешься от души — не скупись: птицам хлеба чёрного накроши.
Да ложись на печь. Нужно крепче спать, чтоб себя сберечь.
Ты свободы бойся — в ней кровь кипит и рябит в глазах от могильных плит.
Обжигает водка, затухает речь.
Если это лодка, — в ней должна быть течь.
Подхожу к окошку — там не конь, а кит —
лыбится, тарашится, на меня глядит.

* * *

Я сегодня смерти набила морду —
на дежурстве, ровно в двенадцать ночи.
Смерть вначале ходила цацей — гордо
и не думала прятать взгляд сорочий.

Но потом она превратилась в тихую санитарку,
что полы помоеет, покормит кашей.
Санитарок жалко — у них запарка.
Но раскрылась хитрость трудяги нашей.

За халат мой белый она цеплялась,
обмануть пыталась: не дышит! верьте!
про судьбу шептала, про грех, про жалость...
Я сегодня морду набила смерти.

* * *

Ты в поезде. Вагон идет ко дну.
При чём тут спасжилет и прочие устройства?
Тебя закрыли намертво, одну.
Колеса крутятся, бессмысленны их свойства.

Ты в поиске. Священник так сказал —
поняв, простив и исповедь закончив.
Потом ты шла, сияя, на вокзал
и верила, что мир ещё устойчив.

Ты под водой. Внутриутробен крик.
Вокруг — окурки, рыбы кверху брюхом.
Но отчего-то виден материк
отчётливей и мозг наполнен слухом.

Ирина Батакова

Масуд

Рассказ

1

Масуд родился с волчьей пастью. Мать сперва заплакала, но когда младенец разлепил веки и взглянул на нее — тотчас забыла про его уродство. Глаза у него были такие синие, что мать говорила мужу «смотри, не обожгись», когда тот наклонялся над ребенком. Думали-гадали, в кого такой цвет — и решили, что в бабушку Зарину, памирскую таджичку. Говорят, в юности она была так хороша, что даже смерть ревновала ее к мужчинам. Зарина трижды выходила замуж — и трижды становилась вдовой. Тогда местный халифа решил перехитрить ревнивую смерть и обвенчал Зарину с тополем. Оставалось дожидаться, когда тополь засохнет — и даст живое место новому жениху-человеку. Но тополь знай себе зеленел. После пятилетнего брака с деревом Зарина спустилась с гор: поехала в Душанбе — учиться. Здесь она встретила русского инженера Андрея Василькова, которого партия распределила из Ленинграда в Таджикистан — проводить плановую индустриализацию и раскрепощать закрепощенных женщин Востока. Он был фронтовиком и материалистом — и не побоялся взять Зарину в жены при живом муже-тополе. Расписались и зажили счастливо. Но недолго: через год Зарина умерла родами.

Так появился на свет Анзур, отец Масуда. Инженер Васильков в одиночку воспитал сына, дав ему фамилию, два родных языка и образование. Душанбинец в первом поколении, кандидат физмат наук, атеист, полукровка — Анзур уже не чувал своих горских корней, но все-таки ими гордился.

Однажды, в Ленинской библиотеке, Анзур случайно сел позади маленькой узбечки, студентки филфака Лейлы — и, сам не зная зачем, принялся считать ее косички... Лейла заплетала сорок косичек каждый день и расплетала каждую ночь — до тех пор, пока не родила Масуда. Был четвертый вторник марта, двадцать шестое число месяца, второй год перестройки, солнце вошло в знак Овна, а новорожденный оказался одарен чудесной способностью: всякий, кто

Ирина Батакова родилась в 1970 г. в Бресте. Окончила Белорусскую государственную академию искусств (1998, кафедра станковой графики). Работала художником-оформителем и книжным иллюстратором. Выпускница Литературного института им. Горького (2010, семинар прозы). Рассказы публиковались в журналах «Неман», «Повести Белкина», «Номо Legends» и др. Дипломант X Международного Волошинского фестиваля за рассказ «Нимфозория». Живет в Минске.

заглядывал в его глаза, переставал замечать его пасть. Поэтому Лейла и назвала сына Масуд, что значит «счастливый». Втайне от мужа она увлекалась астрологией и сверяла события жизни по зодиакальному календарю в газете «Тысяча и одна ночь».

В то же время Анзур никогда не забывал о патологии сына и втайне от Лейлы страдал. Он нашел четырех самых лучших хирургов Душанбе. Один из них был немец, второй — армянин, третий — еврей, четвертый — русский. Первые три осмотрели ребенка и заключили: надо оперировать как можно раньше, иначе речь пострадает. Четвертый — друг семьи — возразил: время терпит, приходите через три года, пусть окрепнет, а за речь не волнуйтесь: не мужское это дело — языком болтать, даже самые здоровые мальчики, знаете ли, до трех лет обычно молчат. «Язык растет из головы, — сказала Лейла, — а с головой у него все в порядке. Ума на три языка хватит». Утром она разговаривала с сыном по-узбекски, днем — по-русски, вечером — по-таджикски.

Но через три года случился февраль 1990-го — задымилась первая кровь грядущей войны, и следы всех четырех хирургов затерялись на пыльных дорогах миграции. Евреи, армяне, русские, немцы (и другие нетитульные строители социализма) бежали из Таджикистана на свои исторические родины и просто кто куда. А еще через два года началась гражданская война.

2

В тот день Масуду исполнилось пять. Он проснулся как обычно — чтобы жить своей углубленной детской жизнью, наблюдать явления и давать имена незнакомым предметам и существам. Он исследовал каждый угол своей ойкумены, но никого, кроме рисовой моли и кочевья тараканов, не обнаружил. Все это было не ново. Телевизор в комнате у родителей привычно бубнил, время от времени повторяя какое-то древнее заклинание: «Президиум Верховного Совета... Президиум Верховного Совета...» Но что-то было не так... Что-то там клочкотало, рыкало и топало помимо телевизора. Внезапно дверь распахнулась, и отец, сам не свой, выскочил в коридор. «Да, и пойду! Пойду! Нам нужна настоящая демократия, а не это фуфлю! Вон, люди из горных кишлаков приехали, полуграмотные, а понимают! А я что? Забыл свои корни? Я — горец! Мать — бадахшанка, часть гордого памирского народа! Я тоже! Не могу сидеть тут, пока мои братья там! Мое место с ними, на баррикадах!» Лейла стояла в дверях подбоченясь. «Вот так новости! — сказала она ехидно. — У тебя мох вырос в ушах, раз ты купился на все эти лозунги?» Анзур затрясся, вздулся, закипел — вот-вот плюнет кипятком: «Молчи, женщина! Что ты понимаешь?!» И стал яростно одеваться. На шум выглянул из кухни инженер Васильков — к тому времени уже 72-летний пенсионер. Лейла бросилась к свекру: «Андрей Петрович! Ну скажите ему!» Но Анзур, путаясь в рукавах, спотыкаясь о шнурки и как будто вырываясь, выбежал из квартиры, ударив дверь.

Это продолжалось два месяца. В мае все кончилось. Анзур ушел на площадь Шохидон и не вернулся. Его убили гвардейцы президента, а может, вооруженные правительством горожане из кулябского клана, а может, российские миротворцы 201-й мотострелковой дивизии. А может, просто уличные голово-

резы. Кто бы мог подумать, что русскоязычный физик-теоретик будет застрелен как исламский фундаменталист и таджикский националист?

Только не старик Васильков. Выражение горестного изумления застыло в его глазах. Он добела поседел и стал прозрачный, как папиросная бумага. Андрей Петрович не мог понять, за какую свободу погиб его сын Анзур, и как так получилось, что сражаясь за демократию, он стал врагом конституционного строя, и почему борьба за национальную независимость карается силами национальной безопасности. А главное — как разделить кровь убитого сына на русскую и таджикскую? Ведь соратники Анзура объявили всех русских врагами и заложниками. «Это что же получается? Что же выходит? — бормотал Андрей Петрович. — Выходит, Анзур проливал свою таджикскую кровь против своей русской крови? Это как такое может быть? А?» Иногда он тихо смеялся — уязвленным смехом человека, который остался в дураках.

Лейла, наоборот, затвердела и почернела. Всегда легкая, быстрая, текучая, с блестящими, как ручьи, косами — Лейла превратилась в лед и асбест. Теперь, когда она стала вдовой, ее сковало злое, двусильное чувство вины и правоты.

Не умея свыкнуться с мукой отцовского горя, Андрей Петрович день ото дня ветшал и терял живые силы ума. «Опять всех поделили на красных и басмачей, — горевал он. — А то еще какие-то вовчики, юрчики, ваххабиты-маххабиты... Лейла, дочка, ты понимаешь что-нибудь? Чья сейчас власть?» «Чья бы ни была — все равно бандитская», — отвечала невестка. Но ей давно открылась несправедливая правда, о которой она сердито молчала, боясь ранить свекра: что в этой войне им, чужеродцам, защиту могут дать только убийцы Анзура — красные. Люди отмирающего быта — одичавшая советская номенклатура в союзе с уголовными авторитетами под охраной российских танков. Лейла знала, что на юге страны ее соплеменники узбеки воюют против исламской оппозиции — вместе с русскими, на стороне президентского клана. Особенно горячо было в Курган-Тюбе — ее родном городе. Там, в узбекском квартале, жила вся семья Лейлы: два брата, малолетняя сестра, отец и мать. Связи с ними не было вот уже месяц. В середине лета в Душанбе появились беженцы из Курган-Тюбе — однако напрасно Лейла искала среди них своих родных. В августе стало известно, что город в руках красных, и Лейла решила: пока на малой родине держится безопасная для ее соплеменников власть, надо съездить туда — повидать семью, успокоить сердце. Ей представлялась дорога к дому, голубоватая поземка пыли, сухой теплый сентябрь, полдень, сад, и в кудрявой его глубине, в сиянии солнечных клякс — накрытый к обеду дастархан. За столом — вся семья с выражением участия и терпения, какое бывает у людей перед камерой. Фигуры были неподвижны и местами засвечены, и Лейлу томило желание поскорее оживить их, чтобы сообща придумать, как и куда уйти от этой войны.

3

Две ночи Лейла гадала на молоке и воске. А утром третьего дня собрала чемодан, одела Андрея Петровича в халат на вате и тюбетейку, Масуду повесила на шею медальончик с мертвым локоном Анзура и велела ни на шаг от нее не отставать. А на случай разлуки поучила: «С каждым говори на его языке: с таджиком — на таджикском, с русским — на русском, с узбеком — на узбекском.

Ты понял?» — Масуд кивнул. «Повтори, как надо разговаривать с чужими?» — «С каждым на его языке», — ответил Масуд.

Речь давалась ему трудно — слова спотыкались и калечились в небной расщелине и выходили изо рта косолапыми и хромыми. Но Масуд не знал об этом — его уши жили в согласии с его голосом. Ему нравилось говорить — и чувствовать, как звук пробегает из ума через горло по мостику языка наружу. Его слух радовался каждому произнесенному слову. А слов он знал много, для пятилетнего мальчика — очень много: Лейла постаралась.

Втроем они вышли из дома в пустой город — люди прятались от войны, и по улицам бродил один ветер, гоняя сор и песок. Изредка проезжал автобус — внутри, за мутными стеклами сидели и стояли пассажиры, покорные необходимости куда-то ехать, работать и жить. Измученные лица смотрели без цели на все подряд враждебно и равнодушно. Лейла вдруг забоялась входить в автобус с Масудом и Андреем Петровичем, который в халате и тюбетейке выглядел даже более русским, чем обычно. Но за все время пути до вокзала никто не взглянул на них.

На вокзале оказалось, что уехать нельзя: поезд до Курган-Тюбе отменен. «В связи с нулевым пассажиропотоком», — зевая в кулак, сказала работница в кассе. «Может, есть какой-нибудь другой поезд? Какой-нибудь сборный?» Женщина обвела Лейлу тяжелым сонным взглядом. «Говорю же, нет людских вагонов! Про вас не знали — а то бы подогнали!»

Они сели под деревом, на убитый газон. Масуд разглядел в траве неизвестного жука и следил за его упорным трудом ходьбы, за маленькой сердитой борьбой с крошками земли и другими препятствиями. «Ты куда?» — хотел спросить Масуд, перегораживая жуку путь соломинкой, но вспомнил наказ матери с каждым разговаривать на его языке. Он дернул Андрея Петровича за рукав: «Деда, а какой у жука язык?» Тот рассеянно огляделся, пожал плечами. «А куда он идет?» — «Домой», — пробормотал Васильков. Его розовые от старости глаза заблестели. «Лейла, — сказал он, — я хочу домой». Лейла подумала, что свекор говорит о душанбинской квартире. Но Андрей Петрович тосковал о родном Ленинграде, в котором не был всю свою послевоенную жизнь.

«Кому в Курган? — подошел бомбила. — Два места, за баласенка денег не возьму». Он указал на хлебный фургон под чинарой. Лейла засобиралась. «Я хочу домой», — повторил старик, но Масуд с криком радости побежал к машине, и Андрей Петрович покорно взял свою дорожную торбу и чемодан.

4

Поздние бабочки, пыль, дорога, разъезженная добела, темно-серые горы, светло-серые осыпи, немного зелени и много неба. Гравий щелкает под колесом, барабанит в днище, грузовик газует — взбирается на перевал. «Мама, мама! Смотри, какое огромное!..» Над меловой колеиной царственно и грозно вздыбливаются базальтовые скалы. Это ничего. Только не смотри вниз, на дно ущелья: попадет отражение в горную ледяную речку — голова навсегда закружится: вода схватит твою душу и завертит в стремнинах, поскачет с ней по камням. Не схватит! Я завяжу воду узлом и придавлю вон той глыбой!

Утомленный тряской, гулом мотора и духотой, Масуд засыпает. Просыпается в глиняной тишине деревенского дома. Соседняя комната отделена перегородкой, и оттуда доносятся звуки сдавленных рыданий. Затем — слабый женский голос: «В конце июня еще... Отца убили двадцать седьмого. А мальчики пропали. Не знаю, живы ли...»

Масуд встает и выходит к голосам. Он видит три фигуры в скорбных позах, среди них — свою мать. Лейла обнимает за плечи седую женщину в синем трауре, с лицом как воощенная бумага. Справа от вдовы сидит девушка о сорока косичках, плетенных на шелковых нитях, свежая и прекрасная, словно жемчужина, которую только что достали из моря. Она манит его белой рукой: иди сюда! Он подходит как заколдованный. Но, не стерпев восхищения, бросается к матери и жмет к ней, будто от страха. «Бойтся, — оправдывается Лейла, — забыл уже... Масуд, помнишь бабушку Юлдуз? А это твоя тетя Гульнара».

Длинные тени, печальные голоса. День прошел в разговорах о войне. «Эти, кулябские, которые говорят узбекам по радио: идите воюйте с исламскими боевиками — думаете, они о нас вспомнят, когда боевики придут за нами? Защитят?» — твердила Юлдуз. «Русские нас защитят, мама!» — возразила Гульнара. «Э-э-э!» — раздраженно махнула на нее рукой вдова, хотела что-то добавить, но закрыла рот, взглянув на Андрея Петровича, который ел как неживой и все время молчал, хотя за столом из уважения к нему говорили по-русски. «Они убили Анзура, — сказала Лейла, подразумевая то ли русских, то ли вообще правительственные силы. — Для меня все враги». Старуха опять смутилась за Андрея Петровича — что он сейчас чувствует? Ее-то горе жило в согласии с ее кровью, а как у него? Какое-то другое, раздвоенное мучение... Поэтому она стала просеивать слова в уме, прежде чем выпустить их на воздух. «Правильно, дочка, — сказала она сурово. — Это не наша война. Зачем они разграбляют и жгут мечети? Они свое делят, а нам беда. Власть рвут, как шакалы мертвое мясо». Лейла в ответ безучастно кивала. «А, ты ведь не в курсе? — спохватилась Гульнара. — Сегодня в Душанбе был переворот, захватили дворец президента, а сам он сбежал! Вовремя вы оттуда уехали...» — «Кто захватил? Оппозиция?» — «Не знаю, передавали — какая-то молодежная группировка... Я в них запуталась. Андрей Петрович, хотите еще чаю?» Андрей Петрович тревожно огляделся: «Я хочу домой».

Наутро Васильков пропал. Женщины обегали весь поселок — старика как не бывало. «Ну, что теперь делать? — терзалась Лейла. — Куда бежать? Где его искать? Он же совсем в маразме! Его же убьет первый встречный!» К вечеру поиски прекратили. И Лейла вдруг испытала облегчение. Ее измучила забота, она устала тревожиться за всех, кто казался ей беззащитным перед обидой и злом — и особенно за этого старика, не близкого ей и не чужого. Она чувствовала, как Андрей Петрович отъезжает ее от Масуда — и сыну остается все меньше и меньше. И ей было жалко себя.

5

Четвертого сентября в центре города раздались выстрелы. Сначала — хлопки винтовок, автоматные очереди, потом ухнуло из танковой пушки, затараторили пулеметы — в бой пошла бронетехника отрядов Исламского

Возрождения и Демократической партии Таджикистана. Скрежеща, лязгая, сминая, плюясь огнем — война пожрала город и зашелкала жвалами на окраинах, вползла на узкие улочки Ургут-махалли. В клубах дыма, на рыкающих грузовиках, чернолицые, сверкая зубами и глазами, ехали победители. Ломая изгороди, круша двери, врываются в дома. Кричали весело: «Эй, узбек! Готовься к смерти!», «Перережем всех, как собак!», «Продались мультам и русским свиньям!», «Конец вам!», «Аллах акбар!»

Лейла с Масудом на руках выбежала во двор — но поняла, что уже не спастись. Она бросилась в глубь сада, где стоял укрытый виноградом дастархан, и затолкала сына под доски: «Молчи! Не шевелись! Сожмись в комок и ни звука!» И тотчас — грубо и жадно затопали по двору, вломились в дом, загалдели, заржали. Грохот, звон посуды, беготня, отчаянные крики... Масуд оцепенел. Сквозь траву и перевитые стебли лозы он видел, как Лейла, теряя ичиги, пятясь отползает прочь — и вдруг кто-то подошел быстрым, ломовым шагом и, схватив ее за косы, поволок по земле. Масуд зажмурился, зажал уши ладонями, но все равно слышал, как мать кричит по-таджикски: «Не трогайте меня! Мой муж... Его убили русские! Его уби...» Раздалось несколько тупых ударов, затем — какая-то возня, треск разрываемой ткани, хищное сопение и жуткий, ритмичный, шлепающий стук. Масуд открыл глаза, но ничего не смог различить. Тогда он перевел взгляд — увидел, задохнулся от ужаса и потерял сознание.

Не приходя в себя, Масуд впал в глубокий сон.

Очнулся, когда стемнело. Тошнотворный смрад клубился в несколько слоев, душил, выворачивал наизнанку. Воняло соляжкой, жженым волосом и горелым мясом. Во дворе, прямо у входа в мазанку, что-то дымилось. Масуд подошел, всматриваясь. Он увидел три черных тлеющих тела, сваленных друг на друга. Кое-где под обугленной растресканной кожей белела плоть. Он бесчувственно смотрел на трупы. Хлопья золы плавали в воздухе, то поднимаясь, то опадая. Он знал, что стоит перед чем-то отвратительным и страшным, но не понимал, что это такое и зачем оно здесь.

Над махаллей висела дикая, гибельная тишина, только из города все еще доносились выстрелы. Где-то скулила собака, и Масуду казалось, что это его горе оторвалось от него и плачет во тьме — сам он был опустошен, все внутри онемело. Хотелось пить. Зайти в дом? — ни за что: там, у порога, лежат э т и... Остается идти к придорожному арыку. Совсем близко — журчит, течет. Вода? Нет. Это кровь. Арык завален трупами — под лунной угрюмо блестят мокрые бока и спины неразличимых в смерти людей.

Масуд лег на землю, лицом к небу, и приготовился стать таким же темным и ненужным, как все вокруг. Но не смог: прямо из космоса, из мертвой синевы, смотрели на него звезды и будто бы знали о нем какую-то невыносимую для человеческого сердца тайну. Ему стало страшно этих звезд. Он вскочил и побежал — не зная куда.

Когда на другое утро, дрожащий и обессиленный, Масуд увидел живых людей, то не стал прятаться. Трое, переругиваясь по-таджикски, меняли колесо на «уазике», четвертый стоял рядом, курил и, поглядывая на работу своих товарищей, следил за дорогой. Еще один, курчавый, бородатый, с зеленой повязкой на голове, сидел на камне чуть в стороне, у обочины. Он держал в расслабленной руке флягу и время от времени неторопливо прикладывал ее к губам, иногда лениво сплевывая сквозь крупные белоснежные зубы. Все пятеро

были вооружены и так пропитаны пылью и солью, что не отличались по цвету от машины, друг от друга и от сероземных почв Вахшской долины.

Масуд приблизился к бородатому, встал перед ним и вцепился взглядом в его флягу. Бородатый осмотрел мальчика спокойными глазами, как сухую колючку у себя под ногой, сделал еще глоток и все тем же неторопливым жестом отдал ему остаток воды. Пока тот пил, бородатый достал пистолет, вынул из него коробку с обоймой и, подмигнув, словно бы говоря «махнемся?» — протянул оружие Масуду. «Эй, Анко! — крикнул тот, что курил и наблюдал, — ты совсем уже, да? Зачем так делать?» Анко даже не обернулся — лишь подал из-за плеча знак, мол, ствол без патронов, не паникуй. «Готово, поехали!» — закричали остальные и попрыгали в «уазик».

«Ну что, Дырявый Рот, — сказал Анко Масуду, — поедешь с нами?» Масуд протянул к нему руки. «Оставь его! Зачем тебе этот уродец?» — нетерпеливо позвали из машины. «Научу его читать хадисы и стрелять, вырастет — воином джихада будет». Анко ухватил Масуда под мышки, поднял над головой, встряхнул: «А? Какие глаза! Огонь. Шахидом будет!» — «Зачем Аллаху такие шахиды? — возразил курильщик. — На Иди Курбон ты ведь самого лучшего барана режешь, а не кривого и хромого?» — «Аллах велик. Не спрашивай зачем. Он знает». Анко забрался с мальчиком на сиденье. «Как тебя зовут?» — Масуд назвал свое имя. «А где твой отец?» — «Его убили русские», — повторил Масуд последние слова матери. Анко со значением кивнул. «Хочешь стать героем и отомстить за отца?» — «Да».

6

Андрей Петрович Васильков топал по объездной дороге: на голове — тубетейка, в руке — палка, за плечом — вещмешок. Так для романтики называл он свою хозяйственную торбу на все случаи жизни. В торбе — «ранцевый запас продовольствия»: лепешка, две жмени изюма, молодой козий сыр, сигареты «Прима», фляга с водой, а также мыло, опасная бритва, спички, шерстяные носки, складной армейский нож, фонарик... Все это было приятно и хорошо. Но к исходу дня его начало грызть тревожное чувство, будто он забыл что-то самое важное. Будто ему необходимо вернуться и что-то исправить. Однако Андрей Петрович продолжал идти, жалея, что вместо портянок и сапог обут в какие-то легкомысленные городские штиблеты. На третий день он вдруг понял, что все еще идет по кольцевой — потому что не знает, куда идет и откуда. Он не помнил направления, задачи и цели.

Когда вокруг начали шелкать пули и разрываться снаряды, Андрей Петрович вспомнил. Он шел в родной город. Он продвигался в Ленинград! Сначала в составе 4-й армии, потом — 59-й, и наконец — 2-й ударной. Задача — разъять оборону немцев и взять Любань. Цель — сорвать операцию «Северное сияние». К Любани была только одна дорога — через Мясной Бор: узкая брешь в обороне врага, прорыв шириной километров двенадцать. Они влезли в это бутылочное горло и оказались в западне. В огненном котле, в стальной мотне, в тугой петле. Их жарили с четырех сторон, сверху бомбила авиация, отовсюду сыпались ключья пламени. Казалось, пылают даже болотная хлябь, водяные пузыри, комья взлетающей к небу грязи, чавкающее, гнилое нутро окрестных трясин, в которых вязли машины и кроткие, полумертвые от

голода и страха лошади. Задача изменилась: уже никто никуда не наступал — требовалось найти выход из окружения. Пробиться обратно — к своим, на восток. Но как? «Надо форсировать Волхов! — закричал инженер Васильков. — Надо строить понтонные мосты!» И он побежал ловким бегом двадцатидвухлетнего пехотинца, хоронясь по оврагам, затаиваясь в канавах, прячась за глинобитными дувалами.

Андрей Петрович не заметил, как влился в группу местных жителей, в основном женщин и детей, которые тоже бежали куда-то горбясь, в страшном смятении. «Надо строить понтоны! Наплавные переправы! — орал на бегу Васильков, кидаясь то к одной беженке, то к другой. — Товарищи бойцы! Отставить панику и рассеяние! Собраться в отряды! К реке, к реке! Ставить опоры! Прорываться к своим! В атаку!» Кто-то сбил его с ног и повалил на живот — и тут же земля толкнула в потроха, ухнула, оглушила, ударила сверху наотмашь, как цепью, кусками грунта, камнями, песком. «Эй, бобочжон! — прокричал незнакомец в ухо Василькову. — Зачем понтоны? Вон, видишь, мост? А за мостом — ваши!» — «Ваши?» — изумился Андрей Петрович. — «Ну, наши! Российская военная база, сто девяносто первый мотострелковый полк!» — «Это какая же дивизия?» — «Двести первая, Гатчинская!» — «Гатчинская? — озадачился Васильков. — Не знаю такой... А я из девяносто второй, триста семнадцатый стрелковый полк! А ты, брат?..» — Но тут снова гроыхнуло, посыпалось, Васильков скукожился, закрыл голову руками, а когда очухался — человек уже куда-то исчез.

«Гатчинская, Гатчинская... — бормотал старик, продолжая бег в направлении реки. — Мотострелковая! Новая, что ли?.. Вот! Пока мы тут, в окружении, мечемся без смысла и пользы, столько всего происходит!»

Гатчинская дивизия была создана только в мае сорок третьего, поэтому Васильков, который мчался сквозь время к Волхову сорок второго, и не мог о ней знать. Между тем география судьбы этой дивизии и пути миграции Василькова удивительным образом совпадали в крайних своих точках. Сформированная на Ленинградском фронте — теперь, спустя полвека, она стояла в Таджикистане. И вот к одной из ее баз на окраине Курган-Тюбе сейчас бежали два Василькова: один исторический, другой телесный.

На КПП исторический Васильков сообщил, что он вырвался из котла, что остатки 2-й ударной бьются за коридор у Мясного Бора, что все коммуникации разрушены, лекарств нет, провианту нет, боеприпасов нет, фуражу нет — кони грызут оглобли и околевают прежде чем их успеют зарезать, люди жрут падаль, вши жрут людей — бесконечен цикл страдания в природе, и никак не разомкнуть этот круг, потому что боевые самолеты «люфтваффе» зашивают огнем любой прорыв. «Передайте это в ставку верховного главнокомандующего!» — закончил свою речь Васильков.

Его отвели на территорию воинской части, там уже скопилось сотни две беженцев — русских, узбеков, татар и других нацменов, и новые все прибывали. Через два дня всех погрузили в машины и вывезли в Куляб, где у власти стояли красные отряды Народного фронта во главе с буфетчиком и вором в законе Бобо Сангаком. «Ничего нет! Передайте это в ставку верховного главнокомандующего!» — азартно кричал на прощание русским солдатам и офицерам Андрей Петрович, высунув башку из окна автобуса. Ветер с песком и выхлопными газами забивал ему обратно в глотку слова.

Из Куляба Андрей Петрович ушел в сторону Хирманджоя — помня, что ему зачем-то надо двигаться на восток. Он шел по обычному школьному компасу. Когда-то купил для внука, на его пятый день рождения — день, когда в Анзуре впервые взбунтовалась памирская кровь и выгнала его на площадь, и старик из-за скандала и недоумения забыл о подарке, который так и остался лежать в потайном кармане его торбы. Но исторический Васильков об этом не знал, он просто обнаружил в своем ранцевом запасе полезный навигационный прибор.

Шел он медленно, километров по восемь в день, и где-то на десятые сутки уперся в афганскую границу. К тому времени телесный Васильков стал почти бестелесный. Но исторический Васильков не догадывался о своей физической немощи и продолжал путь — вдоль границы, вверх по течению реки Пяндж. По дороге встречались ему всякие люди — и мирные, и головорезы — но никто не тронул полоумного старика. Андрей Петрович стал даже народным любимцем. Его прозвали русским каландаром — странствующим дервишем. Конечно, не всерьез. Он был заметным. Слишком заметным, такие не воспринимаются всерьез...

Весной 93-го года русского дервиша видели в районе Калайхума — там, где Пяндж заворачивает к Памиру. Андрей Петрович запутался в дорогах настоящего и прошлого и, вместо того чтобы идти на свою родину, упорно шел — повинаясь компасу или судьбе? — на родину Зарины. Он бы удивился, если б узнал, что последний венчанный муж Зарины — тополь — все еще жив и зелен. Вернее, если бы помнил ее, свою прекрасную Зарину, и легенду про ревнивую смерть.

7

Отряд Анко вместе с другими частями армии Исламского Возрождения всю осень и начало зимы сражался против соединений Народного Фронта, а в январе 93-го, когда красные кланы стали побеждать и в кабинетах, и в боях, — ушел в Афганистан. Так Масуд оказался в одном из восьми лагерей для беженцев сопротивления. Здесь они заново собирались в отряды и учились искусству войны у афганских моджахедов.

Пригодился и Масуд. Увечный мальчик с глазами серафима, черный от грязи и солнца, в обносках, босой, с протянутой рукой. «Дяденька, пить! Хлеба!» — его везде пропускали. Он мог войти на любую заставу российских погранвойск, которые стояли на таджико-афганской границе со времен Союза.

Так что Анко, против обещания, учил Масуда не чтению хадисов, а чтению карт, счету боеприпасов и как отличать мортиру от гаубицы. Чтобы, вернувшись из разведки, тот смог перечислить, указать и назвать все орудия и дислокации неприятеля. Брали его и в боевые операции. Вскоре кто-то заметил, что чем ближе Масуд, тем дальше пули. С тех пор Анко с ним не расставался.

«Ну и рожа у тебя, бача. Даже пули тебя боятся», — смеялся Анко. Масуд не чувствовал обиды. Он уже замечал, но еще не понимал, почему незнакомые люди иногда пугаются его. Однажды, продираясь сквозь цепкие заросли, он поскользнулся на щебне и съехал по склону в лог, прямо под ноги местному пастуху, который набирал воду из ручья. Взглянув на Масуда, тот искажился в чертах и, бросив кумган, бежал прочь. Поползли слухи, будто бы у ручья в балке живет мелкое чудовище с ликом смуглым и щелястым, как башмак, на котором

полыхают глаза пронзительной синевы. Крестьяне называли его кто маляк (ангел), кто ифрит (дух огня), а кто и даджаль (сатана).

Прошло четыре года. В июне 97-го в лагерь пришло известие: войне конец, подписан мир в Кремле, всем боевикам — амнистия. Многие побросали оружие и устремились на родину, прочь из Афганистана. Но не Анко. «Эти кремлевские бумажки мне не указ! Я не заключаю мир с шавками, которые лижут пятки мульхидам и кафирам из Москвы. Уже забыли, как в девяносто третьем русские самолеты бомбили Памир?»

К августу Анко собрал отряд из ста пятидесяти человек и задумал штурмовать военный городок Сангисард — чтобы закрепиться там, а затем объединить силы с группировками мятежного полковника Рузи на юге и полевого командира Файзулло на востоке. Масуд, к тому времени десятилетний, несколько дней провел на заставе в разведке.

«Вот с этого фланга у них — слепое пятно, можно подойти близко, — рисовал Масуд. — А здесь очень низкое укрепление, с плеча не возьмешь, только минометом. Тут казармы. Тут оружейная комната. Боезапас у них вышел, вчера прилетала "вертушка", и начальник заставы орал, типа патронов мало скинули. Матерился. Что там еще? Как минимум, два пулемета, три ручных гранатомета и один СПГ... А! Вот здесь — хитрое место: нам не подступиться, а им — лазейка из окружения. Что-то надо тут думать. Да! И еще боевая машина пехоты — вот здесь обычно стоит. Ее лучше сразу грохнуть, пока экипаж будет в портки по тревоге сигать». «Э, да ты стратег! — воскликнул Анко, отвесив Масуду педагогический подзатыльник. — Слыхали, этот диловар знает, как надо и что лучше! Эй, братья, теперь нашим командиром будет Дырявый Рот!» Братья загоготали. «И буду, а что!» — крикнул Масуд назло, сжав от обиды кулаки. Анко усмехнулся: «Не торопи смерть, мальчик. На все воля Аллаха».

Выступили ночью. До рассвета подошли к заставе и вокруг нее, на высоте, стали занимать огневые позиции: три расчета с гранатометами на колесном лафете, два — с минометами, две установки «Град» (эхо застоя). Еще тридцать боевиков с мухами принаравливались к рельефу, остальные с калашами и винтовками ползли по уклонам, от куста к камню, от камня к яме. Раззадоривали себя: «Наводи на казарму, накроем их в колыбельках»... Но внезапно с заставы послышались крики «в ружье!» — и Анко скомандовал: «Огонь!»

С волынным стоном жажнули «Грады» — каждый в четыре залпа. Испуская струи раскаленных газов, заухали гранатометы на сошках. В ответ раздалось одинокое соло пулемета — сухое та-та-та, и треск автоматных очередей. С гор, жужжа осами, взвились минометные снаряды и превратили казармы на заставе в щепу, огонь и дым. В отсветах пламени показались бегущие человеческие тени и пушка БМП, наведенная для удара. «Бей по машине, Абдулло!» — заорал Анко, и в тот же миг Масуд услышал неотвратимо приближающийся заунывный вой, затем — взрыв, и в странной медленной тишине он увидел, как Анко, распахнув руки, спиной летит в темноту.

Сквозь черную глухую вату Масуд пополз туда же. Анко лежал кверху лицом с развороченной грудью. Он еще жил: ритмично, как-то механически издавая короткие хрипы, тянулся ртом к небу — хотел сделать глоток воздуха и не мог. «Анко, не умирай! — закричал Масуд. — Не бросай меня здесь одного! Нет! Так нечестно!» Анко вздрогнул, испустил дух и затих. Из белозубого рта вытекла струйка крови — тонкая, словно из голубиноного горла.

8

Андрей Петрович заточил последний прут, вкопал в землю и укрепил камнями. Достал из торбы ветошь, растянул между опорами и сверху застелил куском тепличной пленки. Получился навес от солнца и ночной росы. Андрей Петрович соорудил его у корней широкой жилистой арчи — так что дерево давало вторую защиту. Старик залез внутрь, сел по-турецки и, довольный, похлопал себя по коленям: «Ну вот». За пять лет войны он обошел весь Таджикистан, выжил под бомбежкой на Памире и там окончательно потерял разум, приняв русские самолеты за штурмовую авиацию немцев. Теперь он возвращался обратно — уже не думая, куда и зачем идет. Просто он так жил: упорным трудом ходьбы, сердитой борьбой с пространством и временем, которой занималась уже не воля его, а телесная механика.

Ему сразу понравилось место: утлая равнинка среди уступов, тончайшей резьбы заросли кизила, пряный можжевельный воздух, вид на облака. А в паре часов ходьбы — кишлак Сангисард, пограничная застава. Есть где разжиться хавкой и сигаретами.

Ночью его разбудили взрывы и пальба — он лег ухом к земле и понял: на заставе идет жестокая перестрелка и кто-то в эти минуты гибнет. Тоскуя, заснул опять. Он привык жить среди войны и смерти и думал, что по-другому не бывает.

Бой длился до солнцепека. Во втором часу дня к Сангисарду проехали танки 201-й мотострелковой дивизии, прогремела артиллерия резервных сил пограничного отряда, пролетели вертолеты. И снова началось. Битва, то озлобляясь, то утихая, гремела весь день. Наконец, когда засинел вечер, все замолчало.

Васильков к тому времени уже подходил к заставе. Он знал, что если успеет — то может собрать с трупов немного добра: табак, деньги, воду... патроны, которые можно обменять на табак, деньги, воду... или на еду. Случалось, находил и пакетики с дурью — но не брал: наркотиков не было в его картине мира.

Старик обогнул заставу и стал карабкаться в гору, цепляясь за кусты и сухие стебли. Он видел, что левее и ниже по откосу шарят фонариками пограничники, подсчитывая потери боевиков. Надо было торопиться. Но ему не везло: камни да стреляные гильзы — все, что попадалось на пути. Ночь стояла черная, безветренная, горячая. Оглушительно трещали сверчки. Василькову казалось, что своими трелями они хотят задушить все пространство мира. Он вдруг почувствовал отвращение к жизни — впервые захотелось остановиться и все прекратить. Но вышла луна, и в ее свете он увидел прямо перед собой двух мертвецов. Один, раскинув руки, лежал на спине. Рядом, уткнувшись ему лицом в подмышку, лежал другой — ребенок лет десяти, худенький, босой.

Андрей Петрович опустил на колени и принялся обыскивать тела. Он перегнулся через мальчика, чтобы дотянуться до пистолета, который заметил возле руки мертвого боевика, — и в этот момент Масуд повернулся и ткнул Андрея Петровича под ребро ножом.

9

«Здесь еще два жмура! Котов, ходь сюды... Посвети, а то мой сдох...» — Котов навел фонарик на лицо Анко, присмотрелся: «Слышь, Гангрена, а это, случаем, не этот, как его... Рожа один к одному». Гангрена сплюнул: «А хрен его знает. Я их по рожам не различаю. Борода и борода». Котов посветил на Андрея Петровича: «А это кто? Вроде гражданский...» «Да похоже, вообще русский... Местный бомж, наверное», — ответил Гангрена и за плечо перевернул старика. Под ним солдаты увидели Масуда, залитого кровью. «Опа... Еще один, — сказал Котов. — Совсем пацаненок». Солдаты присели на корточки, чтобы рассмотреть поближе. «Тоже какой-то бомжеватый... — печально заметил Котов. — Чо они тут делают, Гангрена?» — «А я знаю? — обозлился Гангрена. Ему было жаль старика и мальчика, от этого он чувствовал себя слабым и бесился. — Ночевали тут, может быть. Ну и... Под раздачу попали». — «А кто их всех в кучу свалил?» — не унимался пытливый Котов. Гангрена хотел послать друга куда подальше, но вдруг увидел, что мальчик приоткрыл глаза. «Э! — крикнул он. — Зырь, Кот, а пацан вроде жив!» Котов улыбнулся и тупо спросил: «Ну и чо делать, тарих сержант?» — «Чо, чо... — проворчал Гангрена. — Через плечо! Отнесем в санчасть, а там разберутся, чо».

Солдаты оттащили в сторону труп Василькова, в темноте не заметив рукоять ножа, вошедшего по самую гарду в сердце старика: когда Масуд ударил его, тот упал на лезвие и весом собственного тела закончил работу своего убийцы.

Гангрена отправил Котова за носилками, сел на землю и закурил. Он был рад остаться в одиночестве и подумать о себе. Иногда он поглядывал на мальчика. Масуд лежал буквой зет, на боку, как-то неестественно перекрученный: ноги в профиль, лицо и плечи — анфас, руки сведены у груди. Под носом и ушами чернели кровоподтеки.

Сержанта неприятно беспокоила неудобная поза мальчика, ему хотелось как-то это исправить, но он решил не трогать раненого, боясь причинить ему какой-нибудь дополнительный вред. Вскоре он стал злиться на медлительность Котова: мальчик не двигался, и казалось, жизнь из него уходит. Гангрена вспомнил, что в таких случаях вроде бы принято разговаривать с больным, поддерживать в нем волю к бытию и все такое, но заговорить почему-то стеснялся.

О себе думать не получалось.

Даже когда они благополучно сдали Масуда в санчасть, Гангрена не успокоился. Он побродил вокруг, заглянул в наполовину забеленное окно, увидел какие-то скудно освещенные проемы, тени неторопливых людей и в недоверии вернулся. «Я это... Насчет пацана. Хотелось бы знать, как он, — сказал с раздражением. — Его лечат?» — «Лечат, лечат, идите спать», — ответила дежурная. «Кто?» — Медсестра вздохнула и терпеливо сообщила: «Очень хороший военврач, сегодня вертолетом прибыл, он всеми ранеными занимается. Капитан Гольцев, Сергей Ильич».

«Кому тут нужен Гольцев?» — крикнул откуда ни возьмись лысый, маленький и крепкий, как желудь, человек. Его свирепый вид смутил Гангрена. «Я это... Насчет мальчика... Товарищ капитан...» — пролепетал он. «Все в

порядке с вашим мальчиком. Контузия и сильное истощение, но — ничего страшного. Все, что ему сейчас нужно — сон и покой», — сказал Гольцев, развернулся и зашагал прочь. «А лицо? — крикнул ему вдогонку Гангрена. — Чем его так?.. изувечило?.. Вот же сука-война...» — «Это не война, друг мой! — эхом, из глубины коридора, отозвался врач. — Это банальная патология. В народе называемая "волчья пасть". Пара операций — и будет красавчик...» Последние слова он пробубнил себе под нос.

Гольцев знал, что никакая «пара операций» этому ребенку не светит. Лучшее, что его ждет — детдом и психушка. Усыновление? Нет, таких детей не берут. Слишком старый, не слишком белый, калечный. А что там в анамнезе и генезисе — лучше и не думать. Мрак.

Ночью, лежа во тьме на казенных пружинах, он мучился от их скрипа, как от скрежета зубного. Когда-то, еще до войны, Сергей Львович работал в отделении челюстно-лицевой хирургии главной больницы Душанбе. И как-то пришел к нему друг с женой и новорожденным сыном. Они уже обошли трех «лучших врачей», как сказал друг, — и все им советовали срочные действия. И Гольцев бы посоветовал то же самое. Но его отравила цеховая ревность.

Нет, он бы не навредил, он бы все сделал, как надо — если бы не война. Гольцев бежал после первых погромов в Москву, к родственникам жены, там худо-бедно устроился: торговал, крутился, как мог, хирург республиканского значения, ха... Через три года не выдержал, вернулся в Таджикистан как военный врач — на самом пике войны. И вот теперь, когда вроде бы все кончилось и Гольцев, подлатав свою гражданскую и профессиональную совесть, снова засобирался в Россию, — такой странный случай.

Может быть, это знак? — вдруг осенило Гольцева. И побежала, побежала по нервам души тревожная мечта: взять его, этого нищего босого мальчика, с собой в Москву, сделать ему эти пару операций... А если усыновить? Любить его, растить, создать с ним свою жизнь заново, все искупить, все искупить! Да. Все искупить. И дать ему новое имя. В честь... Как его там... Как же звали того младенца?.. Муса? Саид?.. А! Масуд! Да, точно — Масуд.

Игорь Богацкий

Полный камуфлет

Заметки геолога

«На просторах Родины чудесной»

Игорь Богацкий родился в Москве (1946), в 1969 году окончил геологоразведочный факультет Московского нефтяного института. Работал на Северном и Приполярном Урале, на Кавказе, на Таймыре, в Оренбургской области, Ставропольском крае, Якутии, Красноярском крае, Астраханской области. Побывал (не как турист, а как геофизик) с экспедициями в Казахстане, Турции, Иране.

У него есть десятка полтора публикаций в специальных научных журналах, но его non-fiction воспоминания о том, что довелось этому наблюдательному, умному, веселому, бывалому человеку увидеть «на просторах родины чудесной» за долгие годы производственных скитаний, публикуются впервые.

Сам Игорь Богацкий вовсе не претендует на роль профессионального литератора, и, кажется, слава Богу, вовсе не собирается таковым становиться.

Однако лично я читаю эти его невыдуманные заметки геолога, то есть коллеги по моей первой специальности, выпускника Московского геологоразведочного института, с гораздо большим удовольствием, чем иную высоколубую беллетристику. При чтении все время думаю, мысленно используя ненормативную лексику: «Ну, до чего же... все-таки фантастическая... страна наша... Россия!»

Евгений ПОПОВ

Кто из вас бывал хотя бы на одном ядерном полигоне? Я на трех.

Сразу хочу вас уверить, ничего там апокалипсического нет. Обычные наши будни и праздники. Такая же, как и повсюду у нас, деловитость, конкретность, полная самоотдача. Из этих трех полигонов Семипалатинский у всех на слуху. Остальные известны только специалистам и местным жителям.

Один — собственно не полигон, а якутское месторождение, в газонефтяной залежи которого проводились ядерные взрывы. Кому в голову пришла такая безумная идея, спросите вы? Конечно, проклятым империалистам. Все дерьмо от них, из Западного полушария: табак, клопы, СПИД.

Справедливости ради уточним, что американцы, предложив этот сатанинский способ увеличения притоков нефти из продуктивного пласта, почти сразу

от него отказались, потому что никаких особых притоков при этом не наблюдается, а экологических проблем тьма. Мы же, почему-то всегда хватающиеся только за самые масштабные предложения мировой цивилизации и равнодушно игнорирующие тысячи других, не таких грандиозных, так просто не отступились, угрохали под это дело астрономические суммы и останавливаться не собирались.

К этому времени вечномерзлые якутские толщи содрогнулись уже раз десять. Земля в этих краях промерзла метров на триста-четыре, а рвут ее на глубине километр-полтора, так что, строго говоря, вечномерзлые толщи содрогаются попутно, что ли, с нижележащими уже немерзлыми и попутно со всем живым и бездыханным, находящемся в округе, радиусом в десятки километров.

Я присутствовал в разные годы при пяти якутских взрывах или при пяти *воздействиях*, как надлежит обзывать эти забавы в открытых документах — в целях конспирации.

Слово «воздействие» вызывает у меня сумрачные ассоциации. Бывало, в детстве мать выговаривала отцу, кивая на ремень: «Отец ты или нет? Можешь ты, наконец, на него воздействовать?» Отец откладывал вечернюю газету и смотрел на меня поверх очков добрыми глазами. Воздействовал он на меня за всю жизнь раза три. Больше мать к нему не обращалась, опасаясь за его больное сердце. Розовые воспоминания первое время не давали выводить в служебных бумагах душераздирающее слово «воздействие», но постепенно я к нему привык и сейчас пишу вполне спокойно.

Техническая сторона *воздействия*, думаю, мало кого интересует. Слишком скучная это материя. Любопытство тут может вызвать разве что сама игрушка, скромно именуемая *изделием*. *Изделие* напоминает с виду торпеду. О том, что у нее внутри, можно судить по картинке из небезызвестного учебника физики А.В.Перышкина.

Изделие опускается в скважину и заливается цементом. Качество цемента отменное. Об этом я сужу по тому, как некоторые мои сотрудники из мужичков с хозяйственной жилкой завистливо вздыхали: «Вот бы парочку мешков этого цемента к себе на дачу скоμμуниздить». Удерживало их лишь пятидесятикилометровое расстояние до своих усадебок.

Из зацементированной скважины остается торчать хвост проводов, которые тянут на командный пункт, откуда подается боевой сигнал.

Что касается бытовых деталей этого экзотического предприятия, то, несмотря на всю его кажущуюся неординарность, и здесь, смею уверить, сплошная проза.

Не обошел наше избранное общество незабываемый восемьдесят пятый год. С той лишь разницей, что если все остальные граждане хотя бы приоткрыли тогда свои дремлющие вежды, то на нас, полных сил, энтузиазма, готовых разбегаться, ускоряться, перестраиваться, как снег на голову, обрушился мораторий на подземные взрывы, пардон, *воздействия*, повергший всех в состояние летаргии, а инквизиторский указ от семнадцатого ноль пятого восемьдесят пятого добил окончательно.

Жутко даже вспоминать последовавшие засим два траурных сезона. Чтобы не сойти с ума от безделья, мы раз за разом повторяли вокруг готовой скважины

постылые фоновые измерения, а от чая с голубикой по вечерам наступала такая тоска, что впору повеситься. И половина личного состава наверняка бы повесилась на ближайших корявых елках, если бы не полярный день, мало способствовавший этому интимному акту.

То ли дело боевой семьдесят девятый год. Моя первая поездка на объект. Поскольку добирались мы с группой туда самостоятельно, а не со всей кодлой спецрейсом, дорога сама по себе была уже непростым испытанием.

Июль-месяц, время отпусков. Билетов нет до октября. Выправив себе бумагу, извещавшую, что податели ее срочно командированы для выполнения спецработ по постановлению ЦК, я отправился в центральные авиакассы на Лубянку. Окошко для Героев и парламентариев штурмовала толпа молодых людей, молодцеватостью и усатостью не уступавших лихому покорителю рейхстага Мелитону Кантарии. Пока я продирался сквозь их жаркие ряды, ребята мои сбегали за водкой через площадь в «сороковой» — гастроним, обслуживающий преимущественно свадьбы и поминки. По популярности это заведение мало чем уступало своему мрачному гранитному соседу.

Через полчаса мы сидели уже под полотняными грибками летнего кафе на углу Кузнецкого и Петровки. Запивали «Фантой», только что появившейся в Москве в тот предолимпийский год, в дни Спартакиады. Рекламный щиток в буфете уведомлял, что напиток приготовлен на основе минеральной воды альпийского курорта Баден-Бадена, по поводу которого мы вспомнили старый анекдот.

Мужчина, отправляя телеграмму, уточняет:

— Простите, барышня, Баден-Баден — одно слово или два?

— Два.

Мужчина мнетя минут пять и снова возвращается:

— Я вас правильно понял, Баден-Баден — два слова?

— Два.

Зануда не унимается и на третий раз получает исчерпывающий ответ:

— Баден-Баден — два слова, пошел на хер — три слова.

В Ленск мы прилетели поздно вечером, и хотя оттуда до Полярного круга еще километров шестьсот, было еще вполне светло. Я не знаю, как встречают специалистов, прибывающих на полигон в Неваде или на атолл Мороруа, — нас встретили замечательно, если не считать минутной заминки. Камера хранения не работала. Ехать ночью в город, искать гостиницу с грудой экспедиционного барахла?

Наши размышления прервал представительный мужчина тридцати с небольшим лет, в черном кожаном пиджаке, однако в домашних войлочных тапочках в зеленую клетку и в зеленых же трикотажных штанах, в обиходе именуемых тренировочными, хотя комплекция незнакомца вряд ли позволяла ему активно заниматься каким бы то ни было спортом, за исключением разве что придворной японской борьбы сумо. Он приветливо согнул свою буйволиную шею и попросил закурить. За компанию закурили все.

— Геологи? — кивнул он на нашу кучу. — Москвичи? — Он покрутил у себя

перед носом сигаретой фабрики «Ява». — Тогда ко мне, — утвердительно заключил он.

Я вопросительно посмотрел на него.

— Дюжев Сергей Николаевич, — представился наш новый знакомый.

Сергей Дюжев оказался мастером бригады, бурящей нашу скважину под *воздействие*.

— Но мы не давали никакой телеграммы, — удивился я. — Почему вы нас встречаете?

— Я не встречаю, я провожаю, — добродушно улыбнулся Дюжев.

Оказалось, он только что погрузил жену с дочерью на самолет, увозивший их на все лето в теплые края, и, кажется, пребывал сейчас в состоянии птички, обнаружившей, что дверца клетки распахнута настежь. Наше появление немедленно вернуло ему равновесие.

— За мной, — скомандовал он моим ребятам, подхватил один из наших баулов и с неожиданной при его тучности стремительностью двинулся в наступавшую наконец темноту. Следующие несколько суток я могу восстановить лишь фрагментарно, чему причиной отмеченная только что стремительность нашего нового знакомого, не покидающая его и по сей день.

На объект мы вылетали вместе с бригадой Сергея, с вертолетной площадки Среднеленской нефтеразведочной экспедиции. Вертолетная площадка, вероятно, представляется вам эдакой зеленой лужайкой со шелкающими на ветру разноцветными сигнальными флажками, с раскачивающейся, как хобот, полосатой метеорологической колбасой на высоком столбе, с поминутно взмывающими в небо весело стрекочущими вертолетиками, уносящими в безбрежную тайгу румяных бородачей в просоленных штормовках вместе с их огромными рюкзаками и неизменными гитарами. В действительности «площадка» оказалась задвинутым на задворки аэропорта длинным зеленым сараем, разгороженным дощатыми перегородками. Большая его часть была отведена под зал ожидания с обширным, как огород, бильярдом, подвешенным под потолок телевизором и лавками вдоль стен, залепленными наглядной агитацией, текущими объявлениями, портретами ударников производства и списками гостей вытрезвителя (наиболее одаренные персоны удосужились присутствовать на обоих последних стендах).

Сюда, как объяснил Дюжев, съезжались по утрам вылетающие на очередную вахту буровики, испытатели, вышкомонтажники и так далее. Первым делом по приезде каждый из них просовывал голову в узкое окошко диспетчерской и называл свою фамилию и номер буровой. Потом занимал очередь на бильярде, или садился под телевизором, или заваливался на лавку досыпать, или скидывался на банку. Погода неделю могла быть нелетной, но ежедневная запись у диспетчера была обязательна, тогда ты получал за этот день тариф, в противном случае — прогул. Поэтому даже с самого крутого похмелья надо было с утра отметиться на площадке или попросить это сделать товарища по бригаде.

В любую непогоду вертолетка была полна. Порой тут набивалось народу на двадцать рейсов, хотя даже в самые долгие летние дни их редко выполняли больше десяти. Домой же вахты, на всякий случай, до вечера не отпускали. В

результате кое-кто, напровожавшись за день, оставался ночевать здесь же, прямо на просторном бильярде.

С вахтами вылетали поварихи. Это были пожилые тетki, в основном почему-то с Украины, подрядившиеся на год-два этой каторги, чтобы заработать пенсию побольше, или молодые девахи, у которых на буровой был свой интерес — уникальное положение единственной на пятьдесят километров дамы в окружении нескольких десятков мужиков.

Впрочем, не совсем так — иногда повариха брала с собой помощницу, так называемую техничку, а кроме того, в штате бригады числилась еще лаборантка, — но в любом случае кавалеров по десять на каждую из них приходилось. Барышни помоложе были нарядно одеты и вообще имели вид вполне цивилизованный. Их пожилые подруги терпеливо дремали в тенечке у крыльца «вертолетки» в ожидании команды на погрузку, зажав меж колен сумки с дефицитным сливочным маслом и бидончики со сметаной.

В десяти метрах начинался лес. Каждые двадцать пять минут к вертолетке подлетала раздолбанная черная «Волга» с облупленными шашечками на боках. На ее дребезжанье из леса выскакивали два-три молодца и, перекинувшись несколькими междометиями с вылезавшими из такси такими же (но с позванивающими сумками) двумя-тремя молодцами, прыгали на освободившиеся сиденья. Машина срывалась с места и уносилась в очередной челнок. В бильярдной очереди сразу образовывались бреша. В лесу прибавлялось гомону. Несмотря на мусор, битое стекло, испражнения лес оставался лесом. На порыжелых от мочи кустиках росла отборная голубика, пели птички и пахло, против ожидания, незамысловатыми северными цветочками.

Разбросанные по лесу группки в пять-шесть человек формировались не по бригадному принципу, а по интересам. Под лиственницей ветераны обсуждали острый вопрос, почему у нас все так паскудно, а у них все так хорошо. Выходило потому, что у нас начальники мудаки, а у них наоборот, но в целом мы, конечно, в сто раз умнее, чем они. Молодежь у соседней березы была занята разборom вчерашних подвигов в вечернем баре «Айяал». Среднее поколение на поваленной сосне сосредоточенно резалось в буру, а философски настроенные индивидуумы лежали на траве, задрав к небесам свои одухотворенные лица. Во избежание полного погружения в нирвану их приходилось время от времени энергично встряхивать. Впадая в такое состояние, человек становится неподъемным, и тащить его на себе к вертолету куда тяжелее, чем мешок с цементом.

Наша непростая буровая, в отличие от обычных разведочных, должна была быть готова к строго определенному сроку, и потому обслуживалась соответственно. Вертолеты туда гоняли ежедневно, порой по несколько рейсов. Вот и в тот день, не успели мы толком познакомиться с дюжевскими парнями («Волга» едва сделала две ходки), как репродуктор на весь лес прокричал наш номер.

При загрузке дежурного грузовика мешками с продуктами и личными шмотками я с удовлетворением отметил две свиные полутуши, поверх которых аккуратно положили плешивого дядьку преклонных лет.

— Наш Герой труда, — уважительно кивнул на него Дюжев.

Сам он сел в кабину, машина потихоньку тронулась, и мы потянулись за ней следом на взлетную полосу. Под завязку груженный вертолет разбежался по-

самолетному, не без труда оторвался от земли и, развернувшись над аэродромом, пошел на север.

Лететь было часа полтора. Герой труда очухался на полпути. Он недовольно оглядел всех присутствующих, покосился персонально на меня и отвернулся к иллюминатору (блистеру, по-авиационному). Петрович — так звали мужика — был старейшим бурилой экспедиции, имел кучу орденов, в том числе и Ленина. Когда мы познакомились поближе, он признался, что поначалу я ему не понравился. «Просыпаюсь, голова раскалывается, в кармане пузырь, а тут ты сидишь со своим портфелем. Может, какой инспектор из теркома профсоюза?» Я искренне расстроился — неужели у меня рожа профсоюзного деятеля?! Петрович успокоил меня: его смутили портфель и пиджак. Все равно немного обидно. На нем тоже был пиджак, а что касается портфеля, то у меня там лежало шесть бутылок «Стрелецкой».

В пиджак и лучшую рубашку я нарядился ради утреннего визита в ленскую «Нефтеразведку». Надо уважать людей, к которым едешь, говорил я себе, повязывая галстук. Но, честно говоря, мне с утра показалось, что физиономия моя слишком перепухла от последних впечатлений и, принарядившись, я некоторым образом выправлю положение.

В гостях — может быть, но в родном коллективе такое пижонство только привлекает к тебе внимание. У нас работал один дядька по фамилии Белокопытов, толковейший и редкой трудоспособности специалист. Он неделями не вылезал из геологических фондов и библиотек, вывозя на себе самые сложные задания. Одевался он строго и просто. Поэтому, когда (обычно за несколько дней до сдачи какого-нибудь особо ответственного, министерского отчета) Белокопытов неожиданно появлялся на работе в парадном черном костюме, в скрипучих новых башмаках и белоснежной манишке, над которой багровело его мужественное лицо капитана первого ранга, все в ужасе хваталось за головы: «Валентин в штопоре!»

Четко печатая шаг, он проходил в кабинет начальника и бросал на стол рукопись.

— Ничего не вижу, общей картины не вижу, выводов никаких, рекомендаций тем более. Прощу извинить покорно. Засим кланяюсь.

Немедленно принимались экстренные меры. К Белокопытову приставляли опытных «реаниматоров», которым, благодаря полной изоляции пациента и научно дозированным «соточкам» и пиву, удавалось ровно за сутки до контрольного срока привести его в кондицию. Узнав, какое сегодня число, Белокопытов начинал дрожать. Не от страха, а от стыда. Подрожав пять минут, он просил оставить его одного, садился за стол и не вылезал уже двадцать два часа. Выводы его оказывались, как всегда, безукоризненными, рекомендации бесценными. Закончив труд, он стыдливо передавал его через секретаря, переодевался в серенькую фуфайку и, отлежавшись пару дней, продолжал свою скромную деятельность.

Вспомнив Белокопытова, я сдернул с шеи галстук и убрал в портфель с шестью бутылками «Стрелецкой».

Главный геолог «Нефтеразведки» ввел меня в курс дел. Скважину предпо-

лагалось закончить через полтора месяца. За это время геофизические службы должны провести наземные съемки: сейсмические, электроразведочные, магнитные.

Моя группа выполняла гравиметрические наблюдения. После взрыва съемки повторялись, и по разности геофизических полей определялся эффект воздействия. В частности, по изменению гравитационного поля предполагалось выявить конфигурацию раздробленной зоны — область возможных дополнительных притоков нефти. Съемку я собирался проводить в радиусе двух километров вокруг скважины, и в первую очередь меня интересовала местность, на которой предстояло работать — рельеф, залесенность, гидрография и прочее. Я с интересом поглядывал в окошко. Открывавшаяся внизу картина меня устраивала — жиденькая тайга с частыми обширными прогалами, марями поздешнему, речек почти нет. Никакого жилья по пути за час лета не встретилось, но и назвать девственной эту зеленую пустыню, всю иссеченную уходящими за горизонт просеками сейсмических профилей, никак было нельзя.

Через каждые несколько километров попадались огромные безобразные пятна. Вся растительность вокруг них была содрана и вытравлена на сотни метров. Вертолет летел сейчас совсем низко, и хорошо видны были вросшие в перепаханную землю груды искореженного ржавого металла, полусгнившие доски, бревна, кучи окаменевшего цемента. Засохшие реки бурового раствора, мазута, солярки растекались на все четыре стороны. Встретилось и несколько бурящихся площадок, мало чем отличавшихся от заброшенных. Наш объект можно было распознать издали по торчащим рядом трем буровым вышкам: под боевую скважину, под разведочную, из которой отбирается нефть, и наблюдательную, для регистрации гидродинамических параметров.

Прежде чем сесть на свою площадку, нам пришлось покружить над ней минут пять — место было занято огромным МИ-6. Он висел в десяти метрах над землей, ворочаясь, как бегемот. В клубах поднятой им пыли копошилось несколько работяг. Они цепляли за выпущенный из вертолетного брюха трос вязанку каких-то железяк — отработанных долотьев, насколько можно было разглядеть сверху. И по весу и по объему в утробу «шестерки» мог поместиться груз раз в десять, а то и в двадцать больший, чем этот, но какой же уважающий себя летун упустит возможность выполнить рейс с подвеской, оплачиваемый по высшей группе!

Наконец они улетели, уступив нам деревянный настил.

Настил не уступал в основательности плоту Кон-Тики и был сработан из таких же толстенных бревен, с тем отличием, что это были крепчайшие лиственницы, выдерживающие ежедневное плюханье на них многотонных птичек. Слезать с него не хотелось. Я с сомнением смотрел на свои легкомысленные баретки, ругая себя за то, что не переобулся в вертолете в сапоги. Дождей несколько дней не было, но расстилавшаяся вокруг грязь хоть и обманчиво подсохла сверху, оставалась по-прежнему непролазной.

Оттрубившая свою пятидневку смена гуськом пробиралась к вертолету. Переодетые в «чистое», розовые после бани, они выглядели куда свежее помятых отгулами прибывших товарищей.

Дюжев рассеянно выслушал доклад своего сменного помощника и спросил,

готов ли обед. Тот кивнул на неуклюже взбирающуюся к нам на помост, обвешанную сумками бабеху. Дюжев иронически заметил:

— Ты, Михайловна, на заездку харчей меньше получаешь, чем назад домой тащишь.

Ничуть не смущенная таким прозрачным обвинением в воровстве, Михайловна сгрузила сумки на бревна и, околавывая резиновые ботинки от глины, бойко отрапортовала, что котлеты с лапшой готовы, а борщ должен еще чуть постоять.

— Компот на улице остывает в тенике, — дополнительно сообщила она белокурой красавице Шурочке, прилетевшей ей на замену.

Вдохновленные этой информацией и подгоняемые в спину прибавившим обороты вертолетом (он так и не выключался), мы, ступая след в след, потянулись навстречу своре разномастных псов, приветственно заливавшихся около жилых балков.

Меня всегда слегка подташнивает от всяких местных словечек и узкоспециальных терминов, но, право, глупо же, к примеру, на вопрос Дюжева, не видел ли я Генку-сварщика, отвечать «вон в том домике», и я, конечно, говорю, вон в том *балке*.

Я сейчас не совсем кстати вспомнил вот что. Однажды где-то, кажется, в Фергане, наш шофер, впервые оказавшийся в Азии, восторженно закричал:

— Смотрите, какой ослик!

На что механик Туловский строго ему выговорил:

— Какой это тебе ослик. Это ишак!

Так вот, балками здесь называют всякое временное жилье. И если раньше при этом имелись в виду только полевые вагончики, то теперь и любые сараюшки, сварганенные черт знает из чего и облепившие все северные города — балки, и вполне приличные утепленные щитовые домики на буровых — тоже балки.

В одном таком балке поселились и мы. Спальные мешки у нас были с собой, и оставалось только позаботиться о каких-нибудь лежанках. Вариантов было несколько. Во-первых, обычные железные кровати. Можно было также смастерить деревянные топчаны. И наконец, сколотить общие нары. Как в КПЗ. На чем мы и остановились. Койки, грудой сваленные у крыльца и уже успевшие врасти в землю, при ближайшем рассмотрении нам не понравились. Мы сразу сообразили, что собрать их будет не так-то просто — спинки у них были гнутые-перегнутые, сетки разодраны, а крепежные крючки свернуты набок или вовсе отбиты. Сооружение индивидуальных топчанов требовало определенной квалификации, которая не у всех имелась. Тем более у нас был всего один топор, снятый с пожарного щита. Его мы вручили нашему оператору Мише Цыпилеву, в прошлом вологодскому лесорубу и плотнику, которого хлебом не корми, а дай только помахать родным инструментом.

Сменил Миша специальность после несчастного случая — на него упала тридцатилетняя лиственница, из-под которой его извлекли внешне вроде бы целехонького, но с каким-то таинственным утробным феноменом — полной потерей питейной толерантности. То есть если раньше без видимых последствий

он мог выпивать ведро, то теперь после рюмки становился дурак дураком, — а трезвый остался толковым рассудительным малым с золотыми руками.

К вечеру просторные, хоть танцуй, нары были готовы. Кроме них Миша по моей просьбе соорудил столик и два массивных средневековых стула. На них мы, впрочем, сидели впоследствии редко, предпочитая проводить почти все свободное время на своих уютных полатах. Рассевшись на них в кружок при вечерних свечах за картами, мы смотрелись как горьковские герои. Только беседы вели не такие одухотворенные.

Мы быстро привыкли к своему новому жилью, хотя многое здесь могло показаться диковатым. Прежде всего, конечно, поражал размах. Размах бардака. Вообще-то, любая буровая напоминает богатую свалку, но эта была свалкой просто роскошной. Какого только добра ни скопилось тут за два-три месяца! Когда мы подлетали, мне сверху показалось, что ядерный взрыв уже состоялся, и не под землей, а на поверхности. Завалы из тысяч поваленных деревьев, будто отброшенных могучей взрывной волной, громоздились вокруг расчищенной трелевочными тракторами километровой плещи. По всему пространству, как спички, были рассыпаны трубы, лохматились на ветру разорванные мешки с цементом, катались помятые бочки из-под солярки. Одних тракторов без гусениц торчало полдюжины. Протравленную землю ровным слоем покрывало железо неизвестного мне назначения.

Однако быстро выяснилось, что хаос этот вполне упорядоченный и все здесь лежит на своих местах. Нужен молоток — идешь и выбираешь безо всякого кладовщика из кучи инструмента молоток, нужна арматурная проволока — вытаскиваешь из другой кучи целую бухту проволоки. При таких могучих соучастниках, как МО и Средмаш, с их астрономическими сметами, да при сознании собственной неприкасаемости нелепо экономить на пустяках. Под этот хитрый объект списывалось все что угодно.

В то же время ни заборов вокруг, ни колючки, никакой вообще охраны пока не было. Буровая как буровая. *Персонал* прибывал позже, после окончания бурения и доставки *изделия*. Наша спецскважина не являлась первой такой в Якутии. Многие дюжевские ребята участвовали в бурении предыдущих. В те дочернобыльские времена радиофобия казалась такой же экзотичной, как какая-нибудь элитарная зоофилия. С юмором вспоминали даже аварийную айхальскую скважину. Там при проходке произошел обрыв инструмента, и продолжать бурение пришлось вторым, ответвляющимся стволом.

После спуска заряда скважину обычно цементируют не до поверхности, а метров на сто пятьдесят, и этого оказывается вполне достаточно. Айхальскую скважину надо было закупорить хотя бы до развилки, но этого не сделали.

День «Х» на объекте обставлялся всегда очень торжественно. Из Москвы прилетала государственная комиссия во главе с генералом, прибывали местные партийные и советские руководители, нефтеразведочное начальство. Сразу после взрыва отправлялась успокоительная депеша куда надо — и начинался банкет.

В свое время в Семипалатинске во время праздничного митинга по случаю проведения уникального взрыва раздался звонок из Москвы. На проводе был Берия.

Курчатов сломя голову помчался к телефону:

— Товарищ Берия, докладываю, что испытание заряда мощностью столько-то килотонн прошло успешно...

— Фуй с вашими килотоннами! — перебил Лаврентий Палыч. — А за службу спасибо.

Ободренный Курчатов вернулся на трибуну и под восторженный рев толпы слово в слово передал благодарность своего шефа.

На этот раз телеграмму отправить не успели (правда, по первой выпить удалось). Банкет устраивался прямо на командном пункте, километрах в двух от объекта, с которого к этому времени все эвакуировались. Объявили часовую готовность, получасовую, десятиминутную... все покинули помещения и, с нетерпением поглядывая на часы, алчно косились на бидоны со спиртом. В положенную секунду жестко ударило по каблукам, под землей прокатился грозный рокот, макушки сосен сошлись и снова разошлись, и не успел вздыбленный ручей вернуться в свои берега, как генерал коротко поздравил присутствующих с успехом — и все радостно кинулись со своими кружками к заветным бидонам, а радиационная разведка тронулась на вездеходе к эпицентру.

Не успела она отъехать и десяти метров, как над лесом появилось пыльное облако. Многие сразу и не сообразили, в чем дело. Понеслись истошные команды и началась паника.

Аварийная ситуация была предусмотрена организаторами «эксперимента». В частности, загодя на деревьях прибили дощечки с указанием направления, в котором следовало в случае чего эвакуироваться, то есть попросту драпать, потому как на ходу оказалось всего два вездехода, а народу — человек под сто.

Одна из эвакуирующихся групп, в которой оказался наш главный инженер, входивший в государственную комиссию, взяла курс строго в соответствии с одной из стрелок. С трудом продираясь сквозь мелкий цепкий березнячок и поминутно проваливаясь по яйца в ржавую жижу, они через полчаса выскочили на какую-то буровую, в которой с ужасом узнали свою, развернулись и с воем бросились обратно, преследуемые жутким привидением, возникшим из-под земли.

Привидением оказалась пьяная повариха. За несколько часов до *воздействия* она, уже вывезенная со своей кухней на КП, вспомнила, что забыла на буровой какие-то харчи. Тракторист, вызвавшийся с ней туда съездить, потребовал за услугу стакан. Бутылка у поварихи нашлась. Выпив ее прямо над зависшим в недрах смертоносным зарядом, она захотела любви. Наспех удовлетворив ее несвоевременные сексуальные претензии, тракторист заторопился домой. Оскорбленная повариха послала его к черту и сказала, что пойдет пешком. Когда он уехал, она допила свою заначку и через четверть часа заснула в пьяных слезах.

Проснулась бедная женщина от страшного грохота. На голову ей сыпались срывавшиеся полки. Балок ее скакал как козлик. На улице стояла неизвестно откуда взявшаяся пыль.

Очень хотелось писать. Деревянный клозет лежал на боку, заляпанный нечистотами. Она спустила трусы, села под крыльцо и протяжно, по-бабьи

завыла. Тут на нее и выскочила группа под предводительством главного инженера.

Потом говорили, что задница поварихи облучилась сильнее всего и была даже обожжена. Это, конечно, уже анекдот. Однако медицинскому освидетельствованию подверглись тогда все, кто оказался тогда на объекте, а некоторые, включая любвеобильную повариху, лежали и в стационаре.

Что с поварихой сейчас — неизвестно. А вот наш бывший главный инженер жив-здоров. Полгода назад мы с ним гуляли на одном юбилее.

История с айхальской скважиной меня обнадежила. Я подумал, что если выброс произошел через заброшенный ствол, то образующаяся зона трещиноватости составляет вовсе не первые десятки метров, как убеждали средмашевцы, а как минимум сотни, и будет хорошо проявляться в гравитационном поле.

Пока нам требовалось самым подробным образом заснять исходное фоновое поле. Для этого измерения проводились по несколько раз. Времени до взрыва оставалось еще достаточно — месяца полтора, и это позволяло нам на досуге активно приобщаться к местным светским радостям — рыбалке, сбору грибов и ягод, участию в приготовлении и употреблении бражки, карточным баталиям.

Ягод и грибов вокруг буровой было море. Заготовка данайских лесных даров шла у нас полным ходом. Одну бруснику, пик сбора которой пришелся как раз на дни, последовавшие за взрывом, волокли домой пудами.

Это потом, с помощью эманационной трековой съемки, мы обнаружили, что на чувствительных пленочках, помещаемых в почву, появляются многочисленные зловещие следы альфа-частиц, а тогда легкомысленно удовлетворялись вполне допустимыми показаниями обычных дозиметров, которые до сих пор для успокоения общественности суют под нос надоедливый «зеленый».

Оправдание ли, что я потчевал в Москве своих друзей двести тридцать пятым ураном неволью? Вдоволь накушались мы, по-видимому, и трития, содержание которого, как потом выяснилось, увеличивалось в близлежащем ручье после *воздействия* на несколько *порядков*. Воду из него мы пили ежедневно, а вот рыбы там, слава богу, почти не было, за исключением голяна — лягушачьего цвета рыбешки, расплзавшейся на сковородке, как медуза.

На рыбалку мы ходили за десять километров на Ботуоби. На финише утомительного маршрута по болотистым сенокосам, в единственной от Ленска до Мирного деревушке с почти эстонским названием Таас-Юрях, был магазин. И магазин по тем временам был богат. На прилавках свободно стояли бутылки с водкой, спиртом, зубровкой(!), банки с цыпленком в собственном соку(!!). Правда, в период заготовки сена (пополам с плутонием) аборигенам, работникам молочного хозяйства, во избежание срыва сенокоса спиртное продавать запрещалось, и они вынуждены были обращаться по этому насущному вопросу к нам. Мы с удовольствием их выручали. В благодарность они почти даром предлагали нам ондатровые шкурки, которыми я впоследствии, дуралей эдакий, расплачивался с московскими таксистами...

Впрочем, мы не злоупотребляли затруднительным положением страждущих

животноводов, тем более что я по случаю запасаюсь рекомендательным письмом к таас-юряхскому егерю: письмом от начальника следственного отдела ленской милиции, с которым я подружился на вертолетной площадке. Узнав, куда мы летим, он после второй предложил мне по «шкурным» проблемам запросто обращаться к его таежному родственнику.

Для убедительности и в целях конспирации я его попросил записку непременно написать на якутском языке. Наморщив лоб, симпатичный майор справился с этим неожиданным заданием. Записка была написана четким протокольным почерком.

Егерь оказался мужиком приветливым, но почему-то с большим воодушевлением рассказывал о своей язве и о недавней поездке на воды в Эссентуки, чем о родном лесе и вверенных ему зверюшках. Язва, однако, не мешала ему пить наравне с нами.

А пить на рыбалке приходилось в лошадиных дозах. Кстати, о лошадках. Они паслись прямо около магазина. Мохнатые, похожие на пони-переростков, способные переносить шестидесятиградусные морозы, они тем не менее производили впечатление южных существ. Так вот, пить на рыбалке приходилось много потому, что водки по дороге на реку покупалось столько, сколько можно унести. Себе по бутылке, а остальное буровикам, у которых был непрерывный цикл и бегать в деревню было особо некогда. Разумнее было бы выполнять их заказы на обратном пути, но смущали опасения, что на следующий день магазин окажется закрыт, и мотайся потом по всей деревне, ищи продащицу.

К утру, конечно, выхлебывалось все до капли. Причины находились самые разнообразные — то была высокая вода и, соответственно, плохой клев, то начинал моросить дождик, то, наоборот, над головой распахивалось такое бездонное ночное небо, что для самосохранения требовалось немедленно воодушевиться.

Однажды мы попали на сельский праздник. Вдоль главной и единственной улицы расставили столы с бесплатными кушаньями. Запомнились леши, фаршированные кашей. Оживление царило и на обычно пустынной реке. Неподалеку от нас гуляла шумная компания на нескольких мотоциклах и на непонятно как попавших сюда «жигулях». Отправленный к ним за какой-то мелочью красавец Витюша застрял там минут на сорок. Вернулся он не один, а в сопровождении очаровательной юной якуточки и добродушных и хмельных ее старших сородичей, облаченных в строгие темные костюмы. Витюша немедленно вскрыл все имевшиеся у нас консервные банки и вывернул на траву рюкзак с бутылками. Травы была мокрая, а гости наши выряжены, словно на областную конференцию партхозактива, а не на рыбалку, и пить с ними пришлось стоя, как на фуршете. Только галантный Витюша усадил свою барышню на небрежно сброшенную с плеч курточку, а сам плюхнулся рядом прямо в глину.

Узнав, кто мы и откуда, якуты представились более официально. Послышались какие-то уездные титулы. Отец якуточки, гостивший тут у своих деревенских родственников, оказался кем-то вроде министра здравоохранения. Самого его звали как положено — Иваном Даниловичем, и остальных соответственно, то есть именами из православных святцев, а вот среди молодежи здесь все больше преобладали Альберты и Эдики.

Магическое слово «Москва» произвело на чиновников свое обычное действие. Иван Данилович отдал короткие распоряжения, и автомобиль запрыгал по кочкам в сторону деревни по единственной проезжей летней «трассе». Чем нас только в тот день не угощали. К середине дня Витюша числился уже официальным женихом. Костин, расписывая Витюшины добродетели, величал Ивана Даниловича кумом. Багровый Иван Данилович туманно намекал на свои необъятные возможности, а дядья невесты обещали настрелять ей к свадьбе соболей на такую шубу, какая не снилась и английской королеве.

Наша таинственная деятельность на их земле внушала хозяевам одновременно глубочайшее почтение и священный ужас. Звучали здравицы в нашу честь — в честь носителей прогресса и гарантов будущего процветания этого края. Сегодня нас в таком качестве угостили бы разве что картофелем, ну, в лучшем случае, дробью, третьим номером. Вот он — стремительный рост национального самосознания.

На обратном пути, размякший от избытка чувств, пятипудовый жених то и дело выскальзывал у нас из рук, и его через каждые сто метров приходилось укладывать на зыбкие кочки, торчавшие из бескрайнего болота. Время от времени он жалобно стонал и звал невесту. Наверное, нам следовало оставить его с ней навсегда. Может быть, тогда его судьба сложилась бы иначе и ему не пришлось бы два года мучиться со своей шалавой из Балашихи. Впрочем, он и сегодня неплохо поживает.

На подходе к буровой обнаружилась пропажа рюкзака с водкой и прочими таас-юряхскими гостинцами. Видимо, мы потеряли его где-то по дороге, перекладывая Витюшу с рук на руки. Совсем некстати. Во-первых, нас ждали страждущие товарищи, а потом, нам и самим после всех походных тягот не помешало бы перед сном по кружке чего-нибудь эдакого. Возвращаться назад сил ни у кого не было. Однако неожиданно все разрешилось как нельзя лучше.

Буровая встретила нас не обычным своим дизельным тархтением, а залихватскими частушками и слоновьим топотом. По всему было видно, что гуляют не первый час. Вместе с вахтой, поменявшейся днем, прилетело несколько отпускников, покрытых золотым украинским загаром и нагруженных корзинами с окороками, копчеными курами, соленьями, вареньями и самогоном, самогоном, самогоном: абрикосовым, грушевым, сливовым... Отпускники все как на подбор оказались холостяками и, не в пример женатым запасливым куркулям, вывалили все на стол.

Но даже такое радостное событие, как встреча товарищей, не могло быть, конечно, достаточным поводом для остановки буровой. Ее заглушили по иной причине. Вместе с вахтой прибыл главный инженер экспедиции. Я был о нем уже достаточно слышан, однако очное знакомство пришлось отложить до утра. Главный инженер к нашему приходу уже «отдыхал» в бригадирском балке. Он так храпел, что оранжевая пластмассовая каска, которой Дюжев прикрыл его лицо от комаров, подпрыгивала, как циклопическая божья коровка.

— Не повезло нашему Виктору Сергеевичу, — сочувственно сказал Дюжев, кивнув на каску и наполняя кружки. — А как в прошлом году все завидовали! В Штаты мужика послали на два месяца, осваивать новую технику, закупаемую у американцев по договору. Вот и привез он на свою голову эту бандуру. То ли,

действительно, агрегат такой сложный, то ли Сергеич полный дуб, но не фурычит он и все тут. В общем-то, он нам и не очень нужен — автоматический контроль за состоянием бурраствора. Лаборантка и так справляется, но Сазонов, начальник наш, взбесился, никак не успокоится, что его не взяли в Америку, полгода Сергеича на голом окладе держит, кричит: «Надо было учиться там, а не по лавкам бегать!» Стереосистемы, что он себе оттуда привез, у него, мол, как часы работают, а шарманку эту завести не может. Сергеич хотел даже на пенсию соскочить, северный стаж ему позволяет, Сазонов ни в какую — в джинсах ему, старому пердуну, ходить не стыдно, это он молодой, а как за работу отчитаться, так вспомнил про свои пятьдесят пять. Сергеич уж и в Нижневартовск летал, консультировался с тамошними ребятами, у них такая же штука, вернулся и сразу к нам, понял, говорит, где собака зарыта. А тут новая беда — пока он чухался, кто-то оттуда кой-чего успел отвернуть. В общем-то, ничего особенного — пару манометров (красивые, правда, черти были, блестели, как елочные игрушки) да какой-то рычаг из цветного пластика, но Сергеич вой поднял на весь лес, посажу тебя — меня то есть. Не смейши народ, говорю, Сергеич. Я твою хреновину не принимал и вообще знать не знаю и видеть не видел, а тебе по дружбе вот что скажу — это счастье твое, что так получилось. Теперь с тебя взятки гладки. Ты для верности с нее еще что-нибудь посущественнее открути — и в ручей. И вали все на этот содом и геморрой. Это же не буровая, а проходной двор, тут публика собралась, я насчитал, из десяти организаций. Сергеич — мужик ушлый, сразу скумекал, что дело говорю, повеселел, ну и на радостях перебрал слегка...

Сергеич, как бы подтверждая сказанное, так оглушительно хрюкнул, что каска слетела с его умиротворенного лица и, вихляя, покатила по бугристому линолеуму к нашим ногам.

Наутро я проснулся от пения птичек. Буровая по-прежнему молчала.

— Наконец-то! Хоть одна живая душа появилась, — улыбнулась мне на кухне Шурочка. — Я думала, вы все там поумирали. Кушать будете? А то кваску холодного.

Родом Шурочка была из Нежина. При знакомстве я добился ее расположения, воспользовавшись запрещенным приемом — поинтересовался не знаменитыми огурчиками, которыми ее все доставали, а нежинской гоголевской гимназией.

Даже в поварском бязевом халате выглядела Шурочка ничуть не хуже Милен Демонжо в ее лучшие годы. Понятно, что такая красотка недолго сидела в девках и в скором времени вышла замуж за процветающего передовика производства, но также быстро и осталась вдовой.

Ее бедный супруг, не выдержав пыток ревности, через полгода повесился на своем дизеле, прямо на буровой — правда, не нашей, на другом номере. Святой истинный крест, как божился Петя Бачей. В Ленске вам подтвердят каждое мое слово.

В этом скромном городке кипят порой прямо-таки шекспировские страсти. Вот жуткий случай.

Зазевавшегося помбура при подъеме инструмента трахнуло по голове увесистой болванкой, и он оказался в больнице. Жил бедолага с молодой женой

и восьмидесятилетним отцом, подрабатывавшим сторожем на складе в речпорту. Как-то угораздило его, деда то есть, вернуться домой в неурочное время. Он с порога повел своим длинным чутким носом и кряхтя стал стаскивать валенки: «Прокурила весь дом, сучка». Войдя в комнату, он громко выругался — на столе громоздились грязные тарелки, сковородка с засохшей картошкой, миска с капустой и с солеными огурцами, бутылки. В консервной банке плавали мало отличимые друг от друга бычки — морские и сигаретные. Водочная бутылка была пуста, а в винной граммов двести оставалось. «Опять своих ссыкух с работы приводила», — пробурчал дед, допил винчишко и, уже несколько смягченный, присел к столу, соображая, чем бы закусить.

Из-за стены доносилось мирное посапывание. Дед наострил свои мохнатые ушки, прислушиваясь то ли к храпу, то ли к самому себе, неопределенно хмыкнул и, прошлепав прямо в носках по несвежему полу, заглянул в комнату молодых. Разметав по высокой смятой постели свои сучьи прелести, с запрокинутой, как у закланной овечки, кудрявой головой блаженно скалилась во сне его невестка Верка. Старик всхлипнул и схватился за дверной косяк. Он глядел и глядел, не в силах отвести своих утопленных блеклых глазок от щедро вывернутых ему навстречу неостывших бедер, от блестевшего в полумраке влажного живота. Одно колено Верка свободно отвернула в сторону, а второе высоко забросила на приткнувшегося у нее под боком мосластого темнотелого малого, совсем не похожего на его Лешку. Одной лапкой она ухватила его за дремлющий, но весьма грозный хоботок, другой стискивала свое грешное сокровище.

Наконец дед отвернулся и на цыпочках вышел из спальни. Через минуту он вернулся с топором и безжалостно изрубил в лапшу спящих любовников.

Спустя час изуродованные тела, завернутые в клетчатые китайские одеяла, доставили в больничный морг. Санитары поставили носилки на землю и пошли в главный корпус за ключами.

— Кого привезли, мужики? — посторонившись на узком крылечке, поинтересовался один из перекуривавших тут ходячих больных.

— Покойников, — равнодушно ответил санитар.

Толкавшийся здесь же Лешка не отрываясь глядел на свои такие знакомые одеяла — желтое и зеленое.

Поначалу городское общественное мнение было на стороне отца. Всем был понятен его праведный гнев. Туда ей, паскуде, и дорога. Мужик на буровой горбатится, здоровье гробит, а она, тварюга, его постель поганит. Парнишку того, конечно, жалко, но тут уж...

Адвокат, которого Лешка привез из Иркутска за большие деньги — тут и экспедиция помогла — обещал, что старик, с учетом возраста, оскорбленных отцовских чувств, болезни сына, отделается условным сроком. Но неожиданно открылись новые обстоятельства. Долго крепившаяся Веркина подруга не выдержала и пошла к следователю. С ее слов вдовый дед уже год сам жил с невесткой. Соблазнил он ее золотыми побрякушками, до которых Верка была падка. От Лешки она их, понятно, прятала, а перед подружкой похвасталась — а потом и в остальном призналась.

В доме сделали обыск и нашли Веркин тайничок, а там и продавщица

ювелирного отдела опознала убийцу. В итоге, несмотря на адвоката, который уже ничем помочь не мог, а только чуть совсем не угробил дело своими неуместными историческими экскурсами на суде, ссылками на трагические персонажи мировой литературы и на раблезианский темперамент подзащитного, совершенно беспрецедентный для его возраста, деду впаяли червонец.

Когда мы закончили первую, фоновую часть наблюдений, до намеченного события оставалось еще недели две, и можно было бы на это время съездить погулять в Ленск, но в тот первый раз нам непременно хотелось взглянуть на таинственное *изделие* собственными глазами.

Наконец мы смогли удовлетворить свою пытливость. Под аккомпанемент немислимого четырехэтажного мата, утверждавшего высшую степень принимаемых предосторожностей, из вертолета в заранее сколоченный и огороженный колючей проволокой сарайчик с часовым перетащили невзрачный брезентовый куль. Там он и лежал, пока велись последние приготовления к спуску. При каждом появлении вблизи поста штатского часовой с надеждой кидался к ограде с просьбой закурить. Видимо, на разводе сигареты у них отбирали. Дело было вовсе не в опасении, что по неосторожности запалят бомбу — просто по уставу на любом посту курить не положено. А с бомбой, как нам объяснили, ничего случиться не могло, хоть в костер ее кидай, хоть клади под молот. В последнем мы убедились, когда у нас на одном из следующих объектов она при спуске возьми и застрянь. Ни туда ни сюда. Пришлось по ней сверху потюкать каротажным шаблоном, чтобы протолкнуть дальше.

Еще любопытнее было узнать, что *изделие*, во всяком случае, с трех метров, на которые мы к нему подходили, не испускает ни малейшего гамма-излучения. Дозиметр на него не реагировал, а возможные электрончики и нейтрончики, вероятно, задерживались его металлической скорлупой. Мы успокоились за караульных, пользовавшихся на своих многочасовых постах только такими призрачными средствами защиты, как накомарники.

Через несколько дней произошла церемониальная перевозка *изделия* к месту захоронения. Мимо нашего балка к скважине с похоронной скоростью проследовали сани с продолговатым, похожим на гроб ящиком, облепленным, словно близкими родственниками покойного, средними офицерскими чинами. Старший процессии распластался на брезентовом теле, как безутешная вдова. За санями понуро плелось отделение солдат, которых можно было принять за племянников усопшего.

Ничего интересного в оставшееся до дня «Х» время больше не предвиделось, и мы первым же вертолетом улетели в Ленск, где неожиданно застряли. Причины на то, разумеется, были самые веские. Мы заранее составили на эти дни обширную программу, включавшую посещение краеведческого музея, библиотеки и двух очень приличных книжных магазинов.

Чтобы избежать нежелательных соблазнов, связанных с баньками-маньками (выражение Дюжева), мы поселились не в экспедиционном гостевом особнячке, а в городской гостинице. И попали, как говорится, из огня да в полымя. К вечеру в коридорах этого ничем не примечательного двухэтажного клоповника звонко зазвенели колокольчики и ритмично зацокали девичьи

каблучки. Гостиница оказалась забита абитуриентками, съехавшимися из соседних районов для сдачи вступительных экзаменов выездной приемной комиссии Братского индустриального института.

Почему эти резвые создания так дружно накинулись на это достаточно унылое учебное заведение, непонятно, зато быстро выяснилось, что все наши хваленые орденоносные ансамбли песен и плясок в сравнении с ними всего лишь заунывные капеллы бандуристов. Нескончаемый карнавал, на который мы попали, подпитывался ежедневными триумфами и провалами на очередных экзаменах. Гостиница не засыпала ни на минуту. Лишь по утрам наступало короткое затишье, вскоре нарушаемое шорохом шпаргалок и юбок. Администрация гостиницы, сплошь состоящая из женщин климактерического возраста, была в полном расстройстве и пыталась бороться с рвущимися к знаниям ветреницами силовыми методами. Однако без особого успеха. Оперативно прибывавшие по их вызову румяные сержанты галантно подсаживали хохочущих девушек в свои зарешеченные кареты, но увозили не в участок, а на ночной берег Лены угощать шоколадом.

Но, конечно, даже эти блестящие мундиры не выдерживали никакой конкуренции с моими молодцами. Поход в краеведческий музей пришлось отложить.

Барышни были очень милы, но меня настораживало, что они совсем не занимаются. Правда, ежедневно проверяя их экзаменационные листки, я обнаружил прямую зависимость между средним баллом их мордашек и успеваемостью, находящуюся в полном соответствии с чеховской сентенцией о необходимости гармонической связи красоты человеческих мыслей, лица и всего прочего. Я успокоился, убедившись, что нас окружают сплошные отличницы.

Возникла другая тревога — кончались деньги. Гармоничные отличницы обладали отменным аппетитом, а всем напиткам предпочитали шампанское. Улететь на объект, где кормили в долг, и там дожидаться очередного перевода из Москвы до окончания экзаменов и решения судеб своих протехе было не по-рыцарски, и мне оставалось одно — ежедневно бегать на почту и тратить там последние рубли на телеграммы в родимую бухгалтерию.

Перевод пришел в день последнего экзамена, так что прощальный банкет удался вполне. А на следующий день мы опять остались на мели. Это бы ничего. Но тут испортилась погода, и аэропорт закрылся. А гостиница между тем наполнилась участниками очередного межрайонного мероприятия. В канун нового школьного сезона в Ленске открылось совещание сельских учителей (читай учительниц).

Вместе с погодой у нас испортилось настроение. Участницы слета отличались одновременно сентиментальностью и агрессивностью, а шампанскому предпочитали сладкие крепленые вина, почему-то считающиеся дамскими, после которых у нас адски трещала голова. Когда наконец аэропорт открыли, выяснилась новая неприятность — витязи мои, которые, оказывается, на халяву не пьют, нахватали у учительниц долгов, и пришлось задержаться до следующего перевода еще на несколько дней.

Наши переживания из-за невольной задержки могли сравниться разве что с терзаниями одной очень нервной интеллигентной дамы с нашего этажа,

которая спешила куда-то под Нерюнгри, на свидание со своим мужем-заключенным. В первые дни непогоды она, заламывая тонкие пальцы, неустанно ходила по сумрачному скрипучему гостиничному коридору и ежечасно звонила в аэропорт. Метеослужба давала сведения с каждым разом все более неутешительные. Возвращавшийся из буфета Володя Костин столкнулся с ней, когда она была на грани отчаяния.

— Погода сама по себе никогда не наладится, сударыня. Ее надо делать, — внушительно сказал он, помахивая четырьмя бутылками «Алабашлы». — Иначе фронт окклюзии не сдвинется ни на один сантиметр.

Он понес обескураженной женщине какую-то метеорологическую околесицу, после которой без всякого перехода пригласил подключиться к процессу восстановления летной погоды. Дама неожиданно согласилась.

— Это Лидочка — преподаватель истории и моя соседка. А меня зовут Наталья Викторовна, — объявила она, появившись у нас в номере через несколько минут.

С Лидочкой мы уже были знакомы. За последние три дня ей пришлось услышать от Костина историй больше, чем за пять лет профессионального изучения своего любимого предмета.

Готовая решительно на все ради скорейшей встречи со своим опальным страдальцем, Наталья Викторовна принялась за бурое зелье с таким энтузиазмом, что мы только диву давались. Ее декабристская самоотверженность была вознаграждена, и дня через три в наших окошках заблестело солнышко. Я предложил отвезти ее в аэропорт. Наталья Викторовна сказала, что плохо выглядит и не может в таком виде показаться перед несчастным супругом.

Через пару дней я осторожно вернулся к этой теме.

— Ничего, подождет, — раздраженно сказала соломенная вдова, — мне его дольше ждать придется, двенадцать лет.

— Убийство? — почтительно спросили мы хором.

— Девяносто вторая часть вторая, — ответила Наталья Викторовна.

Костин с фальшивой брезгливостью отбросил кусок копченой колбасы, изначально предназначавшейся расхитителю социалистической собственности.

— Я отказываюсь закусывать на ворованные деньги!

— Успокойтесь, Володя. Павлик оставил меня нищей после конфискации. Сейчас я вынуждена сама заботиться о хлебе насущном.

Костин скептически покосился на ее жемчужное ожерелье, но колбасу со стола подобрал и принялся задумчиво жевать.

Коротал непогоду в нашей компании и некий Альберт Сергеевич, юрист-консульт из Якутска. Он обладал уникальной способностью, несмотря на довольно щедущее телосложение, моментально утихомиривать наиболее разгулявшихся постояльцев любого пола. Более того, он в секунду укладывал их в постель, одним неуловимым движением полностью вытряхивая из одежды. Оказалось, это не врожденный талант, а высочайшая квалификация, приобретенная за годы службы начальником вытрезвителя.

К открытию буфета (семь тридцать утра) он всегда уже был тщательно выбрит, аккуратно причесан и вообще настолько выгодно контрастировал с небольшой неопрятной очередью, собиравшейся к этому часу у буфетных

дверей, что неизменно с безоговорочным почтением его пропускали к стойке первым. Через минуту с бодрым кличем «Рота, подъем!» он, сияя, врвался к нам и бухал на стол «затравочную» бутылку «Айгешата».

Гвардейская выправка нашего нового товарища произвела на Наталью Викторовну, разочаровавшуюся в номенклатурных жуликах, такое неотразимое впечатление, что она временно прекратила ежедневную перерегистрацию своего авиационного билета.

Взрыв тем временем все откладывали. Несколько раз его переносили по метеоусловиям — ждали летной погоды и благоприятного направления ветра. Трудно сказать, что при этом понималось под «благоприятным». Каждый раз на первый план выплывали какие-то особые конъюнктурные соображения. В восемьдесят седьмом году один из взрывов назначили на пятое августа. В последний момент вспомнили, что шестого — день Хиросимы. Некрасиво как-то. На неделю сдвинули. У комиссии зуд от нетерпения — как бы шарахнуть побыстрее и смотаться домой. На ежедневных оперативках докладывали готовность всех служб. Дождавшийся своей очереди метеоролог бойко шуршал синоптическими картами, прогнозировал температуру, давление, направление ветра.

— Куда это? — спросил про ветер председатель.

— Туда, — неопределенно махнул метеоролог, — в сторону Японии.

— Японии? — встрепнулся председатель.

— Хотя нет, скорее на Китай...

Все сразу успокоились. То, что по дороге две тысячи километров родной территории, никого не смущало.

На кого решили направить облако в случае выброса в тот наш первый приезд, неизвестно, я это историческое собрание пропустил. Мы в это время обсуждали более актуальную проблему — современное состояние нашей пенитенциарной системы. Дантист из соседнего номера, возвращавшийся из заключения, доказывал, что главное в зоне — иметь верную специальность.

— Я вот этими самыми руками, — вытягивал он над столом свои длинные нервные пальцы, — за пачку «индюшки» в секунду снимал без всяких инструментов любую золотую коронку.

Джентльмен Альберт Сергеевич успокаивал Наталью Викторовну, уверяя, что в наши дни зоны превратились в «курорты отдыха».

Наконец отголоски долгожданного взрыва донеслись до Ленска дребезжаньем посуды в кухонных шкафчиках бюргерских домов. В гостиничном бедламе даже такое не совсем ординарное событие на фоне круглосуточного звона граненых стаканов осталось незамеченным. Здесь не слышали бы и семибального землетрясения, разразившегося под окнами. Мы попрощались с нашими новыми друзьями, за неимением «Столичной», которая «хороша от стронция», загрузились «Айгешатом» и вылетели на свой номер.

Вылезали мы из вертолета не без некоторого трепета. Против обыкновения к нему никто не вышел. Вокруг — тишь да гладь. Мы прошли по балкам. Одного живого нашли. Это оказался средмашевский инженер-дозиметрист Сашка Сычев. Он лежал поверх одеяла и читал «Историю морского пиратства». Остальные пять-шесть человек, оставшиеся на объекте, находились в анабиозе.

Дух в опочивальнях стоял такой, что после него и зал ожидания Казанского вокзала показался бы кисловодским Храмом воздуха.

— Что это у них в бутылках такое сиреневое? На голубике, что ли, настаивали? — спросил я у Сашки.

Он посмотрел на меня как-то странно и ничего не ответил, принимая, как объяснил позже, за провокатора. Ведь не может же человек, доживший до тридцати с лишним лет, не знать, что такое денатурат.

Действительно, это был совершенно непростительный пробел в моем питейном образовании. Чего только мне в жизни не приходилось пить, например, аэрофлотовскую, точнее, вэвэсовскую «массандру», а вот денатурат я даже не знал как выглядит.

Сашка Сычев, несмотря на свою отчаянную (или легкомысленную) специальность, ревностно следил за здоровьем. Не курил и не пил, круглогодично обливался из ведра ледяной водой, а зимой купался в проруби. Приезжая на объект, он первым делом оборудовал себе «железный уголок» — собирал из колес и шестеренок штангу и гантели, сколачивал наклонную доску и турник — и качался.

Сашка мог выпить иной раз рюмку-другую коньяку, но о денатурате, разумеется, и речи идти не могло. Он отказался и от «Айгешата», но охотно посидел с нами на кухне, похлебывая чаек и рассказывая последние новости.

Взрыв прошел удачно. Полный камуфлет, как выразился Сашка. Уровни радиации у устья скважины не превышают фоновых значений.

— Чего ж ты тут киснешь? — спросил я.

— У меня здесь большая программа. Завтра начнем пробное стравливание газа из разведочной скважины, и по изменениям концентраций изотопов ксенона и криптона можно будет, используя специальную методику, судить в определенной степени о результатах воздействия.

— А газ не заразный? — спросили мы.

— Углеводороды при облучении не становятся радиоактивными, — объяснил Сашка и был прав.

Но он забыл сказать, что вместе с газом из скважины прет вода с тритием, песок с цезием и так далее. Все эти подробности я узнал значительно позже, а тогда сидел напротив пышущего здоровьем Сашки, который мотался по таким объектам уже лет пять, и расспрашивал его не о каких-то безликих благородных газах, а о прошедшем банкете.

— Банкет? — брезгливо сморщился Сашка. — Обыкновенная свинская попойка. Сначала хлестали чистый спирт, потом перешли на это, — он кивнул на четверть с денатуратом. — Не брезговали даже специалисты и старшие офицеры. Заблевали всю округу. Если тут теперь завянет лес — радионуклиды ни при чем. Хорошо хоть солдатиков вывезли в первый же день с глаз долой. Сейчас на объекте осталась бригада ленских нефтяников-испытателей, которыми руководит наш инженер, я плюс дизелист с поварихой. И теперь вот вы.

Конечно, даже в ту пору своей, так сказать, радиоэкологической девственности меня не могла не удивлять полнейшая Сашкина безмятежность, с какой он часами колдовал в своем лабораторном сарайчике с бутылками со зловещими пробами очагового конденсата, сочившегося по обрубленному хвосту боевого

кабеля, или спокойно крутил вентиль разведочной скважины, регулируя выпускаемую струю. Успокаивали нас больше не показания его счетчиков, а сам факт его благополучного существования при такой работе. Действительно, не камикадзе же он и не мудака же полный, в конце концов. Нет, конечно! И выглядел он — дай Бог каждому.

И вообще, нас беспокоили проблемы посерьезнее — зарядившие дожди. Мы еще резвее забегали по своим точкам, используя каждый относительно погожий час.

Наконец в течение буквально суток температура упала градусов на пятнадцать. Раскисшие профили сковало морозом, и ходить по ним стало легко, как по асфальту. Про комаров мы уже и забыли. В общем, не работа, а одно удовольствие.

Выпавший через несколько дней снег запорошил оставшееся после эксперимента безобразие, и наша поляна стала выглядеть очень даже симпатично. От оставшейся под снегом брусники отпечатывались кровавые следы, напоминавшие мизантропу Костину босые пятки Зои Космодемьянской.

С наступлением холодов возникла одна бытовая трудность, замерз водопровод, тянувшийся от ручья. На действующих буровых его, наверное, как-то утепляют, а нам теперь приходилось носить воду на кухню ведрами. Придя в очередной раз на ручей, я обратил внимание на нефтяное пятно, плававшее в полынье.

— Смотри-ка, — сказал я бывшему со мной Коле Захарову, — нефтишка прямо из земли стала бить. Вот это интенсификация!

Шутка моя оказалась неудачной. Коля всполошился настолько, что отказался в оставшиеся дни есть и пить. Дизелист поймал Колю на слове и застолбил его порцию вареников с брусникой, ожидавших на обед. Умяв свой тазик с двойной порцией, он, утирая со лба обильную росу, лукаво сказал поварихе:

— Пойди позови его хоть борща похлебать, пока не поздно. Пусть не волнуется за свою машинку. А в ручье я с утра ведра из-под солярки мыл.

Все с облегчением заржали, а громче всех Сашка Сычев, еще минуту назад солидно объяснявший, что даже если немного нефти и было выдавлено по некой трещине, то профильтрованная через километровую толщу пород она не представляла никакой угрозы.

Услышав про ведра, Коля пошел не на кухню, а отправился опять на ручей. Через час он вернулся и сказал, что дизелист тут ни при чем. Он продолбил еще одну прорубь выше по течению, и там через полчаса образовалась такая же пленочка.

— Ты, Николай, по миру-то ходи, а херню не городи, — философски заметил ему дизелист. — По этому ручью выше еще две буровых стоят, вот в нем, кроме гольяна, давно уже ничего и не плавает.

— Не знаю, не знаю, — хмурился упрямый Коля. — Раньше я там ничего такого не замечал.

— Ну, как знаешь. На ужин Степановна чебуреки затеяла, так что уступай их мне, а сам у меня под койкой возьми пару банок фарша колбасного — НЗ мой. Не то тебя в вертолет вперед ногами нести придется.

В оставшиеся дни ничего кроме фарша с хлебом Коля не ел, а воду для чая

топил из снега, сгребаемого с крыш балков. В свое время Коля служил на Тихоокеанском флоте, матросом-сигнальщиком на «морском охотнике». Будучи наслышанными о его боевых подвигах, мы остерегались с ним шутить.

Первое самостоятельное дежурство выпало ему в штормовую ночь. Острое зрение помогло в потемках разглядеть силуэт незнакомого судна. На его сигналы «Кто идет?» оно сначала не отвечало, а потом просемафорило — «Тетюхе»¹. Слабый в географии Коля решил, что это нарушитель-японец, и врубил боевую тревогу. Разбуженный командир был очень недоволен. Спустя недели две Коля стоял на берегу, в карауле. К посту приблизился возвращавшийся из увольнения хмельной матрос Бойко.

— Стой, кто идет? — строго крикнул Коля.

— Тетюхе, — отвечал, продолжая на него идти, Бойко. — Дай закурить.

Коля взял наперевес карабин с примкнутым штыком и снова крикнул:

— Бойко, стой!

Бойко повезло — штык, пропоров бушлат, прошел у него под мышкой. В общем, переубедить Колю в чем-либо было непросто, и мы оставили его в покое. Лишь Степановна на правах дамы позволяла себе вольности и при встрече пыталась ухватить его за штаны, игриво предлагая:

— А ну-ка, Коленька, дай-ка я проверю твою радиацию.

Голодать ему пришлось недолго. Съемку к этому времени мы уже заканчивали, и через три дня за нами прислали вертолет.

Результаты наших наблюдений оказались довольно неожиданными. Я вообще ничего вразумительного получить не надеялся, ведь средмашевские идеологи метода утверждали, что в результате воздействия в гипоцентре образуется изолированная, практически герметичная, оплавленная по краям полость, не превышающая радиусом первые десятки метров даже при самом мощном взрыве (до ста пятидесяти килотонн по международному договору). Гравитационный эффект от такого аномалиеобразующего источника с глубины в один-два километра сопоставим с погрешностью используемой аппаратуры.

В действительности по нашим материалам выделялась четкая значимая аномалия, обусловленная появившейся зоной трещиноватости, протяженностью в несколько сот метров. Из-за анизотропности пород она вытягивалась в определенном направлении. Появлялась возможность контролировать возникавшую после воздействия область повышенной проницаемости, перспективную для извлечения дополнительных объемов углеводородного продукта. В свою очередь специальная сейсморазведка (так называемый сейсмический локатор бокового обзора) тоже обнаружила аналогичный эффект. Практически же притоки после взрывов иногда, действительно, увеличивались, а иногда нет. Более того, часто в соседних скважинах нефть вообще пропадала. И все-таки авторы проекта упорно настаивали на технологических и экономических выгодах своей затеи.

Хотя наши результаты, несмотря на всю их кажущуюся успешность, насторожили заказчиков — очаг-то воздействия получался никакой не изолиро-

¹ Советский поселок на Дальнем Востоке.

ванный, и вся их дрянь могла по пластовым водам растекаться на все четыре стороны, они приняли нас в постоянные соучастники. Расширилась география наших поездок — Архангельская область, Тюменский север, Нижнее Заволжье, ну и, конечно, Семипалатинск. По-прежнему наведывались мы и в Якутию. Интересно было выяснить динамику геологических процессов в очаговой зоне.

Помимо допотопной средмашевской дозиметрии выполнялись наши высокоточные радиометрические исследования. Гамма-съемка, как и ожидалось, ничего не выявляла. Однако тщательный анализ проб почвы и воды обнаружил высокое содержание сто тридцать седьмого цезия и трития, являющихся продуктами ядерных реакций и в естественном виде в природе не существующих.

Кроме того, с каждым годом в приповерхностном слое увеличивалось количество «горячих частиц», источников альфа-излучения, выявленных эманиционной трековой съемкой. Пробег в свободном воздухе у альфа-частиц невелик, однако, если такая бяка вместе с ягодой попадает тебе в желудок и прилипает там, понятно, что из этого следует.

Познакомившись с нашими результатами, Средмаш завопил, что этого быть не может. Ведь это противоречило их теории о герметичности очаговой зоны и исключении возможности выхода на поверхность продуктов распада. В крайнем случае, утверждали они, это могло быть результатом нерадивости буровиков, растащивших по округе на сапогах и тракторах бурраствор при вскрытии боевой скважины.

Полнейшая чепуха!

Во-первых, как раз у скважины практически никаких следов не было, а обнаруживались они в глухом лесу, на расстоянии в сотни метров и более, и выстраивались четко вдоль разломных зон, выявленных другими геофизическими методами — сейсмикой и гравиметрией. И потом, плотность следов со временем увеличивалась, что также подтверждало их глубинную природу.

Самые пикантные места из нашего отчета выкинули, но даже и в таком усеченном виде от него постарались отказаться все вроде бы заинтересованные инстанции — военные и гражданские, а непосредственные заказчики работ — якутские нефтеразведчики — и прикасаться к нему, как к змее, не желали. Начальник объединения не без оснований опасался, что местные «зеленые», прознав про истинные результаты наших забав, просто голову ему оторвут.

Единственный экземпляр отчета нам кое-как удалось всучить в союзное геологическое министерство, приказавшее жить буквально через месяц. Нас же к тому времени, чтобы мы поменьше мутили воду, перекинули на закрытые объекты...

Так и «благоухает» по сей день в далеко не самых безлюдных местах страны почти сотня безнадзорных зловещих дырок, удобряя леса и поля и питая своей убийственной отравой по пластовым водам бассейны Волги и Камы, Иртыша и Оби, Енисея и Лены...

Ярослав Смеляков

Стихи и переводы



Русский язык

У бедной твоей колыбели,
ещё еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.

Ты шёл на разбитых копытах,
в кострах староверских горел,
старался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши в недоле,
мукою запудривши лик,

на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкую малость,
хотя бы и больше смогли,
чтоб им не одним доставалась
учёная важность земли.

Ты, пахнувший прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и чёрной лучиной,
и белым лебяжьим пером.

Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздём.

Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на самую суть языка.

Иван Калита

Сутулый, больной, бритолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам зимней столицы
иду, как Иван Калита.

Слежу, озираюсь, внимаю,
опять начинаю сперва,
и впрок у людей собираю
на паперти жизни слова.

Мне эта работа по средствам,
по сущности самой моей:
ведь кто-то же должен наследство
для наших копить сыновей.

Нелёгкая эта забота,
но я к ней, однако, привык.
Их много, теперешних мотов,
транжирующих русский язык.

Далёко до смертного часа,
а лёгкая жизнь не нужна.
Пушай богатеют запасы,
и пусть тяжелеет мошна.
Словечки займы отдавая,
я жду их обратно скорей.
Не зря же моя кладовая
всех нынешних банков полней.

Денис Давыдов

Утром ставя ногу в стремя —
ах, какая благодать! —
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.

(Есть сейчас гусары кроме,
наблюдая идеал,
вечерком стоят на стрёме,
как ты в стремени стоял.

Не угасло в наше время —
не задули, извини, —
отвратительное племя
«Жомини да Жомини».)

На мальчишеской пирушке
в Царском — что ему! — селе
были вы, и ты, и Пушкин,
оба-два навеселе.

И тогда тот мальчик чёрный,
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
Вас учителем назвал.

Обождите, погодите,
не шумите — боже мой!
Раз Вы Пушкина учитель,
значит, Вы учитель мой!

Старик

Не семеня и не вразвалку —
он к воздержанию привык —
идёт, стуча сердито палкой,
навстречу времени старик.

Есть у него семья и дружба,
а он, старик спокойный тот,
не в услуженье, а на службу
неукоснительно идёт.

Не тратя время бесполезно,
от мелких скопищ далеки,
они по внешнему любезны,
но непреклонны — старики.

Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пиджоны лезть.
Они немного старомодны,
но даже в этом прелесть есть.

Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,
должны быть всё-таки святыни
в любой значительной стране.
Приостановится движение
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.

В защиту домино

В газете каждой их ругают
весьма умело и умно,
тех человек, что играют,
придя с работы, в домино.

А я люблю с хорошей злостью
в июньском садике в углу
стучать той самой чёрной костью
по деревянному столу.

А мне к лицу и вроде впору
в кругу умнейших простаков
игра матросов, и шахтеров,
и пенсионных стариков.

Я к ним, рассержен и обижен,
иду от прозы и стиха
и в этом, право же, не вижу
самого малейшего греха.

Конечно, все культурней стали,
но населяют каждый дом
не только Котовы и Тали,
не все Ботвинники притом.

За агитацию — спасибо!
Но ведь, мозгами шевеля,
не так-то просто сделать «рыбу»
или отрезать два «дупля».

Нико Пиросмани

У меня башка в тумане:
оторвавшись от чернил,
Вашу книгу, Пиросмани,
нынче утром я купил.

И совсем не по эстетству,
а как жизни идеал,
помесь мудрости и детства
на обложке увидал.

И меня пленили странно —
я певец других времён —
два грузина у духана,
кучер, дышло, фаэтон.

Ты, художник, чёрной сажей,
от которой сам темнел,
Петербурга вернисажи
богатырски одолел.

Жизни будущей открыта
непутёвая жена,

та актёрка Маргарита
щедрой кистью прощена.

И красавица другая,
полутомная на вид,
словно бы изнемогая,
на бочку своём лежит.

В чёрном лифе и рубашке,
вся прекрасная на взгляд,
и над ней порхают пташки,
розы в воздухе висят.

Вы народны в каждом жесте
и сильнее всех иных,
эти вывески на жести
стоят выставок больших.

...У меня теперь сберкнижка,
Я бы выдал Вам заём.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаём.

Хаши в Батуми

Безрассудно, словно дети —
что нам резкий поворот? —
на вершину на рассвете
Заурбек меня везёт.

Из тумана гор не видно,
Но на кухне у огня
здесь уже сидят солидно
грузчики и шоферня.

На вершине спозаранку
как бы солнечный восход,
мне одна официантка
миску круглую несёт:

не кондитеров изделия,
не диетные супы,
а духана рукоделье
с крепким привкусом толпы.

По моей гражданской воле —
не дрожи, моя рука! —
сам я сыплю меньше соли
и побольше чеснока.

Съел я ложкой миску хаши,
возвратился и уснул.
Словно из народной чаши
по-приятельски хлебнул.

Воробышек

До двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
не сойти мне нынче с места! —
в дальнем городе Инте.

(Мы тебе-то благодарны,
отбывавшие тот срок,
наш шахтёрский приполярный
снежно-вьюжный городок.)

Там ни дерева, ни тени,
ни песка на берегу —
только снежные олени
да собаки на снегу.

Но однажды в то окошко,
за которым я сидел,
по наитью и оплошке
воробышко залетел.

Небольшая птаха эта,
неказиста, весела
(есть народная примета),
мне свободу принесла.

Благодарный, в общем, крепко,
утром, вечером и днём
я с тех пор снимаю кепку
перед каждым воробьём.

Верю глупо и упрямо,
с наслажденьем правоты,
что повсюду тот же самый
воробышко из Инты.

...Позабылись грусть и горе —
я печаль на берегу, —
а сижу на Чёрном море,
на апрельском берегу.

Но и здесь, как будто дома, —
не поверишь, так убей! —
скачет старый мой знакомый
приполярный воробей.

Бойко скачет по дорожке,
славословий не поёт
и мои ответно крошки
с благодарностью клюёт.

Матвей Грубиян

С еврейского. Перевод Ярослава Смелякова

Море

Однажды я на берегу устало
Листок стихотворенья уронил,
И море — всё — ещё синее стало
От синевы разлившихся чернил.

Я обратился к морю с нетерпеньем,
Остановившись в шумной тишине:
«Отдай назад моё стихотворенье,
Зачем оно великой глубине?!»

И мне в ответ, как в старой сказке, вскоре
Заметно потемнела синева.
«Я музыку пишу, — сказала море, —
Мальчишка глупый, на твои слова».

Евгений Абдуллаев

Дети «Детей»



Анатолий Рыбаков. Дети Арбата: Роман. // «ДН», 1987, 4–6.

Произведения, названия которых начинаются со слова «дети», в русской литературе обычно печальные. «Дети подземелья». «Дети солнца». «Дети Арбата», пожалуй, самые трагичные — если использовать пушкинскую формулу трагедии: «Человек и народ, судьба человеческая, судьба народная».

Трагичность «Детей Арбата», впрочем, не только в этом.

Рыбаков сопровождал меня с детства. В классе втором — «Кортик» и «Бронзовая птица». В третьем — первый интерес к японскому искусству совпал с экранизацией «Каникул Кроша». Первые попытки разобраться в своем полукровстве — с «Тяжелым песком».

Наконец, первый опыт осмысления советской истории — с его «Детьми Арбата». (1987 год, лето, заканчиваю девятый класс).

Точнее, первый опыт *переосмысления*.

Есть тексты, попадающие в нерв общества. Вызывающие мгновенное, острое напряжение всех его мышц.

«Эмил» Руссо, духовно подготовивший Французскую революцию. «Хижина дяди Тома», сдетонировавшая войну Севера и Юга. «Что делать?», ставшее революционным катехизисом. «Маленькая черная рыбка» Бехранги, раскачавшая шахский режим в 60-х — 70-х.

Тексты очень разные. И по жанру, по литературным достоинствам. Но схожие по своему непосредственному — социально-мускульному — воздействию.

В России последним произведением этого ряда были «Дети Арбата». Печатавшиеся в «Дружбе народов» с конца апреля по июнь 1987 года.

Немного «поиграю в Парфенова», освежу событийный контекст.

Итак.

Роман выходит 20 апреля.

1 мая вступает в силу «Закон об индивидуальной трудовой деятельности» — первая робкая легализация частного предпринимательства.

6 мая — первая демонстрация «Памяти» в Москве.

28 мая — первый удар по вере в нерушимость границ: девятнадцатилетний гражданин ФРГ Матиас Руст лихо сажает свой самолетик на Красной площади.

18 июня — первый советско-американский «марш мира» Ленинград — Москва.

Все это происходило в стране, которая уже читала «Детей Арбата», первый перестроечный роман.

Потом уже были «Белые одежды», «Жизнь и судьба» и длинная, постепенно слабеющая волна самиздата и тамиздата.

«В журнале паника, — вспоминает вдова писателя, Татьяна Рыбакова, — рабочие типографии берут себе по десять экземпляров. Что останется для свободной продажи? И в почтовых отделениях паника: журнал воруют из ящиков. Подписчики пишут жалобы. У почтальонов нищенская зарплата, на черных рынках цена запредельная, что делать?! В подъездах вывешиваются объявления: номера с “Детями Арбата” будут выдаваться на почте по предъявлении паспорта»¹.

Воспоминания писательских жен часто грешат преувеличениями. Но здесь, уверен, все было именно так. Помню, как журнал буквально рвали друг у друга из рук. Мне повезло, моя тетя — зав. библиотекой. Тем, у кого тети не заведовали библиотеками, было сложнее. Безлимитную подписку на журналы разрешат только в августе 1987 года.

Ту «Дружбу народов» я, правда, не застал.

В редакции я впервые появился августе 2002 года — через пятнадцать лет после выхода «Детей». Уже не было некоторых из тех, кто был непосредственно связан с публикацией рыбаковского романа. Сергея Баруздина — тогдашнего главреда «Дружбы». Татьяны Смолянской, редактировавшей рукопись.

Правда, еще был жив (и, казалось, будет жив всегда, пока будет издаваться журнал) Леонид Арамович Теракопян. И сама редакция все еще располагалась в том же флигеле на Поварской, в том же лабиринте комнат, комнаток и комнатшек, что и во времена выхода «Детей Арбата».

Там теперь ресторан (редакцию выселили). Называется «Шиша». Или «Шиша»; пусть те, кто там столуются, меня поправят. Рыночная экономика: кому — шиша, кому — ни шиша. Могли бы еще «Дети Арбата» назвать: чем не бренд?

Когда в декабре 2010-го собирались аналогичным образом выселять «Новый мир», какая-то собачка (после запрета на ненормативную лексику буду использовать это милое существительное) позлорадствовала в «комментах»: ага, печатали «перестроечную литературу», теперь и пожинайте плоды того, за что боролись! За развал системы, за либерализм, за рынок...

Это бред. Литература (серьезная) борется только за одно: за возможность говорить правду. И за возможность донести эту правду до читателя.

В те годы более важным было первое: написать, напечатать, пробиться сквозь цензурные рогатки — а миллионный читатель уже караулил «на подхва-

¹ Татьяна Рыбакова. «Счастливая ты, Таня...» (О Рыбакове, и не только о нем). Главы из книги. Окончание // Дружба народов. 2005, № 4. С.74.

те», нетерпеливо притаптывая. Сегодня важнее пробиться к читателю сквозь жировые валики коммерческой литературы, сквозь сетевой треп, сквозь постепенное отупение, охлаждение читателя к серьезному чтению. Когда, почти по Пушкину: *народ безмозгловат*.

«Дети Арбата» были — впервые после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — опытом говорения правды. Пусть не полной исторически — сохранявшей прежнюю, «оттепельную» модель критики сталинизма, но художественно — достаточно полной. Для Рыбакова это была, собственно, его «исповедь сына века». Исповедь «детей Арбата» — режимной улицы сталинских лет, в которую превратилась вся страна.

Читаю новый роман Захара Прилепина, «Обитель». Хорошо, фактурно, умело; стилизовано под прозу начала тридцатых — но стилизовано профессионально. Пусть и не совсем пока понятно, зачем пытаться пересолженицынить Солженицына.

Но вот в самом начале спотыкаюсь о фразу: «...Тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства»¹. Это, разумеется, о перестройке.

Задумываюсь. Разоблачения, и правда, были. Еще какие. И юродства хватало.

А вот *покаяния* — нет, не было. (Разве что только в названии замечательного грузинского фильма).

Никто, насколько помню, не вышел, не сказал: «Я виноват. Я сделал то-то, чего не должен был делать. Не сделал то-то, что сделать был должен».

«Дети Арбата» и вся значительная «перестроечная» проза выполнили трудную *работу исповеди*. В обществе с низкой религиозностью литература часто берет на себя исповедальные функции. Но следующий шаг — покаяние и очищение — это уже вне сферы литературы. По крайней мере — светской.

Немалое число проблем на нынешнем постсоветском пространстве — именно от того, думаю, что *работы покаяния* в обществе не произошло.

Готовя этот очерк, сознательно не стал перечитывать «Детей Арбата».

Допускаю, что сегодня я бы отнесся к ним более критично — к стилю, к драматургии. Для меня было важно сохранить первое читательское впечатление, а оно было очень сильным. И — тогда активно обсуждал это с друзьями-сверстниками — не только у меня. Отчасти мое поколение — дети «Детей Арбата». Не собственно «детей Арбата», описанных в романе (для нас это уже были «деды»), а именно — дети этого романа. Той мгновенной вспышки в сознании, которой он произвел.

Остальное, как говорить, — «литература».

¹ Захар Прилепин. Обитель. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. С. 11.

Алие Алиева

Очерки былой и теперешней жизни крымской татарки из Узбекистана

Кое-что о моей семье...

Моя мама точно знала, что ее, свою старшую дочь, отец назвал Урие (от татарского Уриет — свобода, благородство) в честь революции. Следом родились ее сестры Эдие (от арабского ид — праздник) и Инает (тоже от арабского — милость, благодать).

По молодости я не очень любила слушать, отсюда отрывочность воспоминаний. Припоминаю, что отец мамы — Умер, будучи высокого роста, служил солдатом в охране дворца в Ливадии. И даже видел самого государя императора с семьей. Его знакомство с будущей женой было вполне традиционным. «Селекцией» занималась женская половина его родни. Смотр устраивали в бане, так было сложнее скрыть неявные физические недостатки. После вердикта можно было увидеть суженую где-нибудь на посиделках, затем приступали к официальной части сватовства.

Почти так же женили старшего брата моей бабушки. С той лишь разницей, что показали ему младшую сестру, а женили на старшей. Жenu он не любил до последнего дня своей с ней долгой жизни. Прижили они пятерых детей. Трое мальчиков, как на подбор, походили на красавца-отца, девочки пошли в дурнушку-мать.

Мой дед Умер унаследовал от своего отца скотобойню. Раскулачивание в 30-х годах коснулось деда напрямую. Скотобойня стала основным доводом для его «перевоспитания» на строительстве Беломорканала. Бабушка осталась с тремя детьми на руках: старшей — девять, младшей — пять. Как жена кулака она была лишена всех гражданских прав, и главное — права на работу.

Только протекция земляка, служившего в прокуратуре, помогла ей устроиться санитаркой в больницу. Вспоминала, как завхоз, перечисляя ее обязанности на день, заканчивал неизменным: «А время останется — вымой окна». Была

Алиева Алие Сафетовна, крымская татарка, родилась и живет в Андижане. Закончила иностранный факультет Самаркандского госуниверситета, где получила специальность филолог, преподаватель французского языка. Около 40 лет работала в Андижанской областной библиотеке им. Бабура. Почти все литературные опыты Алие Алиевой имеют автобиографический характер. «Это — не исповедь и не мазохистские исследования собственной души, — объясняет она, — это просто попытка рассказать о жизни через индивидуальное восприятие».

очень набожна, каждое утро совершала намаз и читала (на арабском) Коран. На русском могла вывести только свое имя: Шашне. Знала ли она русский? Не знаю, мы общались на крымско-татарском.

Как человека помню ее плохо. Нелюбовь к моему отцу она перенесла и на меня. Во сне я видела ее единственный раз — перед смертью мамы. Но даже во сне помнила, что она меня не любит. Бабушка ходила согбенная, опираясь на палку, в шали, случайно прихваченной из дома в холодную майскую ночь депортации 44-го. Запаханный уголок этой шали так и не отстирался. Это была крымская грязь.

Зарплаты бабушки хватало лишь на то, чтобы жить впроголодь. Брат ее мужа давал им продукты только в обмен на немногие оставшиеся у них вещи. Правда, разрешил племяннице, моей маме, погостить у него какое-то время. Мамой особо не занимались. Завелись вши, и ее обрили наголо. Так мама впервые потеряла свои длинные, до колен косы. Второй раз, когда ей было уже семьдесят, в роли экзекутора выступила я. Мыть такие волосы было тяжело. *«Режь!»* — решительно сказала мама. О дяде вспоминала, глядя, как я нарезаю хлеб: *«Так же тонко, как и он»*. И заключала: *«Жадный был, очень»*. И еще с отвращением вспоминала о бочонках с засоленной рыбой в его подвале. В ее семье рыбу не ел никто, просто не могли. *«Даже во время голода»*. Голод унес их младшую. Умерла от туберкулеза.

На чудом уцелевшей фотографии 30-х бабушка снята с не похожими друг на друга дочерьми. Они были разными во всем. В маме — нечто утонченное, в Эдие — чувственное. *«Господи, — вздыхала бабушка, — и в кого она только пошла?»* В довоенном Крыму остались ее отличные отметки, первое место на конкурсе песни (была даже фотография на обложке журнала) и несостоявшийся жених, ставший семейным анекдотом. В самый разгар сватовства он спросил свою мать: *«Мама, можно я пойду пописать?»*

На маме как старшей был весь дом. Ей удалось закончить только начальную школу. Видимо, были способности к языкам: владела русским (писала, как слышала, смело употребляя латинские буквы). Во время оккупации Крыма заговорила по-румынски и по-немецки.

Папа с мамой познакомились на танцах, в 37-м. Ей было 17, он — на десять лет старше. На браке настояли ее родные. *«За ним — как за каменной стеной»*. Так оно и было. Какое-то время мама работала на вышивальной фабрике. Но недолго. Самый большой стаж в ее трудовой жизни — несколько месяцев на одном месте. Ревнуя, папа «увольнял» ее отовсюду. Позже, уже в 70-е, работая вместо нее дворником, «заработал» ей пенсию.

Моего деда по отцовской линии звали Али. В Бахчисарае он имел свою кофейню. Отсюда и прозвище «каведжи Али», то есть Али — владелец кофейни. Фамилий тогда не носили, они пришли вместе с русификацией. Тезок дифференцировали по имущественному положению, физическим недостаткам и тому подобным признакам.

Самый богатый человек деревни Биели владел двадцатью гектарами садов, на которых вместе с наемными работниками трудились старшие из его детей. Жена родила ему восьмерых, но в живых осталось только шестеро: трое мальчиков и три девочки. Старшего, моего отца, назвали Сафет (от арабского Сабит — стойкий, твердый). Был он рыжеват, с глазами редкого янтарного цвета. *«Круглый год мы ходили в налынь. Кожаную обувь купил себе уже в городе», —*

рассказывал папа. Нальнъ представляли собой деревянную подошву, на которой крепился ремешок, прижимавший к ней стопу. Именно такую обувь, напоминающую японские гета, папа сделал мне в детстве. Летом ходить в ней было сплошным удовольствием. А зимой... Но дед жил так, как испокон веков жили до него.

Он спас свою деревню от страшного голода в 20-е. Все остались живы. В период коллективизации односельчане его раскулачили. Деньги в банке были конфискованы, земля — национализирована. Все, чем он владел, осталось в его родной деревне. На телегу с лошастью погрузили младших детей и какие-то пожитки. Уехали навсегда и в никуда.

Папа

Я не знаю, как и когда они очутились в городе. Устроиться на работу папа сумел только после того как официально, через газету, отказался от своих родных. Это решение было принято на семейном совете. По-другому было не выжить. В реальной жизни сын за отца отвечал. Все, что он зарабатывал, тайком переправлял родным. Если бы об этом узнали, а доносы были нормой, наверняка лишился бы работы.

Мастер-немец обучил папу столярному делу. Вскоре он работал по самому высокому разряду. После войны, уже в Узбекистане, он так и не сумел официально это подтвердить (все архивы сгорели во время войны) и здесь работал плотником. Сидящим без дела я вообще его не помню. После основной работы «одевал» дома: делал полы, потолки, окна, двери... Все было сработано на совесть. Усто — по-узбекски «мастер» — уважительно называли его узбеки. Умел многое: стриг, чинил обувь, ремонтировал электроприборы...

В тридцатые годы будущих студентов вузы набирали среди передовиков-рабочих. Так папа стал студентом Качинского летного училища. Прыгал с парашютом, совершал самостоятельные полеты. Донос земляка о кулацком происхождении положил конец его карьере летчика. Но небо он всю жизнь любил самозабвенно. Всегда провожал и встречал меня в аэропорту, несмотря на мои протесты. Уже после его смерти я нашла среди документов парашютный значок.

Благодаря отцу я знаю несколько венгерских слов. Говорить на венгерском, также как на русском и румынском, он выучился во время войны. На войне был с 24 июня 1941 по сентябрь 1945 года. В августе 41-го недалеко от деревни Малаеш попал в окружение. Их эшелону, направлявшемуся на Бессарабский фронт, так и не успели выдать оружия.

Попал в лагерь для военнопленных Турнумугарель на территории Румынии. «Вшей с себя собирал горстями. В туалет ходил раз в десять дней». В конце марта 1944-го этот лагерь был освобожден Красной армией. Папу направили на 2-й Украинский фронт. В составе своего первого батальона (572-й полк, 233-я дивизия) он форсировал Дунай с территории Югославии, в направлении на Бездай. Батальон стал живой подсадной уткой. Сразу после переправы они попали под немецкую бомбежку. В этой мясорубке уцелело пять человек. Их взяли в плен, окружив шестью танками, солдаты власовской армии. Так он

вновь оказался в лагере для военнопленных, что находился в какой-то деревне в трех километрах от Капошвара (Венгрия).

Позже, в ответ на свой запрос, я получила справку из архива о том, что Алиев С. Б. погиб при форсировании Дуная. В лагере его, рыжеватого, с типично «еврейским» носом, чуть было не расстреляли немцы, приняв за «jude». Выручили земляки — татары.

В марте 1945-го в три часа ночи лагерь эвакуировали в течение пятнадцати минут. Около двадцати человек сумели спрятаться. Части Красной армии только на третьи сутки освободили уже пустой лагерь. Оставшихся в живых проверял особый отдел. Практиковались ложные расстрелы. *«Когда меня поставили к стенке, мне было уже все равно. Так измучили меня допросы»*. До конца жизни отец не мог смотреть фильмы о войне.

Его память меня поражала. Уже в перестройку крымские татары стали требовать возвращения на историческую родину. На всякий случай шла проверка достоверности фактов их участия в войне. И папа в свои 78(!) лет вспомнил все даты, номера частей, топографические названия. Я сверяла последние с географической картой тех мест, где он воевал. Все оказалось точно.

Победа застала его в городе Санкт-Пельтен, где команда в десять человек охраняла лагерь французских и итальянских военнопленных. В Хирово, в Польше, находился советский «фильтровочный пункт». Здесь ему выдали документы и отправили в Узбекистан. Видя его недоумение, издевательски объяснили: «Вашему народу, так пострадавшему во время войны, решили дать отдохнуть в Узбекистане». По приезде отца в кишлак, где уже жили его родители, комендант по спецпереселенцам отобрал у него документы, заявив, что они ему больше не понадобятся. Подвалы ГБ он знал не понаслышке. Били, требовали признаться, на какую разведку работает.

Советскую власть отец ненавидел, что мне, пионерке, внучке двух кулаков, было абсолютно непонятно и чуждо. Доходило до абсурда: «болел» исключительно за соперников СССР. Систематически слушал «голоса», мало что понимая в силу плохого знания литературного русского. Помню его признание: *«Воспользоваться возможностью остаться мне и в голову не приходило. Ощущение дома пришло, как только пересекли границу с Польшей»*.

Моя продолжительная переписка с военными ведомствами по восстановлению его статуса участника войны ни к чему не привела. Только в 1980-м, после обращения в редакцию газеты «Красная Звезда», папе выдали долгожданное удостоверение.

Мама

Судя по рассказам мамы, вначале румыны, а затем немцы вели себя в Крыму по отношению к местному населению довольно корректно. А вот евреи и цыгане расстрелов не избежали. Большинству цыган удалось спастись лишь тем, что они выдали себя за татар. В период депортации их и выслали как татар, вместе со всеми. Греков, болгар и «русских немцев» эта участь постигла раньше всех. Они были высланы в канун войны. Сами татары распознавали цыган мгновенно. *«Фараунлар, — называла их мама по-татарски. — Фараоново племя»*.

Из рассказов моей старшей сестры: *«В самом начале войны моя мама*

работала в столовой. Мне тогда было около трех лет. По Карасубазару шла колонна военнопленных, наших матросов. Запомнилось, что все были в тельняшках. Раненные, в крови. Мы с мамой стояли на обочине, у нее два ведра с едой, а у меня какой-то мешок с хлебом. Это все мы раздавали тем, кто проходил мимо нас. В одном из матросов мама узнала своего двоюродного брата-моряка».

Сколько времени деда Умера «перевоспитывали» на строительстве канала, не знаю, но к началу войны он уже был со своей семьей. Выжил только потому, что в первый же день, когда их построили в шеренгу и спросили: «Кто работал поваром?», он сделал шаг вперед. Хотя готовкой никогда не занимался. И еще одна история от деда, которую мне пересказала мама. «Счастье? — переспросил моего деда сосед по нарам. — Я — дома. Уочага, освещенная отблесками пламени, в вишневом бархатном платье сидит моя жена, и в доме пахнет занесенным с мороза бельем». Сосед по нарам умер там же, на строительстве. Дед домой вернулся, но стал сильно пить.

В их небольшом домике жили на постое вначале румыны, затем немцы. Пользуясь их незнанием языка, дед поносил их как только мог. И наконец нарвался. Офицер-румын ответил ему на чистейшем крымско-татарском: «*Вы думаете, что мы здесь по своей воле?*» Румын оказался этническим татаринном. К счастью для дедушки, все закончилось благополучно.

«Дедушка, — вспоминала сестра, — никогда не оставлял меня одну дома. Вместе ходили за хлебом. Он нес меня на закорках. Помню, как попали под бомбежку, и осколок бомбы задел мне висок. Сейчас понимаю, что по касательной. Лечил меня немецкий врач. Он мне показывал фото своих детей. И чтобы я не хныкала при перевязке, давал шоколадку и называл меня *gutes Madchen*, хорошая девочка. А шрам на виске так и остался».

В 44-м Крым был освобожден советскими войсками. «В соседнем доме всю войну прятали девушку-еврейку. Когда в город вошли наши войска, она, радостная, выбежала из дома и попала под колеса грузовика. Умерла сразу же». В апреле власти провели перепись населения. Мама сопровождала военных как переводчица. Один из них ей явно симпатизировал. В ночь с 17-го на 18-е мая каждый дом был окружен автоматчиками. Во избежание беспорядков мужчин тут же отделили от женщин и детей. На сборы дали двадцать минут. Из домов выносили даже лежащих больных.

Узнав в одном из военных своего знакомого, мама высказала ему все, что думала. Он ответил, что был не вправе предупреждать кого-либо. Ей разрешил вернуться в дом вместе с отцом и взять что-нибудь из вещей. Прошло чуть более часа, а дом был уже разграблен соседями. Всех загнали на грузовики. Люди были уверены: их должны расстрелять. Скорей всего там, где немцы расстреливали евреев. Но грузовики, не останавливаясь, проехали дальше. На вокзале уже были готовы товарные составы. Благодаря тому же военному, семья мамы попала в товарняк, идущий на Урал. «Там — промышленность, — сказал он маме, — там вам легче будет выжить».

Так они оказались в поселке Боровск Соликамского района. И мама, и ее сестра знали русский; их оставили работать на бумажном комбинате. Те, кто не знал языка, валили и сплавляли лес. Там и гибли: кто на лесоповале, а кто на Каме.

На Урале Надя, сестра мамы, жила отдельно. Метаморфозу имени объясняла тем, что не хотела для себя судьбы младшей сестры отца, в честь которой была

названа. Та, Эдие, покончила жизнь самоубийством. Тетя Надя крутила романы с двумя одновременно: с сероглазым пермяком и с темноволосым румыном. Когда пришел вызов от моего отца, бросила их обоих и уехала вместе со своими в Узбекистан.

Папа сумел отыскать свою семью только в 47-м. Вызов от него пришел незадолго до смерти деда. *«Посреди барака стоял стол, на котором лежал длинный мертвый дедушка»*. Из двух стаканов муки, купленных мамой, приготовили юфак аш, мелкие пельмешки в бульоне, для поминального стола. Помянув, на сорок первый день собрались в дорогу. Ехали долго. Посевы хлопка, увиденные из окна вагона, приняли за фасоль.

Вначале жили в кишлаке. В город удалось переехать только с помощью Надиного очередного кавалера, занимавшего весьма важный пост. Место проживания было своеобразной резервацией. Без разрешения коменданта передвигаться с места на место запрещалось категорически. Вновь прибывших добивали голод и инфекционные болезни. У мамы обнаружили тяжелейшее заболевание кишечника. Папе удалось спасти ее. Все его заработки уходили на ставшую панацеей слегка прожаренную печень.

С Урала она привезла артрит суставов. В 50-е всех, кто не работал, сгоняли на сбор хлопка. По домам ходил управдом, для которого чудовищно распухшие колени моей мамы не были аргументом.

Через некоторое время, выйдя замуж, Надя родила мужу-узбеку светловолосую сероглазую девочку. *«Представь себе, ни я, ни бабушка, мы даже не догадывались, что она была беременна уже на Урале»*, — удивлялась мама. Бабушке с мамой Надя по секрету призналась, что это дочь румына. *«Аллам (Господи — по-татарски), но ведь ребенок — точная копия пермяка»*, — недоумевала мама. Однако в романтическую Надину схему любви румын, видимо, вписывался лучше. Позже ее дочь получила отчество от имени румына. Жизнь для моей тети была сплошным праздником. Своего единственного ребенка, еще в пеленках, скинула на руки бабушке. Брошенные и даже, случалось, обворованные ею мужья продолжали ее любить и надеяться на возвращение.

Работала официанткой и тратила казенные деньги, как свои собственные. За что и сидела. Обожала работать на публику. На последнем суде громогласно сказала моей маме: *«Передай дочери, пусть продаст фамильные бриллианты!»* Никто из нашей семьи ни о каких бриллиантах слыхом не слыхивал. *«Все, что было ценного, мы снесли в Торгсин во время голода»*, — рассказывала мама.

Вдохновенно врал. Маму это ее «своеобразие» злило чрезвычайно. Их редкие встречи заканчивались ссорами. Любила широкие жесты: «набеги» совершала только с друзьями и подругами, которые неделями обитали в нашей одной комнате. Благо, лето длилось почти девять месяцев. Ночевать можно было и под открытым небом. Разыскала, привезла и оставила на маму парализованного дядю, того самого жадного брата их отца. Только через полгода родная дочь перевезла его к себе.

Наша семья жила скученно, вчетвером (к тому времени уже появилась я) в одной комнате. Большой байский двухэтажный дом с балаханой — открытой галереей был поделен на отдельные комнаты-«квартирки». Удобства — во дворе, баня — в десяти минутах ходьбы, вода — через дорогу. Все принималось как должное, роптать не было принято. Уже к концу 60-х балахану было решено

снести. Так мы трое, уже замужняя сестра жила отдельно, получили однокомнатную квартиру.

Бабушка с моей двоюродной сестрой ютились в пристройке к этому же дому. Жили очень бедно, бабушка могла дать внучке только свою любовь и какие-то крохи денег. «Принцесса в обносках», выросшая красавицей, так и не простила матери ни своего сиротства, ни своего нищего детства. Та доживала свои страшные дни старого и очень больного человека в полном одиночестве. Хоронили ее чужие люди, которым досталась ее квартира.

В последний свой приезд к тете я вдруг заметила их с мамой сходство: те же тонкие черты лица, изящная линия носа и манера складывать маленькие кисти рук. Их дед был в родстве со знаменитым крымским разбойником Алимом. Возможно, поэтому мама так и не сменила свою фамилию на папину. Любила читать и смотреть телевизор, свято веря в правдивость всего увиденного на экране. Мужественно высидела от начала до конца «Цвет граната» Параджанова. Папа, по его собственному признанию, прочел только две книги: Букварь и «Легенды и сказки Крыма».

Я всегда думала, что внешне пошла в материнскую родню. Я похожа на маму, а мама — на бабушку. Как-то двоюродный брат отца стал меня пристально рассматривать. Заметив мое смущение, сказал: «*Смотрю на тебя, а вижу мать твоего отца*». Меня это удивило. Дядя покачал головой: «*Ты — ее копия*». Может быть, именно поэтому я была папиной любимицей. Сказывалась и разница в тринадцать лет между старшей сестрой и мною. Она выросла без него. Папа помнил трехлетнюю малышку, а встретился с уже девятилетней девочкой.

Своим высшим образованием мы обе обязаны в первую очередь папе. В ответ на выпад зятя об отсутствии приданого у его дочери он ответил: «*Ее приданое — образование*». Даже в начале 60-х существовал негласный лимит на прием крымских татар в вузы. Поступление безусловно одаренной старшей дочери в медицинский институт стоило папе бесплатных плотницких работ в огромном новом доме. Содействие доброго папиного знакомого, не взявшего с него за это ни копейки, позволило уже и мне поступить в университет.

«*Ты помнишь дом, в котором мы жили? Так вот, он мне приснился*». Крым жил в снах моих родителей. Там осталась их жизнь. Уже потом, в 70-е, в родном городе папы Бахчисарае, им, узнав, что они татары, отказали в гостинице. В Карасубазаре в их доме жила бывшая соседка. Встретились, всплакнули. «*Свою кофемолку я узнала сразу же, как только увидела*», — рассказывала мама.

Возвращение на родину стало для отца *idee-fixe*. Переехать самостоятельно, даже после того как в перестройку были сняты все препоны, было сложно. Переезд требовал огромных материальных затрат, мы же всегда жили бедно. Папа забросал письмами (писала я и страшно это дело не любила) все официальные инстанции Крыма. Добился, чтобы его поставили в очередь на казенную квартиру. После развала Союза все эти хлопоты сами собой забылись.

Уже после смерти родителей, в апреле 1999-го, я увидела во сне, как мама что-то втолковывает папе, а он отмахивается: «*Все суета сует...*» На следующий день я получила письмо на его имя из мэрии города Белогорска (бывшего Карасубазара, где они жили до войны). Согласно изложенному, папа должен был до марта того же года получить украинское гражданство. В противном случае его снимут с перерегистрации в очереди ветеранов войны. «*...и всяческая суета*».

В Крыму, до распада Союза, я была один-единственный раз. Полуостров был мне чужим. В Узбекистане с вопиющими случаями бытового «расизма» сталкиваться, к счастью, не приходилось. Хотя фразу «Ты хоть и татарка...», причем от матери своего лучшего русского друга, услышать довелось. Помню сделанное на пятом году обучения в университете признание подруги, с которой учились и жили душа в душу: «Есть нация, которую я терпеть не могу — крымские татары!» И на мое недоуменное: «А как же ты все это время со мной общалась?» ее паническое: «Ты — крымская татарка?!» Что не помешало нам дружить и дальше. Первое, о чем предупредили моего приятеля-француза, приехавшего работать на одном из совместных предприятий: «Старайтесь не общаться с крымскими татарами — коварные люди».

Задуматься о том, кто я, заставили меня события 2 мая 1990 года. В тот вечер я возвращалась из гостей. Автобус остановился посередине дороги, так как проезжая часть была перекрыта народом. Светофоры стояли со свернутыми «шеями». «Это недовольные болельщики хулиганят», — прокомментировал кто-то из пассажиров. На площади масса возбужденных людей пыталась разбить камнями окна хокимиата (мэрии).

Стало не по себе, когда два подростка указали на меня, возбужденно приговаривая по-узбекски: «Урус, урус» — русская, русская. Масла в огонь добавил случайный прохожий, посоветовавший мне «побыстрее убежать отсюда» во избежание изнасилования (было употреблено нецензурное выражение). На что я высокомерно ответила: «Я здесь родилась, это моя родина, и я не собираюсь убежать!» Хотя уже поняла, что мне, чужеродной, явно грозит опасность. До сих пор не знаю, как я дошла тогда до своего дома, находившегося всего в пяти минутах ходьбы от того места.

Здесь была только часть толпы. Основная лавина шла целенаправленно громить армянские и еврейские кварталы. На проспекте, по которому она двигалась, хватало домов, где жили не только узбеки. Кое-где были выбиты стекла, но не более. Мою приятельницу, которая случайно в это время возвращалась домой, никто и пальцем не тронул. Петардами взрывались будки «Газированная вода», горели, потрескивая, мастерские сапожников, которые поджигали по маршруту следования. Их владельцами традиционно были армяне и евреи. Это был хорошо спланированный погром. Людей выгоняли на улицу, их дома грабили, а затем поджигали. Были редкие случаи изнасилования. Варварская акция преследовала другую цель: липкий страх физического уничтожения должен был согнать с насиженных мест людей, которые возомнили, что это и их родина. Сразу после событий начался массовый исход. Моя записная книжка напоминает кладбище, где вместо надгробий — адреса и телефоны старых друзей и знакомых.

Весь наш огромный дом, расположенный вдоль дороги, девяносто процентов жителей которого были узбеками, затаившись, темнел окнами всю ту страшную ночь. После полуночи та же толпа хлынула обратно уже по нашей улице. Движение не прекращалось до трех-четырех часов ночи. Стражи правопорядка появились только на следующий день. Улицы опустели задолго до введенного комендантского часа — люди боялись выходить из дому. В официальную версию о вандалах — футбольных болельщиках не верил никто. Я запретила себе бояться где-то на третий день. Мои родители жили с этим страхом всю свою жизнь. Мне, не в пример им, досталось совсем мало.

Мой Андижан. Мгновенная фотография

Если в «12 стульях» Ильфа и Петрова «в уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вижиталем и сразу же умереть», то в среднестатистическом городе бывшей туземной окраины России, судя по количеству колледжей, столовых, аптек и банков, люди учатся, непрерывно едят, лечатся и занимают деньги.

Первым плодом нашей независимости стала полная независимость граждан от информации. И это не было чьим-то злым умыслом. Развал Союза, введение своей валюты привело к такому взлету цен на российскую периодику и книги, что они стали предметами роскоши. Купить то или иное издание могут позволить себе немногие; отсюда невиданная популярность еженедельных журнальчиков с телепрограммой, издаваемых на плохой бумаге, но зато скачивающих информацию из российских изданий, зачастую желтых. Хорошая литература в силу своей дороговизны и оттока основного своего читателя в страну почти не завозится.

По количеству вновь выстроенных колледжей с почему-то готическими окнами «мы впереди планеты всей». Другое дело, что в них преподают все те же преподаватели старой закваски. Дети в своей массе весьма малообразованны. Зато их отличает необыкновенный интерес к английскому языку, который они зачастую считают, опять-таки в силу малограмотности, единственным иностранным языком в мире, все сведения о котором собраны в одну «Английскую книгу».

Переход с кириллицы на латиницу привел к тому, что для сегодняшнего молодого поколения оказался недоступным целый пласт национальной культуры, созданный за годы советской власти. А заодно с ней и мировой, также изданной на кириллице. Одним из веских доводов в пользу перехода было то, что весь просвещенный Запад благоденствует именно благодаря своей письменности.

Наша повседневная узбекская мода долгое время была весьма и весьма консервативна. Речь идет о провинциальных городах. Ташкент в силу своего статуса всегда стоял особняком. Долгое время модели, основываясь на традиционном стиле одежды, лишь слегка видоизменялись — на уровне деталей, не более.

Если в нашем жарком климате, с его яростным солнцем, даже темные очки были принадлежностью либо иностранцев, либо местного европейского населения, то что уж говорить о шортах. Брюки на особах женского пола, коротко стриженные волосы, одежда без рукавов, дамские шляпки, бермуды на подростках — все это стало нормой благодаря телесериалам.

Но самый большой прорыв сделала звезда нашей эстрады Юлдуз Усманова. «Узбекская Мадонна» смело нарушила все установленные правила и каноны. Она была первой во всем: самые разнообразные стрижки и немыслимые цвета волос, татуировка на плече, гардероб, в котором с роскошными вечерними платьями соседствовали джинсы в обтяжку с топом, оставляющим голым(!) пупок.

Правда, одевшись в меру экстравагантно, ждаль российского безразличия к

себе со стороны прохожих не стоит, мы — Азия, пусть и Центральная. Плюс в том, что бесполой себя не чувствуешь.

В еще советскую бытность в библиотеку позвонил некто, попросивший к телефону Гулю. «Какую именно? — поинтересовалась я. — Гуль у нас много». Немного поразмыслив, мужчина ответил: «Бландинк»! Сегодня, если в толпе вы заметили блондинку, то на 99,98% это просто модница, а никак не представительница европейского населения. Блонд — самый востребованный цвет, может, еще и потому, что многие меняют географию проживания.

Пешеходов уже не удивляют молодые девушки и женщины, уверенно чувствующие себя за рулем личных автомобилей. Говорят, мы умудрились попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» по количеству маршрутных такси, бороздящих просторы нашего города по всем направлениям и в любое время суток. Память об ином общественном транспорте хранили только те наши сограждане, что родились до 1991 года. Однако все течет... На радость ликующим горожанам, из небытия возник общественный транспорт в виде турецких автобусов. Цена за проезд в маршрутных такси сразу же понизилась, и появился выбор.

Правда, проблемы с газом, водой и электричеством все те же. Самая верная примета приближающейся зимы — полное отсутствие газа в квартирах. Веерное отключение газа и электричества приметой быть не может — это обычные будни.

Мы — русские какой угодно национальности

Перейдем к более высокой материи. Зададимся фундаментальным вопросом: что представляют собой в XXI веке русские, живущие вне пределов своей исторической Родины, в частности в наших краях? Попробую ответить на него с точки зрения простого обывателя и «со своей колокольни».

Ни для кого не секрет: развал Союза и движение к национальной независимости повсеместно привели к тому, что поток мигрантов стал расти, как снежный ком. Если говорить конкретно об Узбекистане, то оттоку в немалой степени способствовали, во-первых, «Закон о языке», затем «Закон о гражданстве», не последнюю роль сыграли вынужденное переселение турок-месхетинцев и майские погромы 1991 года в Андижане.

Мало кто из русскоговорящих, живших в то время в Узбекистане, мог хотя бы сносно изъясняться по-узбекски. Да и нужды особой в этом не было. Почти все окружение понимало и говорило на русском. Дети ходили в садики с воспитателями, говорившими по-русски, в русские школы, потом — в вузы. Уроки узбекского в школе особого восторга у учащихся не вызывали, так же, впрочем, как и уроки никому бывшего не нужным иностранного языка.

Первой страшилкой стало возведение узбекского в ранг государственного языка, на котором отныне должно было вестись делопроизводство. Отметим, что эти драконовские меры оказались таковыми только на бумаге. До реализации закона оставалось еще много лет сносного существования русского языка.

Процедура принятия гражданства была максимально упрощена: все люди, проживавшие в тот момент на территории Узбекистана и имевшие советские паспорта, автоматически становились гражданами независимого Узбекистана. При этом, в отличие от стран Балтии, никто никому не ставил никаких препон на пути получения гражданства. Обмен паспортов был проведен организованно

и быстро, безо всяких эксцессов. Но вот пункт закона, запрещающий двойное гражданство, добавил масла в огонь миграции. Под эгидой двойного гражданства, особенно в форс-мажорных обстоятельствах, каждый чувствовал бы себя более защищенным. Когда это стало невозможным, выход (в форме исхода) напрашивался сам собой.

Волна массового исхода после майских погромов приводит на память известный анекдот, в котором умирающий старик-татарин (есть вариант — армянин) дает последнее наставление потомкам: «Берегите евреев: с ними покончат — за нас возьмутся». События мая 1991 были настолько страшной и впечатляющей иллюстрацией к этому анекдоту, что основной пик миграции приходится именно на это время. Парадокс заключается в том, что есть люди, которых погромы не затронули вовсе, но которые под знаменем вынужденного переселения оказались в Бельгии, где и живут припеваючи. Если даже «рыба ищет, где глубже...», что уж про человека говорить.

«Дальняя» география была не очень обширной: Штаты, Израиль, Германия, гарантировавшие достаточный для выживания минимум. Учитывая, что Израиль — для евреев, Германия — для немцев, а Штаты — для «избранных» правительством США, в прочие государства надо было еще умудриться попасть. Россия принимала всех, безо всяких условий, но под лозунгом «спасение утопающих», которое, как известно, всегда было делом рук их самих. Отсюда в Россию потянулись те, кто мог взять на себя финансовое бремя переезда или же в какой-то мере рассчитывать хотя бы в первое время на поддержку родственников. Далее идут авантюристы и перекати-поле.

«Невыездными по собственному желанию» стали безнадежные оптимисты, верившие в свое будущее здесь, и те, у кого обстоятельства складывались так, что сорваться с насиженного места в тот конкретный момент было просто невозможно по ряду причин: больные на руках, учеба детей в вузах, предпенсионный возраст... (Последние через определенное время все-таки уехали.) Кого-то удерживала как раз неохота «к перемене мест». Кроме того, была еще одна категория — те, кому не на что, не к кому и некуда было ехать. Словом, одинокие, бедные, сирые и убогие.

Сегодня русский на просторах бывшей туземной окраины России — это чаще всего человек какой угодно национальности, и меньше всего этнический русский.

«В нашем классе, — рассказывала бабушка мальчика, в котором смешалась кровь евреев и крымских татар, — кроме моего внука всего трое русских: Пак Толик, Гарифулин Марат и Арсен Адамян». Тем, кто некогда жил в многонациональном государстве, нет нужды расшифровывать, что речь идет о корейце, казанском татарине и армянине.

До независимости любимой фразой в бытовой ссоре была: «Езжай своя Россия!» Теперь эти слова можно адресовать уже узбекам, зарабатывающим на хлеб насущный в городах и весях Необъятной. Отсюда огромный интерес к русскому языку и стремление выучить его — желательно за несколько дней до отъезда.

Если раньше были русские и узбекские школы, то теперь наиболее верным стало бы определение «школа с обучением на русском языке». В первых классах, переполненных детьми, количество учащихся, не говорящих на русском с рождения, составляет не менее, если не более 80%.

На вступительных экзаменах в вузы отдельно формируются «европейские группы», в которых опять-таки преобладают дети коренной национальности. Такова действительность. Набрать достаточное количество русскоязычных детей не представляется возможным, конкурс здесь намного меньше, и поступить поэтому значительно проще. То, что в основной своей массе в «европейской группе» мало кто понимает русский, никого не останавливает. Все в этом мире имеет цену... На пути получения знаний даже анонимная тестовая система — не препятствие. Хотя знаю многих, кто поступил в вуз без всяких жертвоприношений, именно благодаря тестам.

Если раньше смешанные браки не вызывали ни порицания, ни удивления, то теперь — и в силу оттока людей, и в силу борьбы за чистоту крови — полукровкам сложно найти себе пару. При сватовстве основным аргументом является тот фактор, что родители жениха или невесты тоже не чистокровные узбеки.

Русскоязычные в общей массе населения на улицах и в людных местах встречаются так нечасто, что невольно вспомнишь Гоголя с его «редкой птицей». Понятно, что русская речь звучит все реже. Говорить некому. Опять-таки речь идет о провинциальных городах, а не о Ташкенте, хотя в той же Фергане на русском еще продолжают общаться.

Правда, каждый ребенок нашего дома, идущий мне навстречу, считает своим долгом поздороваться со мной по-русски. Вечерами, слыша ликующее: «Обознатушки-перепятушки» вкупе с «Море волнуется раз...», понимаю, что это совсем другие игры, хоть и с тем же рефреном.

Для детей, родившихся в годы независимости, русский язык давно чужой. Вот образчик диалога двух братьев-узбеков, находящихся на разных концах длинного дома, стоящего вдоль дороги. Тот, что постарше, лет девяти, надрыгается: «Иди сюда, раздолбай, кому говорю!» Младший, завидев меня краем глаза и решив продемонстрировать знание иностранного, гордо кричит в ответ по-русски: «Нэт!» и, подумав, добавляет: «Блят!»

В старом городе нас, так сказать, аборигенов, принимают за приезжих. Отсюда и намеренно завышенные цены. Философия нехитрая: приезжие русские все как один богатые и не торгуются. Если в мультике длина удава измерялась в попугаях, то свою цену я узнала в пересчете на килограмм брынзы (цена на Новом базаре, где русскоязычного населения больше, не превышает 5600 сумов). У входа на рынок я «стоила» шесть тысяч, по мере продвижения вглубь цена моя росла и наконец достигла рекордной оценки в восемь тысяч! Но старикам, какой бы национальности они ни были, всегда уступят и продадут по сходной цене, понимая, как им сложно выжить.

Увидеть всех, или почти всех русскоязычных еще можно в микрорайонах, некогда сплошь заселенных русскими, или же на русском кладбище в день религиозных праздников. Кладбищенские нищие в лице лели (цыган) истово крестятся, произнося вне зависимости от обстоятельств: «Христос воскрес!» Изредка можно встретить и русских попрошайек: всего один или двое бледных алконавтов на фоне сплошных смуглых лиц.

Что о нас думают? В первую очередь, что когда-нибудь динозавры, то бишь русские, или сгинут или все равно уедут. Отсюда первый вопрос соседей после приветствия: «Квартиру не продаете?»

Наш моральный облик тоже оставляет желать лучшего.

Иду вечером с работы. Сбоку пристроилась девочка лет 10—11. Я ей, видимо, интересна. Идем, беседуя ни о чем, и наконец звучит вопрос:

— Пьете?

— Что пью?

— Водку!

— Но почему я должна пить водку?

— А все русские пьют!

И в тему. Года три как соседствую с семьей, очень, на мой взгляд, европеизированного человека, имеющего свой бизнес в России. В день своего рождения, накрывая стол к приходу гостей, попросила его помочь открыть бутылку сухого вина. Его вопрос оригинальностью не отличался: «Пьете»? На что я робко стала оправдываться. Хотя так о себе думать повода не давала.

Моя приятельница почти всю свою жизнь живет в мире и согласии с соседкой-узбечкой. Дама — пенсионерка, всем, то есть и образованием, и профессией, и некогда солидным положением в обществе, обязана русским, некогда олицетворявшим повсеместно советскую власть. Тост на прекрасном русском по случаю дня рождения прозвучал очень искренне: «Хотя мои соседи и русские...» Слушать дальше мне уже не хотелось.

Явью начинает становиться вековая мечта, воплощенная в анекдоте еще застойных времен, когда полеты космонавтов были всенародными праздниками: отец-колхозник мотыжит поле, подбегает его сын и радостно кричит: «Отец, русские — в космосе!» Отец с надеждой: «Все?» — «Нет, только двое!» — «... твою мать!»

Говорят, что человеку определенной расы первое время все чужаки кажутся на одно лицо. Так, наверное, и все русскоязычное для людей ордерной национальности — на один лад. И если поначалу, слыша в разговоре «а вот у вас, у русских...», пытаешься слабо сопротивляться — мол, и не русские мы вовсе, то в конце концов, не кривя душой, признаешься: «Да, мы — русские!»

Александр Зорин

Табгха — далекая и близкая

Мой друг, живущий в Израиле, рассказывал мне, как евреи в уличных стычках доказывают свою правоту. Прежде всего безудержной жестикуляцией, которая крайне редко переходит в контактное действие. В этих крайних случаях противники шлепают друг друга по щекам и, удовлетворенные, расходятся. Друг мой прожил в России бурную жизнь, досуги в основном проводил в ресторанах и пивнушках. В кровавых разборках участвовал не однажды... Ему было с чем сравнить враждебное поведение евреев. Я вспомнил его смешной рассказ, когда оказался на борту «Боинга», готового вылететь из Москвы в Тель-Авив.

Пассажиры заходят в салон, рассаживаются по местам, кто-то задвигает сумку под кресло, кто-то разувается и задвигает обувь туда же. Господин в бороде пытается запихнуть огромный баул в багажный отсек над головой, который значительно меньше баула. Но господин усердствует, толкает руками, головой, мог бы, наверное, и ногами, но — высоко, не допрыгнуть. Своим баулом он теснит вещи пассажиров, занимая их место в багажнике. Господин нервничает, пассажиры тоже, в проходе образуется пробка. Много шума, глаза навывкате. Седой господин, чьи вещи потеснены, наносит удар бороде. Но это не удар, и даже не шлепок по лицу, а короткие и быстрые поглаживания по щекам этого возмутителя спокойствия. Возмутитель на поглаживания не реагирует, но огрызается на крики, вытаскивает, выдирает назад свой баул. Но, кажется, все понимают, что он или сумасшедший или крепко не в себе... И конфликт на этом заканчивается.

Сегодня девять лет, как умерла мама. Знаменательное совпадение: в ее день еду на ее историческую прародину.

Володя Ф. встретил меня в аэропорту. Мы не виделись с ним лет двадцать. Однако друг друга узнали. Он вызвался проводить меня до самой Табгхи, до монастыря на берегу Генисаретского озера. На автобусах гораздо дешевле, чем на такси, которое хотел выслать за мной настоятель монастыря отец Иеремия. «Сто евро, ты с ума сошел, — упредил меня Володя по интернету, — спокойно доедем за сто шекелей». С четырьмя пересадками, с ожиданием очередных рейсов мы

Зорин Александр Иванович — поэт, автор восьми поэтических книг и трех книг прозы, в их числе «Ангел чернорабочий» — воспоминания об отце Александре Мене. Печатается в отечественных и зарубежных журналах. Давний автор «Дружбы народов».

добрались до Тверии затемно, часам к восьми. Пенсионерам в Израиле скидка на транспорт 50%. Володя берет два билета — за полцены. Водитель спрашивает: «Вам пенсионный, а ему?» — имея в виду меня. «А ему и подавно», — можно было бы ответить водителю. Я старше на несколько лет.

Мне не удалось купить симкарту ни в аэропорту, ни на промежуточных остановках. Звонить в монастырь по мобильному через Москву накладно. Да и не хочется лишний раз тревожить настоятеля, просить о транспорте: от Тверии до монастыря 15 километров. Провожатому моему пора в обратный путь, вот-вот отходит последний автобус в Иерусалим. А мне придется брать такси: 15 километров за те же 100 шекелей. Водитель — молодой араб, хорошо говорящий по-английски. В израильской школе арабы учат и иврит, и английский. Ну, вот и ворота католического монастыря. Иеремия на звонок не отвечает. Забыл, наверное, о госте из Москвы. На звонок в ворота тоже — тишина. Машина не отъезжает, участливый таксист не решается оставить меня одного. Наконец в микрофоне слышится женский голос, и железные ворота со скрежетом ползут в сторону. Лес, овраги, чуть вправо — асфальт, внизу — тусклый свет фонаря. И ни души. Спрашиваю в микрофон: «Куда мне идти?» — «Идите налево», — отвечают. А налево овраг... С моим-то тяжеленным бесколесным чемоданом. Машина уже отъехала. Да, Господи, Ты же меня зачем-то сюда послал... Священник, который рекомендовал меня настоятелю монастыря, сказал, если Господу угодно, ваша поездка состоится. Как Он решит. Ты — решил. И вот я здесь.

Впрочем, я уже был здесь. 45 лет тому назад, когда узнал из Евангелия о чуде умножения хлебов на поляне, поросшей густой травой. И представил себе тогда многолюдное сборище и это место в реальных подробностях. Помнится, оно было не таким, возле которого я сейчас блуждаю.

Тьма египетская, все же нет, не египетская, а — подмосковная, с тусклым фонарем на дне оврага... Но вот показались две женщины, две монашенки. И выяснилось, что это францисканский монастырь, а не бенедиктинский, который мне нужен; тот по соседству. Иеремия на мои позывные по-прежнему не отвечает, но наконец кто-то откликнулся. Привратник, молодой симпатичный парень, впустил меня и показал на трапезную, ярко освещенную и полную народа. Иеремия сначала не понял, кто пришел, а, услышав мое приветствие, всплеснул руками.

Вечерняя трапеза у них проходит в полном молчании, звучит только музыка... За столами кроме священников много молодых людей, волонтеров, как выяснилось позже. Один из них и открыл мне ворота. Телефоны с собой в трапезную не берут. Потому мои звонки к Иеремии оставались безответными. Я не разобрал блюда, которое на столе. Думал, овощи — сейчас рождественский пост, но овощи густо заправлены мясом. Ну, что ж. В чужой монастырь со своим уставом не суйся.

У самого домика, где мне предстоит жить, высокие кусты олеандра, усыпанные цветами. Светится окошко. «She is your neighbor», — это ваша соседка — знакомит меня настоятель с женщиной, чье окошко освещает цветы. Вторая половина домика — моя. Слышно, как рядом дышит вода. Озеро дышит.

Утром я увидел его. Метрах в пятидесяти посверкивало сквозь густые

плавни. Уже поднялось солнце. Далеко-далеко в сонном мареве чапает пароходик, оттуда слышны голоса и протяжная песня. Это первая ласточка с туристами из Тверии — города, спускающегося к озеру по склону горы. Город построил в 17-м году новой эры Ирод Антипа в честь императора Тиберия. Он и имел название Тиберия. И озеро Кенерет римляне переименовали в Тивериадское. После разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году многие евреи переселились в Галилею, и Тиберия на долгие годы стала центром еврейской жизни.

В декабре туристов не много. Два-три пароходика в день покружат вдали, не нарушая еврейской или арабской мелодией девственного покоя. Не нарушают покоя и вертолеты, ведущие за Галанами подробный дозор. Вечером пророкочут в библейском небе, оглядят сверху опасную сирийскую границу и растают, удаляясь в северном направлении. Каждый день, в определенный час.

Соседи мои за столом — немцы, супружеская пожилая пара. Оба профессора математики. Преподаватели в дрезденском ВУЗе. Но уже на пенсии и поэтому большую часть года живут здесь, трудятся волонтерами. «Что же вы делаете?» — спросил я. «Да все, что попросят», — ответила Барбара. И правда, частенько по утрам Люций, ее муж, убирает стоянку машин, подметает, сгребая мусор в большие контейнеры. Барбара помогает на кухне, в прачечной, гладит белье. Или продает сувениры в магазинчике при храме.

Я тоже должен буду часть дня отдавать физической работе. Пока еще неизвестно какой. «Пока отдохайте, — успокоил меня отец Иеремия, — приходите в себя, в понедельник я скажу вам, что делать». В понедельник отец Иеремия выдал мне инструмент: грабли, лопату, кайло, тачку. «Тачка» — немцы почему-то произносят это слово по-русски. Не потому ли, что их отцы, горбившиеся в русском плену на послевоенных стройках, крепко запомнили это пыточное орудие производства, прикипавшее к рукам? И память о нем унесли на родину именно в русском произношении. В любом другом оно теряет изначальный, отягченный гулаговским опытом смысл.

Перед моим домиком большая площадка, метров сто квадратных, когда-то засыпанная гравием, а теперь, сквозь гравий, поросшая травой. Слева ее замыкает огромный разлапистый кактус, справа — кряжистый эвкалиптовый пень. Я насчитал на пне более сотни колец. В его недрах живет семейство ящериц, а может быть, и не одно. Они, выныривая из расселин, греются на солнышке, пока я не начинаю свою разрушительную работу. Мне предстоит заменить старый гравий на новый. Где кайлом, где ломиком, подгребая совковой лопатой, к концу своего пребывания в монастыре я наконец выбрал плотно слежавшиеся пласты. И тогда увидел, почему они поросли травой. Под гравием была положена пленка. Но по слегка покатоному склону ее ряды постелены были внахлест навстречу водному потоку. Вода под гравием не скатывалась по ним, а просачивалась под пленку, питала почву и возвращала остроклювые стебли травы.

Первые дни я не отходил от озера. Сидел, замороженный его тихостью, у самой воды. Ученые считают, что вода обладает памятью. Если да, то, наверное, помнит многое из того, что происходило на этих берегах, когда посещал их Иисус. А гнейсы, громоздящиеся глыбы, которых Он не мог не заметить... Где-то в их каменной глубине теплится Его взгляд.

Вероника и Мириам, моя соседка, пригласили меня на прогулку: подняться на гору Блаженств. Храм на вершине виден издалека, шедевр современного зодчества. К нему мы и направили свои стопы, обутые в крепкие бутсы, пара которых была выдана и мне. Кроме храма там, на горе возведены роскошные палатки — отель, дворцы... Церковь — символический восьмигранник (число заповедей блаженств — восемь), алтарь помещен в середине храма. Молящиеся сидят на скамьях вокруг алтаря.

Галилейские холмы покрыты садами. Огромные валуны сдвинуты в кучи и освободившееся пространство занято деревьями — манго, апельсины, лимоны, банановые леса, укрытые сеткой.

Там и тут стоят насосные агрегаты, перекачивающие воду по трубам, по бесчисленным капиллярам, подведенным к каждому дереву. Вода подается из озера. *Его* озера.

Генисаретская вода питает Израиль более чем на одной трети всей площади. Она поступает не только в городские квартиры, водоносные трубки подведены к корням деревьев. Каждое деревце напоено, ухожено, молодые стволы забраны в пластиковые стаканы, свежие спилы обмотаны фольгой. Забота о человеке начинается с заботы о дереве. И не только фруктовом.

Ежедневная утренняя литургия для меня, мирянина, неподъемное излишество. Вставать в 5 часов... С благословения отца Иеремии я оставил для себя ежедневную вечернюю службу и воскресную литургию. Обязательного для всех правила здесь не существует. Храмовая молитва для мирянина не принудительный долг, а подарок.

В воскресенье вечером, после ужина в гостинице, она же библиотека, собираются священники и гости. Выпить по бокалу вина. Поделиться новостями, почерпнутыми из Интернета. Распечатали коробку шоколадных конфет, которую я привез из Москвы. На многочисленных полках ни одного русского автора. Кажется, что путного, тем более в богопознании, может принести русский язык? А ведь может на самом деле. Наши русские религиозные философы, вышвырнутые большевиками из России, — Булгаков, Бердяев, Федотов, — моим немцам, бенедиктинским священникам, не знакомы.

Мириам, уезжая, подарила мне будильник. «Мне уже не понадобится. Завтра я буду дома, в Дюльсенфорсе. Лишний вес. Лучше вместо будильника еще один лимон положу в рюкзак». Лимонные и цитрусовые деревья растут у дороги к нашему домику. Земля усыпана апельсинами и лимонами. Собирают их один раз в неделю, и многие плоды подгнивают, лежа на рыхлой земле. Грех не подобрать спелый плод.

Она врач, месячный отпуск провела в Израиле, путешествуя в одиночку. Неделю жила в протестантской общине евангелистов, еще где-то, теперь у бенедиктинцев. Сама она баптистка. Здесь, у католиков, не пропускала ни утренней, ни вечерней службы. Причащалась, разумеется. Как и Барбара. Барбара и ее муж тоже протестанты. Барбара активно участвует в службе, в воскресенье читает на аналое Евангелие. Люций бывает в храме редко. Чаще я его вижу с метлой на автостоянке.

Отрадно сознавать, что католики допускают иноверцев к причастию, к

молитвенному общению. В наших палестинах за это сурово наказывают. Как это случилось с иконописцем Зеноном, разрешившим католикам отслужить мессу в своем храме и причастившемся на этой мессе. Зенона, «опоганившего» православный храм иноверцами, епископ Евсевий запретил в священнослужении. Город Тверия, облепивший склон горы, ночью, весь в огнях, похож на огромный лайнер, вот-вот готовый плыть по воде. И снова под вечер над Галанскими высотами кружат вертолеты...

Галаны угрюмые — бурый массив
с отливом сверкающей меди.
Тяжёлые головы положив
на лапы, лежат, как медведи.

За ними, за всем, что таится от глаз,
За каверзой дикой природы,
В Библейском безоблачном небе кружась,
Приглядывают вертолёты.

Природу прицельная зоркость спасёт.
И так уж без меры изранен,
Оттуда, с хребтины Галанских высот,
Простреливается весь Израиль.

Чем выше внимательный взгляд, тем мудрей
Решаются все передраги.
В сиреневых сумерках стали темней
Медвежьи ложбины, овраги.

Храм в Табгхе осаждают туристы. Много русских групп. Перед самым храмом небольшой бассейн с рыбами, наполняемый водой из семи источников, они не иссякают с библейских времен. Рыбы тех же пород, что попадались в сети апостолам: красноперые, толстолобые — эти называются рыбой Петра. На дне бассейна много монет. Отец Иеремия прикрепил табличку на английском языке: «Кормить рыб и бросать монеты не разрешается». Но монет не стало меньше. Иеремия понял, что бросают люди, не умеющие читать по-английски, то есть русские. Тогда он повесил табличку на русском языке: «Хлеб и деньги не бросать» — «Здесь пропущены две буквы, — сказал я ему, — русские могут не понять смысла» — «Допишите», — попросил меня священник. «Вы понимаете, зачем они бросают деньги?» — спросил я его. «Нет» — «Чтобы вернуться сюда снова. Такая примета» — «Это очень вредно для рыб. От хлеба и монет они заболевают».

Нынешний храм Приумножения хлебов построен в прошлом веке на древнем фундаменте византийской церкви, разрушенной землетрясением в VI столетии. В алтаре на полу горбится камень, на котором якобы Христос разложил хлеб и рыбы, насытившие четыре тысячи человек. Рядом византийская мозаика, подтверждающая это чудо. Перед алтарной частью помещены две православные иконы Богородицы и Иисуса.

Впервые войдя в храм на утреннюю литургию, я увидел, что и священники, и миряне, которых было немного, находятся в алтаре. Я не решился присоединиться к ним. Но отец Иеремия настойчиво пригласил меня. Я занял место рядом с Вероникой. Позже, на каждой службе она показывала мне евангельские

и апостольские чтения, которые я открывал в своей русской Библии. Не зная, увы, немецкого языка, я таким образом участвовал в вечерних службах, а католическая литургия во многом сходна с православной и узнаваема.

Раз в неделю приезжает инженер проверять систему подачи воды. Домик, в котором я живу, попросту говоря, является водокачкой. Рядом с моей комнатой бойлерная. Мудреные машины, похожие на ЭВМ старого образца: счетчики, кнопки, разноцветные рычажки. Система иногда пошумливает за стеной, но — терпимо.

Молодой, в белоснежной рубашке араб приветливо поздоровался: «Hello!» — «How are you?» — спросил я его. «Well. And you?» — «Где вы живете?» — «В Тверии, рядом с отелем» — «А вы откуда?» — «Из России» — «Россия... Где это?» — «Знаете город Москву?» — «Да» — «Она столица России» — «O'key!» — ответил он. «Вы еврей?» — «Нет, я христианин» — «А какая ваша национальность?» — «Национальность? А что это? А, нет, я араб... Я христианин», — сказал он и перекрестился.

Часа два машина будет работать на полную мощность, разговора не получится, я ушел на берег озера, где облюбовал бухточку. Спугнул стаю чирков и кричек. Стремительный чирок вскрикнул, пролетая. Увидел свое место занятым.

* * *

В трапезной подобие шведского стола, чуть, может, поскромнее. Молодые священники, монахи всегда улыбчивы, судя по смачному хохоту за столом, удачно шутят. За обедом шумно, если не сказать весело. А вот за ужином слышна классическая музыка — Бах, Гендель, Шопен. И ни слова, пока не прозвучат колокольчик и благодарственная молитва.

* * *

Капернаум. Руины города, который называют городом Иисуса. Синагога, на месте старой, где проповедовал Иисус, занимает чуть ли не треть города. И вокруг лачуги — стены и фундаменты, — дающие представление о величине жилища горожан. Можно бы их сравнить с ласточкиными гнездами, что лепились к стенам синагоги и вокруг нее. В каком-то из этих крохотных гнездышек жил Петр с женой и тещей, и там останавливался Иисус. Едва ли не такую же площадь занимает протестантская церковь. Она похожа на гигантскую летающую тарелку, опустившуюся на бывший город, не нарушив его останков. Бетонные опоры чуть возносятся над землей эту прозрачную конструкцию, детище иных миров. Хотя опуститься она могла бы не в самом городе, а неподалеку, как, например, православный храм — за пределами Капернаума. В ее настырном присутствии чувствуется дух агрессивного протестантизма.

Сегодня воскресенье, мало туристов, в тени переплетенных веток платана дремлет сторож. Я спустился по скользким камням к самой воде. Отсюда, на

глубину, ныряли, наверное, капернаумские мальчишки. Купался ли в озере Иисус? Умел ли Он плавать? В Назарете, где Он рос, не было большой воды...

И тут меня застал телефонный звонок из израильской тюрьмы, от Алексея Г. Много лет я переписываюсь с ним. Бывший россиянин, он осужден за участие в убийстве. Он был лишь свидетелем, пассивным участником, но вину взял на себя, зная, что, если назовет настоящих убийц, то жить ему останется недолго. Подробностей преступления я не знал, никогда не спрашивал, а он не считал нужным в них посвящать. А тут вдруг прорвало, вывалил весь ужас случившегося с ним двадцать три года тому назад. Он не знал, что я слушаю его в Капернауме. Это было подобие исповеди, безудержного сбивчивого потока слов, длившегося не менее часа. Какая-то неотвратимая, неизъяснимая сила выталакивала их. Как будто я слушал его не один. Незыблемая голубизна воды и неба, отраженного в ней, мягкое теплое декабрьское солнце... и безумие падшего мира. Господи, приди на помощь этому несчастному человеку...

Подъехал белый автобус, набитый, будто семечками, черными туристами. Высыпали на площадь, резвятся, как дети, облепили статую апостола Петра, фотографируются. Кто держится за его жезл, кто за руку, кто прижался сбоку. Улыбаются до ушей, счастливые. Висит на апостоле Петре африканский материк.

Дорога по-над озером в Капернаум — это древняя римская дорога. Разделенная сегодня на пешую и автомобильную. По ней и ходил Христос, проводивший немалое время в Галилее. Пешеходная выложена белым камнем. Через каждый километр столбик с автопоилкой. Сейчас зима, не так знойно, водичка не подается. А в другое время, стоит наклониться к раковине, тотчас же забьет фонтанчик. Неподалеку от города каменный знак, указывающий, что здесь была таможенная застава, где мытарь Матфей собирал пошлину. Чуть дальше — так называемый «камень кровоточивой», место, где Христос исцелил женщину, прикоснувшуюся к нему. Эти и другие памятные знаки сохранились благодаря испанской паломнице Эгерии, побывавшей здесь в конце четвертого века и оставившей свои заметки. Иудеи, христиане Капернаума передавали из поколения в поколение все подробности пребывания здесь Иисуса Христа.

Над дорогой, метрах в двадцати, пещера Эremos, в которой, по преданию, оставался на ночь Христос, когда всходил на гору молиться. С этой горы Он возвестил заповеди Блаженства. Пещера чистая, только очень много стеариновых следов от свечек. Каждый камушек побывал подсвечником. Деревянная скамья отшлифована седалищами, но надписи все же кое-где на ней вырезаны. Из пещеры на простор тянется деревце — худенькое и упрямое. Ему тоже хочется видеть изумрудное озеро, горы, безоблачное небо.

К монастырю я подходил уже затемно. Меня догнал молодой человек и, узнав, что я живу там, спросил, нельзя ли переночевать в монастыре? Случай примечательный. Юноша испанец, лет восемнадцати, путешествует по Израилю. Уверенный, что на улице ночевать ему не придется, он не озаботился ночлегом заранее. И задает вопрос случайному попутчику. До города далеко, да он и не останавливается в гостиницах, дорого, кто-то всегда пускает его на ночлег. Пустили и в монастырь.

В свободном мире человек чувствует себя свободно. И привыкает к этому с молодости. Внучки Барбары, окончив школу, разъехались по миру: одна в

Парагвай, другая в Аргентину. Живут в семьях, помогая по хозяйству — в саду, в доме. Или мальчики и девочки, волонтерствующие в монастыре. После школы они не пошли учиться дальше, не уверенные в своем призвании. Они рассудили, что, может быть, Церковь поможет им найти себя, свое место в жизни. Общество выделяет им, окончившим школу, стипендию на год проживания в любой стране. И они добираются туда без пап и без мам. За год, живя среди людей и трудясь для людей, можно почувствовать свое призвание. И дело не в том, что они владеют английским, понятным в любой точке мира. Они внутренне раскрепощены. Человек моего происхождения и моего возраста в моей стране озабочен на каждом шагу. Поспешая на вокзал к электричке, думает, не изменилось ли расписание, покупая лекарство в аптеке, не уверен, что оно не поддельное. И скорее всего, человек моего возраста деньги в сберкассе хранить не будет, если, конечно, они у него есть. Внешняя стабильная обстановка способствует молодым людям адаптироваться в мире. Ну, а израильская молодежь, которая с рождения взята под прицел террористов? Она мне показалась такой же деятельной и общительной, как мои волонтеры в монастыре. На закате, когда солнце только-только касается гор, на дерево перед моим домом прилетают две горлицы. Не боясь моего присутствия, тихо, без птичьей суеты, по-домашнему устраиваются на ветке.

Непуганых уток стада...
Копошатся, ныряют, взлетают...
Летите, летите, пернатые стаи сюда.
Здесь в вас не стреляют.
И рыбу не глушат, и зверя не душат капканом.
Свидетелю нравов иных,
такое мне кажется странным.
На камушек цапля,
ног не замочив опустилась.
Какая достойная неприступность,
Скажите на милость...
В неё на предмет шашлыка
и по страсти загула
Поддатый полковник
Из плавней не высунет дула.
О чём бы я здесь ни завёл разговор с первым встречным,
края свои вспомню, которые сравнивать не с чем.
Мы словно калеки, бывая в ухоженных странах,
твердим об одном, о родном — о скорбях и о ранах.
О травмах врождённых, запущенных безнадежно.
Однако в гостях неприлично скулить. Сколько можно!
Под вечер на тёплых камнях расселись койоты.
Уставились все на закат, прочь отринув дневные заботы.

Позднее, после утренней службы, утро. Пустынный берег. Камушки у воды уже прогреты солнцем. Шушукаются волны, переговариваются меж собою. Мягкая вода холодновата, как у нас в августе. Броситься кролем в ее объятия. При взмахе правой руки, поворачивая голову влево, невольно закрываешь глаза от слепящего солнца. На протяжении всей жизни вот так, загребая кролем, я встречался с ним по утрам; в Куйвижи, на Валдае, в Тамани, в Семхозе, в Эгейском море, в Адриатическом — везде, где оно вставало слева над водною

гладью. Быть может, и в будущую жизнь я войду, рассекая земные пределы, и Солнце, но уже другое, не ослепительное Солнце, откроет мои глаза...

А еще раньше, на рассвете, вдруг голоса, шум машины, стук сгружаемых ящиков. Это приехали рабочие собирать оливы. Способ, каким древние греки времен Гомера собирали урожай, практикуется и сегодня. Под деревом расстилают две большие плотные пленки по окружности всей кроны и начинают стегать длинной палкой по веткам оливы. Ягоды сыплются градом вместе с листьями и мелкими веточками. Затем пленки подтягивают к следующей маслине и так же хлещут по ней палками. Обтрусив нижние ветки, верхние обивают с высокой лестницы. Нагруженные пленки подтягивают к пластиковым ящикам, быстро-быстро выбирают лиственный мусор и ссыпают в них ягоды.

Сбор урожая в этом году запоздал. Много ягод уже нападало под деревьями. Я спросил пожилого араба, будете ли их собирать? Он ответил одним словом: little. Непонятно, то ли мало нападало на землю, то ли немножко будем собирать.

Фермер Абдулла, хозяин садов, сетует на рабочих: обещали давно приехать, а явились только что. Сейчас они нарасхват, диктуют свои условия.

* * *

За трапезой никто не встает из-за стола, ждут последнего. Сегодня заезжая паломница после вечерней молитвы приглашена на ужин. Она, не зная обычая, не спешила с выбором блюда, ела не торопясь, основательно, как делают немцы все, что делают. Все давно отужинали, ждут ее при всеобщем молчании. Минут пятнадцать, а то и более. Только она закончила, священник зазвонил в колокольчик, и все встали, громко двигая стульями, на благодарственную молитву.

Время Адвента, Рождественского поста, сопровождается затейливыми придумками. После благодарственной молитвы читалась вслух смешная история из походов святого Николая. А потом раздавались подарки, мешочки с конфетами, которыми увешано корявое деревце вроде нашей елки, стоящее в углу комнаты. Грядущий в мир Христос уже до рождения одаривает гостинцами всех, кто ждет Его. Каждый придумывает какой-нибудь сюрприз. В следующий раз юноша-волонтер прочитал свое стихотворение на евангельскую тему. Девушка вырезала лобзиком звезды и, разноцветные, разложила по столам для каждого. Вероника рассказывала о земном пути Богородицы. А потом пели Рождественскую песнь Марии — гимн, который знает, наверное, вся Германия. «Не вся», — сокрушенно призналась Барбара. И правда, двое немцев, рабочих из Дюссельдорфа, не пели.

В какой-то день дошла очередь и до меня. «Хочим слышать русскую песню», — глядя в словарь, обратилась ко мне Вероника. Я понял, что они имеют в виду какую-нибудь праздничную молитву, и пропел Рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсияй миру свет разума!..» Объяснил, что это главная «песня» праздника. Прочел несколько своих стихотворений, посвященных Рождеству. Как мог, объяснил содержание.

«Что у Господа один миг,
То у нас две тысячи лет.
К восхищённой земле приник
отдалённый нездешний свет.

Долы девственные осенил...
Потому и родился Сын
Света — семя звёздных высот,
Чтобы в нас завязался плод.
Не оставит восхода зерно,
Если не распадётся в прах.
Потому и упало оно
в бездны горя, в бесплодный страх.

Миг тот, тысячелетия для,
Нам себя дано превозмочь.
Понесёт или нет Земля,
Как её пречистая дочь?..

Нет, ещё не взошёл посев.
Побивает то град, то навет.
Что у Господа девять месяцев,
То у нас девять тысяч лет.

В воскресенье никто не работает, даже Люций, профессор математики, исполняющий в монастыре должность дворника. Исполняет добросовестно, как узбек Паша в моем московском дворе. На автостоянке возле монастыря ни бумажки, ни фантика. По воскресеньям на своей машине они с Барбарой и Вероникой путешествуют по Израилю. На сей раз пригласили меня. Предстоит восхождение на плато, откуда видна чуть ли не вся Галилея. Неподалеку от Магдалы (родина Марии Магдалины) свернули к арабскому поселку Хамам, здесь оставили машину.

Гора устрашающего вида, но по высоте не более полутора километров. У самого верха отвесная стена, в которой тысячелетия назад аборигены выдолбили жилища. На такой высоте и неприступности жить безопасней, чем в долинах. Как они, бедные, туда забирались? Что люди! По каменистым крутым склонам пасется скот — коровы, телята. Уверенно ступают меж крупных и мелких камней. На самых подступах, у отвесной стены, в которую вмурованы скобы, толпятся школьники. Не первую группу школьников я вижу в этих краях. Их возят по историческим местам, чтобы хорошо знали свою страну. Мы подождали, пока они, как муравьи, вытянутые в цепочку, не скроются из виду, и двинулись следом. Впереди, неуверенно цепляясь за скобы, поднимается Вероника, крупная женщина. Далеко нам придется падать, если соскользнет, смахнув и меня, как былинку.

Но вот и плато. Густая трава, стадо черных коз: свирепые морды, огромные уши. Древняя порода козлищ, упомянутых Иисусом в притче об овцах и козлах. Внизу с высокой мечети заголосил муэдзин. Его голос, удесятеренный динамиком, увы, не ласкает слух. И здесь, на плато, тоже есть озеро — искусственное, полное дождевой воды. Далеко видны разбросанные по холмам Кана, Магдала, Назарет...

Отец Иеремия вечером встретил меня словами: «В Москве трудный день, уличные стычки». В комнате Барбары есть телевизор. Последние известия

показали многотысячный митинг на проспекте Сахарова. Москва поднялась, нагло обманутая выборами в парламент. Москва поднялась... Поднялась ли?

* * *

Перед храмом во двореке лежат огромные каменные чаши — бывшие давилки для отжимания оливкового масла. Однажды утром я увидел, что они уставлены свечками. Группа паломников внимает довольно странному полуреву-полурыку. Perhaps Greek orthodox — пояснила Вероника. Так и есть, наш брат православный. В храм они войти не смеют, молитвенное общение с католиками запрещено, поэтому молебствие проводят рядом. Священник быкообразной (отсюда и голос) наружности, сзади на голове косичка, впереди борода лопатой. Помолившись, достали съестное: бутерброды, пирожные. Священник с большим пирожным отошел в кусты и там, вкушая вкусих, тщательно отряхнул бороду. Трудно уберечься от сравнения внешнего вида православных батюшек и бенедиктинцев — худых, подтянутых, опрятных.

В сувенирном магазине работает женщина-гречанка. Сегодня за столом мы сидели рядом, и я заметил, что крестное знамение она кладет по-православному — справа налево. «Вы православная?» — спросил я ее. «Да», — ответила женщина. «А в какую церковь ходите? Бываете у бенедиктинцев?» — «Разумеется. Я же христианка. Бываю по праздникам и в нашей, которая за Капернаумом. Но она далеко. Я живу в Магдале, машины нет, езжу сюда на велосипеде» — «А духовник ваш знает, что вы причащаетесь у католиков?» Женщина не поняла моего вопроса.

Удивительно: ни одного печального лица. Семейная атмосфера. Хотя мимолетных гостей бывает больше, чем своих. А свои — четыре священника, молодые люди-волонтеры, Барбара, Луций, Вероника и я, затесавшийся в их семью.

* * *

Каждое утро — благотворное общение с тачкой. Часа три отколупываю киркой и лопатой плотный слой гравия. Сваливаю недалеко, под обрыв. Гора старого гравия растет. Я стараюсь разбросать пошире, чтобы зимой ее хорошенько промыли дожди. Послужит еще этот гравий в монастырском хозяйстве.

Работа моя довольно пыльная, после нее надобно хорошенько отмыться. Что может быть чище воды Генисарета! Вхожу в нее, в озеро, как в крещальную купель. Из кустов шумно поднялась цапля. Важная, неторопливо машет крыльями. Грудь выставлена, как у ладьи. Не летит, а плывет.

По-над озером на территории монастыря — несколько молебных площадок. Солнце затеняет бамбуковые циновки, рядами лежат тесаные бревна в виде лавок, посреди площадки — крест. И стесанная под столешницу каменная глыба, на которой священник, служащий литургию, совершает освещение Даров.

Одну такую площадку облюбовали койоты. Большие бесхвостые крысы. Вечером семья этих животных располагается на теплых бревнах. Сидят, почесываются, глядя на закат. На бревнах, на крыше я замечал их не однажды, а на каменном престоле — ни разу.

* * *

Третья неделя Адвента. Воскресная литургия. Храм освещают белые толстые свечи. Зажжены перед иконой Спасителя и Божьей матери. Пылают свечами и паникадило. Витражное окно, как на картине Вермеера, переливается малиновыми и голубыми цветами. Вся служба, насквозь вся, поется. Краски на витражах ликуют, вторят молитвенным песнопениям. Вдруг у открытого окошка появилось облачко. Покружилось, переместилось к другому, снова к открытому и в нем исчезло. Что это было? Дыхание ангельского пения?

После вчерашнего сочного дождя свежо, как в луговой пойме. Птицы, умытые наконец, щебечут на разные голоса. Кусты олеандра обсыпаны бусинами дождя. Солнышко то пробьется сквозь тучи, то снова спрячется за ними. Я успел за сегодня подчистить свой объект, вывез тачек десять последних. Завтра под кактусом (иногда ему, разлапистому, говорю: кактус, не толкайся!) большие камни, что лежали по периметру площадки, соберу в кучу. И можно будет стелить новую пленку. И засыпать новым гравием.

Забегаю вперед, скажу, что зимой следующего года монахи прислали мне фотографии площадки, которую я обработал. Сияет белым, как рафинад, гравием и — ни одной травинки, ни одной щепотки зелени сквозь него не пробилось. Я возликовал, увидев плоды своей работы как дань благодарности за братское гостеприимство.

Заглянул отец Иеремия посмотреть, как идут дела. «Я к вам на минутку». Весь в заботах. Монастырь расстраивается: возводится еще один храм, помещения для паломников, конференц-зал. В движениях быстрый, в словах экономный. Улыбчивое светлое лицо иногда вдруг омрачается. Чистый по-детски взгляд и не по-детски пронизательный.

В субботу и в воскресенье в трапезной самообслуживание. Повар Абрахам и его помощница в эти дни не работают. Заранее приготовленная еда достается из холодильника, а посуду моем сами. На кухне тесновато. Один драит посуду щеткой в железном баке, другой ополаскивает, девушки с полотенцами трут до блеска тарелки, блюда, чашки. Их тут же подхватывают и расставляют на полки. Священники тоже участвуют в очистительной кампании. Подпоясавшись и надев фартуки на сутану.

Косточки, остатки мяса я хотел отнести собаке. Нет, сказала Барбара, мясо перченое, собаке вредно.

* * *

Долгая, на целый день, поездка в национальный заповедник, что расположен под Хайфой. Километров 300 туда и обратно. Немцы, мои новые родственники во Христе, любители лазить по горам и снимать на камеру красивые пейзажи. Я думал, эта экскурсия связана с христианскими достопримечательностями. Нет, просто очередной выезд на пленэр. Хотя, конечно же, образцовый заповедник стоит особого внимания.

Сохранилась пещера, огромная, как концертный зал, где жили первобытные люди в доисторические времена. Черные своды и стены прокопчены, наверное, дымом их очага. Здесь установлен большой экран и демонстрируется

фильм о том, как они охотились, разводили огонь, варили пищу, рождались и умирали. Эффект присутствия среди аборигенов обеспечен пультовым управлением.

Тропа из пещеры ведет в горы. Оттуда видны море и пойма, сплошь покрытая сверкающими теплицами. Там на плодородной земле круглый год плодоносят банановые, гранатовые, апельсиновые сады. А рядом с морем — посевные культуры. Не одна Хайфа питается плодами своего идеально выстроенного хозяйства. В нашем продовольственном магазине в Москве на ящике с апельсинами красуется наклейка «Хайфа». Я уж не говорю об израильской моркови, которой завалены московские овощные магазины.

На обратном пути проезжали арабские города. Все горы заселены. Повсюду, похожие на белемнитов, высятся минареты, опровергая пропагандистский миф, будто в Израиле дискриминируют ислам.

В городе Тальяг остановились перекусить. Всюду чисто, многолюдно, открытые магазины, товары вынесены на улицу. У входа в кафе кемарит седовласый араб — в пиджаке и длинной галабее¹. Угрелся. Солнышко поджаривает его старые кости.

Цивилизованная жизнь. Продавцы говорят по-английски. А мы, стоя у витрины и заказывая лаваш с овощной начинкой, пользовались подсказками мальчиков-арабчат, которые знают и немецкие слова.

И всюду урны для мусора. Не как на московских улицах, где горожане обходятся без подобных услуг.

Знакомые, нашего северного полушария звезды, неяркие при полной луне. Арктур стоял примерно в этом же месте при ногах Волопаса, когда безмолвными ночами смотрел на него Иисус. Темна была и Тверия. А сейчас кажется, что город, как огромный многоярусный теплоход, вот-вот спустится и сойдет на воду, сверкая своими зажженными палубами. К Тверии приложим и другой образ: город на горе ночью — гора, обсыпанная бриллиантами.

Страшно орут койоты. Не такие уж они безобидные, если так орут.

Молодежь сегодня не ужинала в трапезной. Собралась в парке за шашлыками. Отмечают день рождения Марты, которой из дома пришла рождественская посылка. В нее, кажется, влюблен Матвей, юноша из Берлина. Он тоже недавно кончил школу, куда пойти учиться дальше — не знает. И надеется, что время, проведенное здесь, ему подскажет. Я видел, как он управляется с колесным трактором, груженным обрезанными ветками, осторожно, по кочкам выводя его на дорогу. Всю неделю на берегу он корчевал кусты и рубил ветки. Он один из волонтеров. Заведует инструментом. У него ключи от инструментальной будки.

Катера с туристами курсируют по озеру. И не всегда оттуда доносится мелодическая музыка. Бывает и другая — современная рубиловка.

Счастливая встреча, подобно видению, ознаменовала мое последнее утро в Табгхе. Проснулся я раньше обычного, только-только забрезжил свет в застекленной двери, обращенной к озеру. И там, в клубящейся глубине, возникло

¹ Широкая длинная, до пят, мужская рубаха.

темное пятно. Оно медленно двигалось. Я быстро оделся и побежал к озеру. Но выйти на открытый берег не решился, стоял в кустах и вдруг понял, что это — лодка. Уже почти рассвело. В лодке было два человека. Один, стоя, выбирал сеть из воды, второй на веслах медленно греб вдоль берега.

Много раз я представлял эту евангельскую картину в воображении. Ведь точно так это и происходило. Раннее утро. Редящий туман бежит по воде... Может быть, даже на этом месте и увидел рыбаков Иисус. Ведь оно было для них самым притягательным, самым рыбным.

Прощай, Кинарет! Гора Блаженств, лазоревое небо, тихая радушная Табгха — прощайте.

Отец Матеуш, отец Захария, отец Франциск, отец Иеремия!..

За неделю до Рождества в Назарете объявлено театрализованное шоу, посвященное празднику. В колоссальный собор Благовещения арабы-христиане набились в большом количестве. Кланами, семьями, меж рядов бегают дети. Начало в 19.00. Но, как правило, праздничные представления вовремя не начинаются. Мои друзья, живущие в Назарете, знают местные обычаи; они пришли в храм на час позже и к началу не опоздали. По их мнению, у аборигенов размыто понятие времени. На производстве — план, механизмы, там работа, там не опаздывают. А в остальном — на полчаса, на час, как заведено.

Церковь Благовещения в Назарете. Гигантский храм, на стенах которого выложены мозаики всех стран мира с изображением Богородицы с Младенцем, или без Него, или с архангелом Гавриилом. Под этим циклопическим сооружением, напомнившим мне здание московского университета на Воробьевых горах, сохранились остатки вроде бы того жилья, где обитали Мария с Иосифом и с Младенцем. Несколько каменных ступенек, ведущих в каменный закуток. Меня не впечатляют эти археологические реалии, подлинность которых недоказуема. Тем более, в этой театрализованной обстановке они похожи больше на бутафорию.

Церковь, посвященная Иосифу, значительно меньше. А еще меньше храм над источником, где якобы деве Марии явился архангел благовестник. Здесь ли он явился или в доме, как пишет апостол Лука, конечно, не столь важно. Я помнил это место по акварели Поленова — ничего похожего. В конце XIX века, когда запечатлел его художник, оно, наверное, мало изменилось с евангельских времен. На склоне горы — горстка белых хижин, у источника женщина с сосудом на голове. Сейчас здесь арабская часть Назарета. Нижний город. Шумный, суетливый, базарный. Центральные улицы — сплошной рынок: фрукты, тряпки, ботинки, напитки... Все выставлено на тротуары. Механические зазывалы рекламируют товар. Оравы мальчишек задиристо орут, возятся, толкают прохожих.

И второй Назарет — верхний, ему всего-то лет 15-20. Современная архитектура, строгая, без излишеств. Чисто, тихо, огромные, как ангары, супермаркеты, но их не видно и не слышно. Есть и маленькие магазинчики.

Сережа и Света, у которых я остановился на пару дней, живут в четырехкомнатной квартире. Дети выросли, уехали в Америку. Возвращаться не хотят.

Младший женат на арабке. Расписались на Кипре (в Израиле межконфессиональные браки не регистрируются), а свадьбу справляли здесь, в Назарете. Гостей было более 800 человек. Со стороны мужа, то есть евреев — 30, остальные арабы. Смешанные браки укрепляют израильское общество. К сожалению, их не много.

Четвертая комната в квартире — комната-бункер, комната безопасности. С 90-х годов начали строить дома с учетом бомбового или сейсмического разрушения. Впрочем, сейсмический фактор учитывался и раньше. А теперь, когда Израиль атакуют со всех сторон, в жилое строительство внесено важное дополнение. В каждом доме имеется один сквозной, сверху донизу, сектор №2. Даже если при прямом попадании дом рухнет, комнаты безопасности одна над другой остаются незыблемыми. Они есть в каждой квартире. Личное бомбоубежище. Сережа и Света отсиживались в нем при последнем обстреле Назарета.

Приехали они сюда из Литвы в середине девяностых, уже верующими христианами. Света со школьных лет не сомневалась, что Бог есть, но верующей себя не считала. В 92-м году, слушая радиостанцию «Благовест», узнала, что можно прочесть о Христе в книге Александра Меня. Диктор сказала: кто хочет ее приобрести, вышлите адрес. И вскоре пришли наложенным платежом две книги: «Сын Человеческий» и «Истоки религии». Прочитав их, Света крестилась, а Сережа, они уже были мужем и женой, над ней подшучивал, опасаясь ее религиозного пыла. Но в книги заглянул. Начал читать... И однажды, придя домой с ночной смены, упал на колени перед женой, прося прощения за свое невежество. Они уже подали документы на выезд. И здесь, в протестантской общине он крестился.

Вечером город похож на уютно освещенный парк. Стайка детишек лет 10-14 попалась нам на пути. Город на горе, поэтому дома спускаются ярусами. Мы подходим к детям, они кричат тем, что внизу, на нижней площадке: «Подожди, не бросай, пусть люди пройдут!» И как только люди, то есть мы, прошли, раздаётся команда: «Теперь бросай!», и снизу вверх летит башмак под дружный визг и хохот.

Сейчас декабрь, в шесть утра начинает светать, и сразу, по мере увеличения света, гаснут один за другим уличные фонари. На остановке автобуса уже толпятся люди. Есть курящие. Есть среди них и те, что бросают окурки под ноги, хотя урна рядом. «Эти наверняка советского происхождения» — поясняет Сережа.

В нижнем городе, рядом с храмом Благовещения, арабы обнаружили некое древнее захоронение и объявили, что найденные кости, выражаясь по-нашему, мощи святого. А по религиозным законам, на месте захоронения святого должна стоять мечеть. Но израильские власти воспротивились захвату пусть даже клочка земли. К тому же рядом с собором другой святыни. Мусульмане намеревались возвести мечеть выше собора. И все же они это место огородили и собираются за забором на молитву.

На центральной улице, где теснятся торговые ряды, молодой человек вышел из кафе и на виду у всех облегчил себя по малой нужде. Шум, толчея, и он прудит у себя под ногами, рискуя задеть прохожих. Точно такую картину я наблюдал и в Иерусалиме, в старом городе, возле мусульманских торговых лавок.

Первый день в Иерусалиме. Мой провожатый — Володя Ф., у которого я остановился. Он литератор, поэт. Оторванность от русской культурной почвы переживает корнями, потому что корни в ней, и перетащить их куда-либо вместе с почтовым адресом невозможно. Замкнут, немногословен, на вопросы отвечает лаконично. По правде сказать, при такой отзывчивости и задавать их неловко...

Улица Скорби, по которой шел Иисус на Голгофу. Базарный восточный шум, не хочется смотреть по сторонам, а только под ноги, на бугристые каменные плиты. Христос ведь под тяжестью креста смотрел на них, на эти самые булыги... У Гроба Господня очередь, русские набожные паломники, точно такие, как в Троице-Сергиевой лавре. «Прасковья, — зовет здоровенный детина, — иди скорей сюда, вот он, гроб... Здесь все намолито...» У входа в пещеру стоит монах и повторяет беспрестанно по-русски и по-английски: «Выходим», «Come back». И народ выползает, кое-кто задом из почтения к святыне. Я тоже приложился к камню, на котором, может быть, лежало тело Господа, помолился — о своих, близких и дальних, о нашей Церкви, о стране...

В армянском храме нас прихватил священник: «From Russia?» — «Yes». «Помолиться о Russia?» — предложил он нам и, не спрашивая согласия, потащил на место молитвы у железных дверей. Сам храм был закрыт. Пробормотав что-то по-армянски, он потащил нас дальше, приговаривая «пожертвования, пожертвования». Я ускользнул из «пожертвенных» объятий — «thank you, thank you» и — ходу, Володя за мной.

Толпа живописна. Лапсердаки, костюмы с фалдами, шляпы, пейсы — иногда изящно закрученные, как букли у женщин. Белобородые старички — на голове кипа, в руках книжка. С раскрытой книгой многие — дожидаясь автобуса и в самом автобусе.

Вдруг в конце какой-то улочки гремит музыка, и толпа прохожих составляет хоровод, начинается пляска. Искрометная и нескончаемая. Веселые, трезвые, живые люди.

На площади закончился митинг. Народ расходится, сворачивают плакаты, мусорщик убирает площадь, идет с тележкой. На тележке ящик для мусора. Вдруг он в этом ящике обнаруживает мегафон. Кто-то в спешке сунул его по ошибке в ящик. Мусорщик вертит его в руках, нажимает на кнопки, спрашивает у людей: «Чей?» Наконец хозяин находится, господин с плакатом, который берет, походя, мегафон, как будто с полки, где только что оставил. Не благодарит мусорщика, продолжает с кем-то переговариваться, продвигаясь к выходу. За что благодарить? Мусорщик отдал то, что ему не принадлежит.

Автобусы ходят редко, а носятся со скоростью мотоциклистов-рокеров. Огромные двухчастные вагоны несутся пулей среди машин, да и машины не отстают. Говорят, что водители автобусов в основном бывшие летчики. Их, вышедших рано на пенсию, охотно берут на эту работу: в экстремальных обстоятельствах у них хорошая реакция. Ну, а от небесных скоростей они никак не могут отвыкнуть.

В автобусе атмосфера по-домашнему дружеская: взгляды, душевное расположение сближают людей, которые в любую минуту могут быть атакованы террористами. Господин лет восьмидесяти. Огромный чемодан на колесиках, молния расстегнута. Поднявшись в автобус, он прикрутил чемодан веревкой к

стойке, воткнул в карман чемодана большой букет цветов, сел к окошку, достал пук газет и принялся за чтение. Пассажиры наблюдают за странным стариком. Он ехал почти до конечной остановки, в автобусе осталось пять пассажиров, все пять бросились помогать ему — отвязали чемодан, спустили на землю, аккуратно передали букет цветов.

В подъезде объявление по-русски: «Дипломированный электрик выполняет все виды работ». Солнечные батареи и сейчас, в декабре нагревают воду, но только к концу дня. За ночь вода остывает. В квартире, где я живу, под утро холодно, как в таежной палатке осенью, когда лежишь в спальнике и не хочется вылезать, ждешь, может, сосед вылезет первым и растопит печку. Но печки в иерусалимских домах не заведены, а электроэнергия дорогая, приходится экономить моему доброму малоимущему хозяину. Володя приехал в Израиль двадцать два года тому назад и, как я уже говорил, в израильском климате не прижился. Оттого негативно настроен ко многому, и прежде всего к государству. Отношение к еврейству чуть ли не антисемитское. Точно такое же у его друга, тоже поэта. Но надо это понимать не в смысле идеологии, а так же, как политически грамотные люди в России настроены к своему среднестатистическому этносу. Нельзя же их назвать русофобами. Отсюда, издалека, кажется, что власть у нас наводит порядок. Не идет ни на какую сделку с террористами, как в Израиле, например, где выпустили недавно из тюрем толпу головорезов, обменяв их на одного человека.

Прощальный разговор за бутылкой вина у нас получился полемический.

Мучительна судьба эмигранта, смертельно сроднившегося с русской культурой.

За эту неделю отдалилась от меня Табгха. Отдалилась и, как ласточка, держится на расстоянии. На храмы, на стены, на камни смотреть больше неинтересно. Макет старого Иерусалима в музее — самое впечатляющее зрелище. Нынешний, настоящий, в моем слабом воображении не совмещается с библейским.

Но вернусь в Табгху, в то место, которое впервые представил себе на Камчатке, в геологической экспедиции, где я работал. Однажды под вечер мы разбили лагерь на широкой поляне, поросшей сочной травой. Почему-то она мне представилась той, евангельской поляной, на которой Христос накормил несколькими хлебами четырехтысячную толпу. Стреноженные лошади, отпущенные на волю, тут же захрупали мерно и звучно. Там, на евангельской поляне, тоже было «много травы», как пишет Иоанн. Представил я себе эту картину очень живо и нисколько не усомнился в совершенном чуде. В тот год, в экспедиции, я впервые открыл Евангелие. Моя будущая жена, провожая меня в аэропорт, принесла старенькую книжицу. Одолжила у кого-то почитать. И я за четыре месяца переписал Евангелие в свою тетрадь почти целиком. Еще потому запомнились мне этот день и эта поляна, что по рации мы слышали о смерти Паустовского, одного из моих любимых писателей в те годы. Странные бывают сближения, заметил однажды Пушкин. Странно, что издалека, из глухого блуждающего бытия я увидел ту поляну на берегу Генисаретского озера именно такой, девственно-несмятой, где мы остановились на ночлег. И теперь они соединились — Табгха и зеленое плато у подножия Толбачека.

Юрий Каграманов

Призрак Закона

Когда над кораблями не властвуют кормила,
они попадают во власть подводных скал.

Г.К.Честертон

Призрак бродит по Европе, и по Соединенным Штатам тоже — призрак Закона. Того, что пишется с прописной буквы. Иначе говоря — Божьего Закона, идущего «от Моисея».

Одни смотрят на него с надеждой, другие — со страхом и отвращением, третьи стараются не замечать, хотя с течением времени не замечать становится все труднее. Потому что любой закон заключает в себе идею порядка, а Божий Закон — порядка, санкционированного «свыше» и по этой причине, как показывает опыт, наиболее эффективного в противостоянии наступающему хаосу. Это не древний, природный и «родимый» хаос, но, по выражению о. Георгия Флоровского, «хаос новый и вторичный, хаос исторический, хаос греха и распада...»¹ Естественно, что такого рода хаос «зевает» (греческое слово «хаос» — производное от глагола, означающего «зевать», «зиять») в человеческих душах. Между тем, авторы всевозможных политических и экономических проектов, как правило, упускают из виду, что они (проекты) имеют смысл лишь применительно к людям; и не имеют смысла применительно... ну, скажем, к пернатым.

Применительно к стае ворон, что будет кружить над останками евро-американской цивилизации, они точно не имеют смысла.

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Мазепа и другие. Украина в поисках отцов-основателей» (№ 2, 2009), «Вокруг "иранской идиомы"» (№ 12, 2009), «Что нам готовит год 2083?» (№ 12, 2011), «Крик Майастры. Перспектива консервативной революции в Европе» (№ 2, 2013); «Нерон высадился в Америке» (№ 8, 2013); «На подходе ко второму Просвещению» (№ 1, 2013).

О «кривой» культуре

И вот, отчалив, пол-Европы
Плывет неведомо куда.

Илья Эренбург

Приведенные строки Эренбург написал в 1921 году, сидя в Париже и, естественно, имея в виду восточную половину нашего континента. В наши дни другая половина Европы, вкуче с Соединенными Штатами, отчаливает от своего прошлого, устремившись в некое Море бурь, если воспользоваться старинным картографическим термином.

Что за недобрая сила влечет западные народы в грозовую неизвестность? Эта сила называется гендерной революцией (от слова «gender» в его новейшем значении «распределение по половому признаку»). Новизна явления мешает оценить его по достоинству; между тем, как справедливо, на мой взгляд, пишет Р.А.Гальцева, «идет революция, перед которой по степени радикализма отступает даже социалистическая».²

Другое ее название, более скромное и «техническое» — движение ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы), которое сами его участники называют «странным» и «кривым» (queer), добавляя к означенной аббревиатуре еще одну букву: LGBTQ. Но эпитеты «странное» и «кривое» — слишком слабые; речь ведь идет о вещах, которые, как говорит американская писательница Нэнси Коэн, заставили остальной (то есть не американский и не европейский) мир «раскрыть от изумления рот».

Впрочем, еще лет двадцать назад сами американцы и европейцы раскрыли бы от изумления рты, если бы могли увидеть, что происходит сегодня. Что, например, мужские и женские пары не только вступают в законный «брак», но и чувствуют себя при этом передовой частью общества, «ударниками» в своем роде. Или что мужчина может воспользоваться женским туалетом и женским душем, если он «чувствует себя, как женщина», и аналогичным образом может поступать женщина, «если она чувствует себя, как мужчина» (в некоторых штатах США разрешено опять же законодательно).

Но для значительной части населения первоначальная оторопь сменилась постепенным привыканием к диковинным (это мягко говоря) новшествам; тем более, что «кривая» культура пользуется энергичной поддержкой в интеллектуальных кругах. Интеллектуальный «авангард» принял за основу положение известного психоаналитика Вильгельма Райха (чьи работы еще в 20-х годах активно пропагандировались левацкими кругами в СССР) о том, что «правда о поле» есть для человечества «главная правда», от которой зависит все остальное. Действительно, «правда о поле» для человека чрезвычайно важна; вопрос в том, как ее понимать.

«Авангард», о котором идет речь, проникся научно-рациональным видением материального мира, включая человеческую «живность», с его позиции так же подлежащую экспериментированию, как и мир животных и растений. Свою лепту здесь внес и художественный авангард минувших лет, о котором писатель и теоретик искусства Массимо Бонтемпелли писал, что «своей задачей он поставил создать такие условия, чтобы можно было начать все сначала»,³ то есть

свести все к чистому листу и включить творческую фантазию, доверив ей пересоздание жизни в ее онтологических основах.

И понёсся вдаль безумный кентавр,
Крича, что с холма он увидел розовое небо,
Что оттуда виден рассвет.

Эти строки Андрея Белого особенно к месту здесь потому, что в них употреблен образ кентавра — плод фантастического соития человека с конем. Нынешний интеллектуальный авангард движется в направлении оправдания всех и всяческих соитий. В романе Франсуа Рабле Панурга пытаются женить на лихорадке, но из этого ничего не получается. Сегодня — получилось бы. Фантазия опережает жизнь, но жизнь в меру возможностей поспевает за фантазией. Однополые отношения (которые существовали всегда, но о которых еще недавно в «приличном обществе» принято было говорить, понизив голос и опустив глаза) не только получают общественное признание, но и навязывают себя обществу как образцовые. Педофилия пока еще карается по закону, но в море порнографии, затопляющем интернет, она давно уже не режет глаз.

Остаются три «высоты», которые «авангард» еще не взял, но уже нацеливается на них: кровосмешение (инцест), скотоложество и некрофилия. В фильме «Советник» американца Ридли Скотта (2013) последняя предлагается в особо «изысканном» варианте — совокупления с женщиной, которой только что отрубили голову. Сам маркиз де Сад до этого, наверное, не додумался (хотя в женщинах с отрубленными на гильотине головами в его время недостатка не было). Слава богу, сей эпизод не показывают на экране, а только обсуждают его. Это, впрочем, уже другая тема — сопряжения полового «авангардизма» с жестокостью.

По сути, гендерная революция — продолжение сексуальной революции 68-го года под обманчивым лозунгом «Любовь, а не война», лишившим половую любовь ее духовного измерения. Молодых революционеров увлек неопытный ангел, обещавший им «чистую», «свободную от предрассудков» любовь, а на деле погрузивший их с головой в стихию телесности. Оппонент Вильгельма Райха Макс Шелер писал, что в Божьем замысле человек — «наоборотное животное», в том смысле, что духовное начало у него повелевает телесным. Половая любовь, какую она культивировалась в лоне европейской культуры, — искра, пробегающая меж двумя полюсами, духовно-душевым и телесным. Когда остается только один полюс, никакая искра, естественно, возникнуть не может.

Революция 68-го года породила промискуитет, подорвавший (хотя пока еще не разрушивший окончательно) статус семьи (для чего есть и некоторые причины социологического порядка, на которых я не буду здесь задерживаться). Место любви занимает блуд, который становится все более скучным занятием (и, тем паче, зрелищем). Но оттого, что он становится скучным, он не перестает быть привлекательным. Солеными водами нельзя напиться, но пить-то все равно хочется.

Средство избежать блуда известно со времен древности: надо просто не приближаться к его очагам. Даже некоторые, крепкие духом святые старались их избегать. Но что делать, если очаги сами приближаются (посредством разных media и особенно интернета) к вступающему в жизнь человеку, обдавая его (и

не только его) недобрым пламенем? А ведь сопротивляться этому пламени очень нелегко; блаж. Феодорит Кирский (V век) даже писал, что борьба с похотью труднее воинского подвига.

Пресыщенным уже хочется, как в старом анекдоте, «чего-нибудь рыбненького». Шутки шутками, а «что-нибудь рыбненькое» и вправду может появиться в ассортименте телесных утех. Я имею в виду эксперименты со стволовыми клетками, позволяющие, как говорят, создавать любые живые существа, включая разного рода гибриды, путем «внекорпорального рождения». Пока что такого рода экспериментам законодательно поставлены пределы, но энтузиасты «стволового творчества» постоянно стремятся их расширить. Японские ученые уже создали таким путем живого козла (символично, что именно козла: в античности Ночной Козел считался символом похоти). Другие утверждают, что им под силу создавать, например, русалок.

«Фаустовская» цивилизация рвется за пределы, к которым не решался приблизиться сам Фауст (у Гете). Напомню эпизод, где Мефистофель дарит Фаусту некий ключ, который на первый взгляд кажется «жалкой вещицей», но потом обнаруживает чудесные свойства. Цитирую:

Ф а у с т
Он у меня растёт в руках, горит!
М е ф и с т о ф е л ь
Не так он прост, как кажется на вид.
Волшебный ключ твой верный направитель
При нисхожденье к Матерям в обитель.
Ф а у с т (*содрогаясь*)
При спуске к Матерям! Чем это слово
Страшнее мне удара громового?

Матери у Гете — вымышленные им богини, охраняющие «уставы естества». Считается, что в этом эпизоде Гете взял под защиту мир земных прообразов, возражая против чрезмерного «удлинения» принципа свободы, который он сам и — в еще большей степени — его друг Шиллер дотоле отстаивали.

Попирая «уставы естества», половой «авангард» ведет общество к небывалому в истории хаосу. В 1993 году, «на другой день» после окончания «холодной войны», поддерживавшей на Западе определенный тонус, журнал «Nation» (США) проникательно писал: «вполне вероятно, что небольшое и презируемое (тогда еще презируемое! — Ю.К.) сексуальное меньшинство навсегда сделает Америку другой». Как и Европу. Что, собственно, и произошло. Или, точнее, происходит: все последствия разворачивающейся на наших глазах антропологической революции пока еще трудно представить.

Уже сейчас на Западе постепенно разрушается все то, чем всегда гордился западный человек — внутренняя дисциплина, культура поведения (и вообще культура), образование (дошло до того, что постоянно увеличивается число неграмотных). Сама гендерная революция стала возможной лишь в условиях морального разложения, в той или иной степени охватившего все общество.⁴

Попраание «уставов естества» не выводит экспериментаторов из рамок естества как такового. Они хотят изменить природу человека изнутри самой природы. Но лишенная сверхъестественного «надзора», природа способна «ме-

няться в лице» и принимать устрашающий вид — «с окровавленными зубами и когтями» (строка из стихотворения А. Теннисона: «Nature red in tooth and claw»). И половая «любовь», понятая как чисто животное соитие, легко сопрягается с насилием.

Такое сопряжение было известно уже в древности: «Голос Таит шептал о любви, которая гнуснее ненависти».

Не случайно 1968-й, год сексуальной революции, стал также годом, когда резко пошла вверх кривая «преступлений против личности». Сегодня, например, в Соединенных Штатах, лидирующих на Западе по числу преступлений, каждые двенадцать минут совершается изнасилование; притом каждое четвертое изнасилование — групповое. И каждые полчаса — одно убийство. И все это несмотря на суровое законодательство и в высокой степени эффективную работу полиции. В итоге население тюрем за последние сорок лет увеличилось в десять раз! Немногим лучше обстоят дела и в большинстве европейских стран. Существующая правовая система не справляется со всеми последствиями «кривой» культуры.

Тихая паника распространяется на Западе. Она еще усиливается оттого, что растет предчувствие: дальнейший ход дел в большой мере будет направляться внешними силами.

Ветер с Востока

Известный гарвардский профессор права Гарольд Берман пишет: «Западная правовая традиция должна приспособиться к новому веку, который рождается из конфронтации Востока и Запада. В данном случае это не столько географические термины, сколько временные. Для христианства Восток есть первое тысячелетие, на котором зиждется второе. Третья эра должна быть выстроена из первых двух».⁵ Восток здесь — это мусульманский Восток, а точнее, мусульманская правовая система, шариат.

Когда сегодня говорят об «угрозе ислама», то обычно имеют в виду в первую очередь действия террористов и во вторую демографический фактор. Последний нельзя не принимать в расчет, но что касается террора, то своей низкой эффективностью он напоминает мне действия турецкой артиллерии периода XV — XVI веков, когда турки завоевывали Европу. У них было тогда количественное превосходство в артиллерии, но толку от нее было немного. Примером может служить грандиозная морская битва при Лепанто (1571), где турецкий флот сразился с флотом Священной лиги. Сервантес, который участвовал в сражении (и потерял в нем левую руку — как потом кто-то заметил, к вящей славе правой), оставил его описание. Громоздкие кулеврины и бомбарды османов открыли огонь, цель которого, как и в других тогдашних сражениях, была скорее психологическая: напугать противника; ибо число павших от огня было небольшим. Исход боя решился в abordажных схватках, в которых османы понесли сокрушительное поражение. Кстати, это было первое серьезное их поражение за два столетия. До Лепанто их войско считалось в Европе непобедимым; особенный ужас вызывали страшные янычары.

Террор, к которому ныне прибегают исламисты, дает так же мало результатов, как и когдатощние кулеврины и бомбарды. Конечно, жизнь каждого

человека не может быть сведена к математической единице, но если подойти к делу статистически, то мы видим, что каждый теракт уносит жизни от нескольких человеческих единиц до нескольких десятков, в редких случаях — нескольких сот; и только в одном случае («9.11» в США) число жертв приблизилось к трем тысячам. Еще, правда, террористические акты порождают панику, что само по себе опасно, но каждый раз паника довольно быстро сходит на нет. Так что продвижение ислама путем террора вряд ли имеет шансы на успех; тем более, что само мусульманское население в большинстве случаев не одобряет его.

Рассчитывать на успех могут те, кто в некотором смысле замещает янычар — шариатские судьи.

Наступление шариата началось с того, что можно назвать юридической реконкистой, обратным завоеванием мусульманских земель. В конце XIX — начале XX века в мусульманских странах, за немногим исключением, возымели силу европейские правовые системы. Ныне восстановление в этих странах шариата приветствуется подавляющим большинством населения (исключение составляют Турция и бывшие советские республики). Шариат проникает и туда, где раньше у него никаких позиций не было — таковы, например, мусульманские республики России. Суровые арабские воины никогда не доходили до Северного Кавказа и Поволжья (лишь на время они овладели Дербентом, где, похоже, зарыли бутылку с джинном, кем-то выпущенным на волю лишь в наши дни). В эти края слово Аллаха несли дервиши-суфии, чье восприятие мира было скорее художественно-мистическим, а не суховато-законническим, как в ортодоксальном исламе. Сейчас законы, принятые в «песчаных краях аравийской земли», обретают здесь вес и влияние, каких никогда у них прежде не было.

Стало широко известным скандальное заявление одного московского адвоката-мусульманина о том, что «шариатский суд идет» и что «мы зальем Москву кровью»; то есть надо полагать, кровью, пролитой по мусульманскому Закону.

Шариат утверждает себя в мусульманских общинах Европы, становящихся все более многочисленными. В Германии уже допускается употребление шариата в тяжбах меж мусульманами. В Англии, где в некоторых районах уже можно встретить на улицах шариатские патрули, в защиту шариата выступил сам архиепископ Кентерберийский, главное, после королевы, лицо в англиканской церкви. Во Франции формально признано только светское законодательство, но в пригородах, населенных арабами, куда полиция старается не соваться, действуют суды, именующие себя — с правом на это или нет — шариатскими. Примерно так же обстоит дело и в других европейских странах.

Совсем не обязательно представлять себе шариат — «с рогами»; это просто Божий Закон, идущий «от Моисея» и в основе своей общий у мусульман с иудеями и христианами. Напомню: Моисею в его одиноком восхождении на гору Синай явился Господь в густом облаке и поведал ему Десять заповедей, коих человечество должно держаться до конца времен. Конечно, скептик вправе усомниться в существовании Моисея и самого Господа; но как писал классик русской юридической мысли Л.И.Петражицкий, человек у с т р о е н (психически) таким образом, чтобы воспринимать этические императивы как исходящие из неведомого, отличного от нашего обыденного «я», «таинственного источника», хотя бы он и воспринимался как мешающий его свободе.

Подчеркну, что источник должен быть таинственным. Вообразим себе мир, в котором Господь явил бы земнородным Свой Лик и во всеуслышание перечислил бы Свои заповеди под номером 1, 2 и так далее. Жить в таком мире было бы как-то неуютно. «Удел человеческий» — угадывать в окружающем нас тумане истину бытия; или доверять угадчикам, более других наделенным интуитивным даром.⁶

Так или иначе, большинство человечества (в ареале трех «авраамических» религий) приняло исходивший «от Моисея» Закон, понятый как Божий. Тем более, что он близок тому закону, который называют естественным и который, по известному выражению апостола Павла, «записан в сердцах» людей, независимо от ареала их проживания.

Первоначально в среде иудеев, а вслед за ними и мусульман Закон охватывал все сферы жизни, включая регламентацию быта, подчас самую мелочную. Но в ареале христианства высшую санкцию получили понятия «свободы» и «воли» (в смысле волевых усилий), которые отвоевывали себе все больше жизненного пространства; это, во-первых, а во-вторых, многократное усложнение жизни в Европе на протяжении последних веков привело к возникновению различных систем права — гражданского, уголовно-процессуального, церковного (регулирующего жизнь внутри Церкви), семейного и других. Все эти системы пересекаются и взаимодействуют, при этом Божий Закон постепенно тушется среди всех остальных.

А шариат остается у мусульман столпом самосознания. Требованиям усложнившейся жизни отвечает фикх, который не считается безупречным, хотя богословы и юристы следят за тем, чтобы он по возможности отвечал духу шариата.

Требования шариата, выходящие за рамки Десяти заповедей и касающиеся деталей быта, сегодня выглядят чрезмерными, а порою и комическими. Например: носить бороду строго определенной длины; не дуть на горячую пищу во время еды; пить воду в дневное время стоя, а в ночное сидя; знать, в каких случаях правую ногу следует закидывать за левую и в каких левую за правую, и т.д., и т.п. Но эти «излишки» несвободы ничуть не более несуразны, чем «излишки» свободы, каковые демонстрирует человек, выросший в лоне евроамериканской цивилизации и зачастую напоминающий морское беспозвоночное с протянутыми в разные стороны щупальцами, отдавшееся на волю волн.

Европейцев шокируют некоторые крайности шариата, такие, как побивание камнями (в частности, неверных жен) или отсечение рук и ног (рука отсекается у вора, нога у грабителя с большой дороги).⁷ Но это исторические «привески» к шариату, от которых во многих мусульманских странах постепенно отказываются. Хотя в целом предусмотренная шариатом система наказаний, сравнительно с европейской, остается строгой, даже жестокой.

Множество нареканий вызывает предусмотренное шариатом отношение к женщине. Согласно правилам, женщина должна жить в принимающем те или иные формы затворе, одеваться так, чтобы посторонний глаз не мог ее рассмотреть (что не совсем чуждо европейской женщине, еще в недавние времена носившей юбки до пят, а иногда даже полуприкрывавшей лицо: вуаль — дальняя родственница чадры) и т.д. При определенных неудобствах, которые должна испытывать при этом женщина, нельзя отрицать, что такие строгости защищают ее честь и достоинство гораздо лучше, чем в нынешней Европе, вообще в

светском обществе. Вот выразительный пример: в толпе антиисламистов, собравшейся на площади Тахрир в Каире во дни «арабской весны», зафиксирован целый ряд случаев, когда женщин (своего же политического направления) насиловали прямо на месте. «Свобода на баррикадах» Эжена Делакура, смело обнажившая грудь и благословившая все революционные толпы последующих двух веков, никак не рассчитывала на такой оборот дела. Для сравнения: подобное было совершенно немыслимо в толпе исламистов (где тоже были женщины), собиравшейся на той же площади — посягнувшего убили бы на месте.

В Европе вызывает осуждение записанное в шариате право мужа бить жену. Справедливо, конечно, но, к сожалению, позиция осуждающих становится все более шаткой. Еще в недавние времена в культурном слое Европы бить женщину считалось абсолютно недопустимым. А теперь мы видим, хотя бы в кино, что это становится довольно обычным делом — и не только для отрицательных персонажей.⁸

Замечу, что несмотря на свой явно «маскулинный» уклон, шариат, судя по данным опросов, проводимых в мусульманской среде, находит у женщин более высокий процент поддержки, чем у мужчин.

Безусловно позитивную роль играет шариат в кварталах европейских городов, населенных иммигрантами. Если в большинстве мусульманских стран уровень преступности намного ниже, чем в Европе, то здесь он, наоборот, отличается в прямо противоположном смысле. Это явление известно было еще в Древнем Риме. Когда северные варвары захватили столицу империи и стали грабить, убивать и насиловать, образованные римляне спрашивали себя: неужели это те самые добродетельные германцы, о которых мы читали у Тацита? Германцы были те и не те: выбитые из привычной колеи, они повели себя совсем не так, как на своей родине. Нечто подобное происходит сегодня и с жителями мусульманских гетто, где стихийно возникающие шариатские суды (судьей может стать каждый, кто хорошо знает Коран и Сунну) до некоторой степени обуздывают разыгравшиеся «на воле» пороки.

В то же время анклав, где действует шариат, — своего рода укрепрайоны, откуда ведется наступление на окружающий мир «неверных». Наступление это — психологическое. В среде, «охваченной» шариатом, не пьют, не употребляют наркотиков, не пользуются услугами проституток, не смотрят фильмы и передачи, разжигающие похоть, не играют в азартные игры и даже поп-музыку не слушают. Такой образ жизни привлекает растущее (хотя пока еще небольшое) число бледнолицых сынов и дочерей Европы (больше дочерей, чем сынов).

Крупный финансист, постоянно имеющий дело с европейскими клиентами, шейх Аль-Карадави пишет: «Константинополь был завоеван двадцатитрехлетним османом Мохаммедом бин-Мурадом... в 1453 году. Другой город, Ромия (Рим) остается, и мы надеемся и верим, что он тоже будет завоеван (в иных случаях аналогичные угрозы раздаются и в адрес «третьего Рима». — Ю.К.). Это значит, что ислам вернется в Европу как победитель после того, как он был изгнан оттуда дважды».⁹ Только в этот раз завоевание будет осуществлено не саблею, но проповедью и «притяжением шариата». «Европа, — продолжает шейх, — увидит, что она страдает от материалистической культуры и кинется искать спасательную шлюпку. И найдет ее только в исламе».¹⁰

Действительно, спасательная шлюпка — употребим соразмерное слово:

ковчег — Европе обязательно понадобится. Но надо надеяться, что это будет не ислам.

В противном случае «в долину к вам другой певец придет» (Вертер из одноименной оперы Массне).

И с Запада

О ветре с Востока говорят и пишут уже довольно давно. Гораздо менее ощутим пока ветер с Запада, который «поет» о чем-то близком тому, что доносится с Востока. В этом случае областью высокого давления (ветер, как известно, дует из областей высокого давления в области низкого давления) является в первую очередь библейский пояс в США.¹¹ В перспективе и этот ветер, скорее всего, будет крепчать и даже может перерасти в настоящий шторм.

Сегодня Америка слепит остальной мир огнями Голливуда, блескучей мишурой эстрады и т.п. В тени остается другая Америка — религиозная и противостоящая первой; ее называют иногда Скрытым царством (Covert Kingdom). Впрочем, скрытым оно остается скорее от постороннего взора; внутри страны новоявленное пуританство (или неопуританство)¹² достаточно громко заявляет о себе. Сонм пламенных проповедников, каких трудно сыскать в Европе, вещает языком ветхозаветных пророков, грозя Божьим гневом «пораженной дьяволом Америке».¹³ В Европе говорить о дьяволе всерьез давно считается дурным тоном.

Поразительный контраст: нигде нет такого инфантильно-легковесного отношения к жизни, как в Соединенных Штатах, и в то же время нигде (в ареале европейско-американской цивилизации) нет такого тяжеловесно-религиозного отношения к ней.

Сколь ни неожиданным это может показаться, но Скрытое царство во многом близко миру ислама, пишет видный деятель демократической партии, а ныне сотрудник президентской администрации Мануэль Кэсон III: «Вот современный парадокс: Америка в некоторых отношениях ближе к идеалам ислама, которым она противостоит, чем к либеральным, воспитанным Просвещением западным нациям, с которыми она как будто стоит плечом к плечу, как со своими союзниками. Те, кто считает Америку безбожной, погрязшей в материализме страной, должны обратить внимание на тот факт, что множество американцев настаивают на том, что живут в религиозной стране». Главное, что роднит американских пуритан с мусульманами, это всецелая опора на ветхозаветный Закон.

Само формирование пуританства (кальвинизма) происходило не без влияния ислама. Напомню, что это середина XVI века, время победоносного наступления османов на Европу. Военный успех всегда заставляет религиозных людей задуматься: а на чьей стороне Бог? Кальвин решил, что Бог во всяком случае не на стороне католической Европы. Кроме того, он уловил некоторые мотивы, общие у него с исламом, и поддержал лозунг, выброшенный еще Лютером: «Лучше быть турком, чем папистом!»

Главным полем битвы с католицизмом стали в XVI веке Нидерланды. О движении гезов мы еще в детские годы узнаем в запоминающейся на всю жизнь книге Шарля де Костера о Тиле Уленшпигеле. Она была написана в середине XIX века, в эпоху национальных революций и слабеющего христианства и очень

далека от мировоззрения гезов. В книге жизнерадостные, чувственные фламандцы ведут борьбу за освобождение родины от этих «мрачных» аскетов — испанцев с их ненавистной инквизицией. На самом деле национальная идея в XVI веке еще не сложилась, а веселая, смеющаяся Фландрия была создана воображением Шарля де Костера. Исторические гезы были кальвинистами и боролись за веру; недаром на помощь им пришли «интербригады», состоявшие из французских и английских кальвинистов (гугенотов, пуритан). И вряд ли гезы выглядели менее «мрачными», чем католики-испанцы; кстати, была у них и своя инквизиция. Но вот на что я сейчас хочу обратить внимание: на шляпах у них красовался исламский серебряный полумесяц и сражались они под красным знаменем Халифата!¹⁴

Нидерланды от наступающих турок оставались далеко, а вот Венгрия (тогдашняя Большая Венгрия) уже на две трети была ими оккупирована. Заметим, что во второй половине XVI века до 90 процентов венгров сделались кальвинистами (позднее Контрреформация вернула католичеству его прежние позиции в этой стране). Так что между завоевателями и последователями «женевского папы» установились здесь непосредственные контакты. Венгерские кальвинисты видели, что мусульмане, подобно им самим, твердо держатся Закона, не придают значения формальной иерархии (в религиозном плане), что молятся они в помещениях с голыми стенами — все эти «моменты» до некоторой степени сближали две стороны.

Конечно, Кальвин твердо стоял на почве своеобразно им понятого христианства и, следовательно, считал мусульман своими противниками. Более того, был уверен, что именно его последователям вручена орифламма на одоление неверных. Но одолевать их рассчитывал не военной силой, а убеждением, ошибочно полагая, что мусульман легко будет приобщить к его учению. (Отчасти его надежды осуществились лишь в XXI веке, когда в Турции получил некоторое распространение своеобразный гибрид «исламского кальвинизма».)

Как у пуритан, так и у мусульман Закон утверждал себя, в конечном счете, посредством системы наказаний, которая у первых была не менее жестокой, чем у вторых. Рук и ног пуритане не отрубали, но смертная казнь, чаще всего через повешение, полагалась за самые разнообразные преступления, даже за мелкое воровство. Неизменно каралось смертью отступление от веры; не было забыто правило Второзакония, согласно которому за вероотступничество родители обязаны были побивать камнями собственное чадо. За кощунство полагалось отрезание верхней губы; лишенный ее человек постоянно «скалил зубы» (кстати, этот жестокий обычай возрожден кое-где в современном мире).

Зато преступность у пуритан была сведена к минимуму, кое-где почти исчезла. Это особенно заметно в раннепуританских общинах Нового Света, где была достигнута, так сказать, чистота эксперимента, ибо здесь не было соприкосновения с непуританскими общинами. Как правило, здесь не существовало даже полиции, если не считать таковою «ночную стражу» из добровольцев. И тюрьмы, если они вообще были построены, большую часть времени стояли пустыми.

Людей усмирял страх перед суровым наказанием? Безусловно. Но не только он. Историки утверждают даже, что не столько он, сколько психологическое «овнутрение» ими Закона. Как пишет цитировавшийся выше Берман, к ним можно приложить формулу, выведенную Петражицким, «великим русским

юристом» по его характеристике: «закон внутри нас». Заповеди «не убий», «не укради» и т.д., «спущенные» сверху, укладывались в душе столь основательно, что им не нужно было напоминать о себе; они уже были впечатаны в сознание как нечто само собою разумеющееся.

Век Просвещения заставил пуританство отступать даже там, где у него были сильные позиции, как в Северной Америке. Это происходило и на самом деликатном направлении человеческой экзистенции — половой любви. Именно это направление нас сейчас особенно интересует, учитывая, что здесь происходит в наше время.

Пуританство подверглось атаке как «снизу», со стороны того, что называется бытовым распутством, так и «сверху», со стороны одухотворенной «высокой любви». Конечно, она была хорошо знакома эпохе Ренессанса; уже на ее исходе появилось необычное тому свидетельство: как раз в те годы, когда гезы сражались за каждую букву Закона, один из «мрачных» испанцев обдумывал один из самых великих романов о любви (в оценке Достоевского — самый великий) — Дон Кихота к вымечтанной им Дульсинея Тобосской.

В свою очередь, Век Просвещения породил новые типы человека — не только разумного (в просветительском понимании), но и чувствительного — подобно Руссо, не вполне отдающего себе отчет в том, кому или чему он обязан своей чувствительностью. Так «прекрасная душа» немецких романтиков парит надо всем, что есть в человеке низменного, а в то же время отвергает Закон, который, по словам Шиллера, способен лишь гасить высокие порывы. Из «Оды к радости»:

Видеть Бога — херувиму,
Сладострастие — червю.

Увы, такого рода полет души доступен лишь редким характерам, именуемым ангельскими.

А Гете показывает, что «высокая любовь» не достигает цели; что, впрочем, не означает, что она была напрасной. Его Фауст, вызвавший к жизни посредством магии свой идеал, Прекрасную Елену, обнимает ее и почти в тот же момент теряет, ибо она вдруг растворяется в воздухе, оставляя в его руках лишь свои одежды («любви и жизни связь разорвана» — так объясняет она сама свое исчезновение). Но одежды, что глубоко символично, превращаются в облака, которые окутывают Фауста, поднимают его ввысь и с ним уплывают.

Экзальтированная половая любовь — тайна, всегда сугубо индивидуальная. Это своенравная вертикаль, восстающая против все уравнивающей горизонтали Закона. На чьей стороне правда?

Интересно сравнить, как подходят к этой теме век нынешний и век минувший. Натаниел Готторн, романтик, выросший на пуританской почве Массачусетса, в романе «Алая буква» вывел героиню, уличенную в адюльтере и в знак позора вынужденную всю оставшуюся жизнь носить пришитую к одежде алого цвета букву «А» (действие происходит в том же Массачусетсе во второй половине XVII века). Сердце подсказывает ей, что в ее поступке была своя правда, но она признает и общественную правду и смиренно и в то же время с достоинством носит позорящую ее метку.

А в одноименном голливудском фильме, снятом Роланом Жоффе

в 1995-м (это, кстати, девятая по счету экранизация романа за всю историю кино), сюжет предельно упрощен: вся правда на стороне героини, а окружающие ее пуритане — темные люди, которые тащат ее на виселицу (чего в романе нет и в помине). От каковой ее спасают неожиданно напавшие на поселение праведные (какими их изображают в последние десятилетия) индейцы.

Но и сегодня не вся Америка и даже не весь Голливуд демонстрируют пренебрежение к своему пуританскому прошлому. В фильме «Тигель» Николаса Хитнера (1996), поставленном по сценарию Артура Миллера, авторы обратились к сюжету, которым обычно колют глаза пуританам, — Салемскому процессу 1692 года, в итоге которого двадцать человек было повешено за колдовство. В фильме показано, что всю историю «замутила» стайка истеричных тинейджеров — они выглядят вполне современными «оторвами», — которые по ночам собирались в лесу, где занимались колдовством и плясали эротические танцы. Это их стараниями в Салеме началась охота на ведьм; а пуританские судьи в конечном счете оказались вынужденными вынести тот приговор, который они вынесли (кстати, спустя пять лет — это не по фильму, а по истории — он был признан ошибочным).

Серое небо, низкие тучи, угрюмый океан, двадцать человек с веревками на шее, громко и с энтузиазмом читающих «Отче наш» — таков «тигель», из которого, нравится это кому или нет, вышла Америка.

И сегодня страна по в и д и м о с т и живет под Законом. Изображения Моисея и связанных с его личностью эпизодов в виде статуй или барельефов украшают здание Верховного суда в Вашингтоне и множество других судебных зданий во всех пятидесяти штатах. Когда президент Гарри Трумэн сказал: «Основоположения нашего законодательства даны были Моисеем на Синае»,¹⁵ тогда, немногим более полувека назад, его слова воспринимались всеамериканской аудиторией как нечто само собой разумеющееся.

Но, похоже, исторические декорации все больше раздражают «актеров», выступающих на этой сцене. Сам Верховный суд колеблется между божественной предустановленностью Закона и тем, что можно назвать юридическим волюнтаризмом (колебания зависят от того, получают ли большинство в Верховном суде либералы или консерваторы). Раздражает и обычай приносить клятву на Библии; кое-кто предлагает, то ли в шутку, то ли всерьез, заменить Библию в этом качестве «Происхождением видов» Дарвина.

Прежняя Америка гордилась своим сходством с библейским Иосифом, которого не сумела соблазнить жена фараона Потифара (сюжет, часто встречающийся в живописи эпохи Ренессанса). А нынешняя напоминает слабодушного пуританина Фельтена, которого легко охмурила злоковарная Миледи.

Отступает от Закона и значительная часть духовенства различных деноминаций, демонстрируя снисхождение к любым вариантам ЛГБТ. Так в США и так в Европе. В Англии, например, архиепископ Кентерберийский, фактический глава англиканской церкви, призывает отказаться от «омерзительного языка гомофобии» (то есть от языка, на котором говорили сорок поколений англичан, полагавших омерзительными совсем другие вещи). Бог, аргументируют отступники, есть любовь и потому Он благословляет всех брачующихся, независимо от того, как подобраны брачные пары и какого рода телесным утехам они предаются. И в доказательство цитируют апостола Павла (1 Кор, 6:19): «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа...» и на этом

обрывают цитату; хотя дальше следует: «Которого имеете вы от Бога, и *вы не свои?*» (выделено мной).

Эти носители «розового», на новейший лад, христианства своими речами ласкают слух извращенцев любого толка. Беда их в том, что в бурю они тонут, как это однажды случилось даже с самим апостолом Петром.

«Розовое» христианство ничего не может поделать с ростом преступности, с конца 60-х годов аккомпанирующим сексуальной революции. Не в силах остановить его и ужесточение наказаний (до 60-х, наоборот, имело место постоянное смягчение наказаний). Сейчас в правовом сознании американцев и в еще большей степени европейцев преобладает то, что называется легализмом — условное принятие законов, подкрепляемое угрозой наказаний (в США гораздо более суровых, чем в Европе).

Возрожденное пуританство стремится не только к дальнейшему ужесточению законов, но, главное, к тому, чтобы «подвести» под законы — Закон. Как пишет экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, «необходимо вернуться к тому, о чем наши отцы-основатели говорили совершенно недвусмысленно, а именно, что создавая закон, надо опираться на Бога Библии и Десяти заповедей».

Наиболее радикальные пуритане, именуемые реконструкционистами, требуют ни на йоту не отступать от предписаний *Джона Кэлвина* (так американцы именуют Жана Кальвина¹⁶). И карать смертной казнью за колдовство, аборт, кровосмешение, занятия астрологией и целый ряд других преступлений; тюрьмы же оставить лишь для предварительного заключения. Словом, чтобы все было, как в первой колонии пилигримов Массачусетс-бэй.

Реконструкционистов не без оснований называют «американским Талибаном».

Большинству пуритан такая свирепость не по нраву; они справедливо указывают, что Кальвин на первое место ставил веру, а не систему наказаний. Но они охотно переняли у своих «крутых» единоверцев обычай носить желтые банты, который реконструкционисты позаимствовали у «железнобоких» солдат Кромвеля.

Начавшееся, как его уже называют, Четвертое великое Пробуждение,¹⁷ чтобы оправдать свое громкое имя, должно увлечь молодежь. Между тем, пока что в рядах пуритан преобладают люди среднего и пожилого возраста. Молодые люди среди них тоже есть, но большая часть молодежи в той или иной степени отдает дань «кривой» культуре. Что с учетом возрастных особенностей можно понять — как говорит русская пословица, «что криво, то игрово».

Но молодые не всегда будут молодыми, а повзросление весьма часто приносит с собою перемену взглядов. Те, кому сегодня тридцать и даже шестьдесят, росли в атмосфере культурной революции и, значит, испытали многие из тех искусов, перед которыми стоит сегодня молодежь. И как раз знакомство с ними побудило нынешних пуритан стать тем, чем они стали.

Так или иначе, некоторые наблюдатели полагают, что пуританство призвано еще раз сыграть в истории решающую роль. Выражая распространившуюся точку зрения, физик Гэвин Финли пишет: «По мере того, как мы приближаемся к следующему водоразделу мировой истории, пуритане выступают главными игроками на сцене». И далее: «Пуританство — это мускулистая разновидность христианства, воинствующего, политически активного и даже крестоносного».¹⁸

Воинствует оно со своими же соотечественниками. Во всяком случае, в

первую очередь с ними. Их девиз: «Америка, вспомни своего Бога!» Это близко к традиционному изоляционизму, который в прежние времена разделяли обе главные партии, республиканцы и демократы, считавшие, что Америка должна служить светочем демократии для всего мира, но не вмешиваться в его дела (за исключением разве что Латинской Америки).

К пуританам начинает прислушиваться и Европа. В этой части света кальвинизм уже почти выдохся. Голландия, например, когда-то бывшая его оплотом, стала, как говорят, самой «легкомысленной» европейской страной. Нигде больше в Европе не относятся так снисходительно или даже поощрительно к абортам, однополым бракам, употреблению легких наркотиков *ets*. Хотя и в этом, казалось бы, заповеднике ЛГБТ сохранился (на севере страны) свой Библейский пояс, где женщины ходят в платьях до пят, а мужчины не пьют, не курят и не предаются никаким другим непотребствам. Примечательно и то, что среди европейских «воинов ислама» больше всего именно голландцев и фламандцев; гезы их, наверное, поняли бы.

Д.С.Мережковский писал, что Кальвин входит в духовный состав европейского человечества, как соль — в состав человеческой крови. Если это так, то еще возможны сюрпризы, способные повергнуть в изумление тех, кто живет сегодняшним днем.

Самое мощное в Европе движение против ЛГБТ развернулось на родине Кальвина, во Франции. Правда, религиозная составляющая в нем пока невелика и отторжение ЛГБТ мотивируется преимущественно традициями культуры. Что, конечно, тоже очень существенно. И все же самым эффективным противоядием против «кривой» культуры является Закон.

Мысль о том, что могут вернуться времена Закона, вселяет в европейцев тихий ужас. И ведь нельзя исключать того, что это произойдет уже в близком будущем. Мишель Уэльбек так даже уверен в этом. «И вы, и я, — говорит он (обращаясь к философу Бернару-Анри Леви), — отдаем себе ясный отчет, что *религия возвращается* в современный мир в формах столь же привлекательных, сколь привлекателен герой комикса — чудовищный Халк (герой не только комикса, но и фильма, злой и зеленый монстр. — Ю.К.), но для нас не менее очевидно, что этот возврат неизбежен». Выше Уэльбек говорит о том, что он имеет в виду именно религию Закона. «Разумеется, — продолжает Уэльбек, — я не могу взять на себя ответственность и *постановить*, что для общества окончательно порвать с религией равносильно самоубийству. Однако именно это подсказывает мне интуиция и подсказывает с большой настойчивостью».¹⁹

Возможно, интуиция не обманывает Уэльбека. Хотя что именно в европейской жизни смотрится как злое и зеленое — на сей счет существуют разные мнения (зеленый — это ведь не только цвет ислама; к примеру, вода безнадежной Леты тоже, говорят, зеленая). Бывают такие ситуации, когда институт самосохранения оказывается сильнее всех прочих соображений. Перед лицом мусульманского вызова Европа может свернуть на путь религиозного Закона — и таким образом сохранит себя, как христианская Европа. Но это не будет восходящий путь.

Закон — благая тяжесть в ногах. Но с избыточно тяжелыми ногами трудно взлететь.

О мертвой и живой воде

Наша страна открыта сейчас всем ветрам, несущим, среди прочего, пыльцу различных «цветов зла». Более, чем когда-либо, актуальны слова В.О.Ключевского: к старым порокам у нас пристают новые соблазны.

Смрадный воздух блатного мира, неизбытое наследие революционных лет пронизывает все наше существование, подменяя «жизнь по совести» — жизнью «по понятиям», право — правежом и т.п. Мораль для многих наших сограждан — что спитой чай. Слово «добродетель» уже в предреволюционные годы употреблялось чаще с ироническим оттенком (свидетельство М.О.Меньшикова), а сейчас практически вообще не употребляется. Зато по уровню преступности, в частности по числу убийств на 100 тысяч населения, мы вышли на первое место в Европе. И на второе место в мире по числу заключенных на те же 100 тысяч — 611 (первое место держат США — 738).

Высокую преступность в нашей стране можно объяснить целым рядом причин. Это и наследие революционных лет и производного от них ГУЛАГа. И более близкие причины: крах советского проекта и вытекающая отсюда мировоззренческая невнятица. На Западе не было наших «великих потрясений», тем не менее и там усиливается холод в отношениях между людьми, который посредством видео- и прочей продукции транслируется на весь мир. Вместе с опытом всякого рода «необузданных скверн», к которым в последние годы еще прибавились и выверты «кривой» культуры.

Но чужие ветры приносят и средства противоядия. И вот, известный социолог И.В.Бестужев-Лада публикует статью «Неопуританство — спасение гибнущего человечества?»²⁰ Вырождение народа идет по нарастающей, констатирует автор и делает вывод: «нужен «Мэйфлауэр 2» («Мэйфлауэр» — название корабля, на котором приплыли в Новый Свет самые первые пуритане) — «качественно новое духовное движение, сходное с тем, какое создали пуританские отцы-пилигримы»; этому кораблю, поясняет автор, предстоит плавание во времени, а не в пространстве.

На мой взгляд, стремление Бестужева-Лады восстановить в правах Закон вполне обоснованно. Но при этом незачем обращаться к пуританству; ниже к исламу. Закон — неотъемлемая составная часть православия. На сей счет существует ясное, как дважды два, высказывание Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (Матф., 5:17).

Но если бы православие, вообще христианство постулировало бы только покорность Закону, оно ничем не отличалось бы от иудаизма и ислама. В этих двух религиях Бог замкнут в Себе и требует от смертных только послушания, а в христианстве Он раскрывается людям — через Христа и Св. Духа. Пуритане же в известной мере — оступники и отступники от христианства; при всех их достоинствах.

От Св. Духа исходит благодать — догадка о высшей истине, радость от приобщения к красоте. Вопрос добра и зла отходит на задний план. Образно об этом сказано в известном «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI век): Закон — стужа ночная, свет луны; Благодать — утро солнечное.

Резкое противопоставление Закона и Благодати проводится в посланиях апостола Павла. Для него Закон есть «покрывало, лежащее на сердце» (2 Кор, 3:

14-15), которое и доныне не позволяет видеть свет Христов. Религия Закона, требовавшая соблюдения внешних норм, уступила место иной религии — поклонения Отцу в духе и истине; «старое прошло, теперь все новое» (2 Кор, 5:17). «Радикальное преодоление зла, — пишет Б.П.Вышеславцев, — с христианской точки зрения достигается не внешним пресечением зла (не *negatio negationis*²¹ Гегеля), не обратным злом, а положительным созиданием добра.²²

Но следует помнить, что пафос превосходения Закона, который пронизывает Новый Завет (а не только послания апостола Павла, как иногда думают), направлен против «книжников и фарисеев» Ветхого Завета, равно как и против языческих законников, например, Греции и Рима. И более всего уместен он там и тогда, где и когда законы функционируют более или менее исправно. Но если законы «буксуют», тогда их приходится как раз укреплять. Хотя и не заходить так далеко, как зашел Кальвин, который поставил Закон впереди Христа.

Мусульмане говорят, что Бог христиан «не аутентичен», так как выдвигает противоречивые требования: «жить по Закону», а в то же время уметь быть «выше Закона». Но как раз это антиномичное сопряжение несовместимых, казалось бы, начал наиболее полно отвечает природе человека. Волею Божьей человек призван к Любви, но это «верхняя октава» в христианстве, которая «дается» далеко не всем и не всегда. И в тех случаях, когда подняться выше закона невмочь, надо хотя бы не опускаться ниже его. Ибо Закон и производные от него законы хотя бы удерживают общество от сползания в тартарары. «Задача права, — по словам В.С.Соловьева, — вовсе не в том, чтобы лежащий возле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он — *до времени* не превратился в ад».²³

Но чтобы в головах воцарился хотя бы минимальный порядок, надо, чтобы человек усматривал некоторый порядок также и в окружающем его мире природы. На это указывает американский философ и правовед Лео Страус: «основная дилемма, в которой мы находимся, порождена проблемой естествознания Нового времени. Невозможно найти адекватное решение проблемы естественного права (то есть наиболее элементарного уровня правосознания. — Ю.К.), пока не будет разрешена эта основная проблема».²⁴ Еще один американский философ, Чарльз Тейлор пишет, что расстройство в сфере культуры (в широком смысле обнимающей право) объясняется тем, что космос утрачивает для человека всякий смысл; примерно с 1600 года небо «убегает» от Земли, оставляя землян в холодном одиночестве и недоумении. Недаром и мусульмане, и пуритане современную астрономию не жалуют. Ваххабиты доходят до того, что грозят перерезать всех астрономов, а обсерватории закрыть раз и навсегда. Остальные мусульмане и американские пуритане так далеко, конечно, не заходят, но считают, и совершенно справедливо, что астрономия создает одностороннее представление о космосе. Существует и другое — символическое, религиозно-поэтическое, приноровленное к уровню восприятия человека и в мировоззренческом смысле даже более важное, чем научное. Потому что свободное от пространственно-временной «клетки». Давид Самойлов, вероятно, далекий от всякой теологии, выразил это представление в следующих строках:

Время — только отсрочка.
Пространство — только порог.
А цель вселенной — точка.
И эта точка — Бог.

А Бог — «инстанция», любящая и карающая одновременно. Учитывая же нынешнее положение дел на Земле, можно ли забыть о второй Его «функции»? Современное человечество, — пишет известный протестантский теолог Карл Барт, — «нашалившие мальчишки и девчонки в ожидании учителя».²⁵ Естественно, учитель явится не ради потакания шалостям. Путь выживания для нашего народа, как и для всего евроамериканского человечества — путь устроения морали, подкрепленный законодательно. Восстановить в правах Закон — «орган гнева Божьего», по выражению Барта — все равно что окатить народ мертвой водой, которая предохранит душу от рассыпания. Но эта процедура требует, как известно, еще и последующего омовения живой водой. Чтобы воссияла вновь почти скрывшаяся из виду Святая Русь. Сорок лет спустя после революции 1917-го года А.В.Карташев (последний обер-прокурор синода, затем министр исповеданий Временного правительства) писал: «Прошлогодний снег растаял. И не в нем дело, не в истлевшей плоти старой Руси, а в ее бессмертном духе, имеющем вновь воплотиться в соответствующую ему в новых условиях новую форму. Старотеократические условия исчезли... Святая Русь в арматуре новейшей общественности и государственности — это не парадокс, а единственно реальная возможность».²⁶ Наивно думать, что Святой Русью называли территорию, населенную русскими. Святая Русь — это святые Руси и окружающее их благоговение и стремление подражать им — хотя бы настолько, насколько это возможно для «малых сих». А о том, что такое стремление существует, свидетельствует переиздание канонических «житий святых», выходящих значительными по нынешним временам тиражами. Например, в издательстве «Комсомольской правды» выходит серия из тридцати томов, каждый из которых посвящен известному святому. Редакции представляется, цитирую, «очень важным рассказать о людях, таких же простых, как мы с вами, но которые за свои военные, нравственные, духовные и т.п. подвиги были признаны святыми».²⁷ Заметим, что военные подвиги поставлены здесь на первое место. Надо, однако, учитывать, что канонические жития писались в давно минувшую эпоху и на современный вкус выглядят несколько однообразными в л и т е р а т у р н о м отношении. Между тем, как писал Г.П.Федотов, именно р а з в и т и е м темы Святой Руси (а значит, и русских святых) определяется дальнейшая судьба России. Трагический XX век дал множество новых святых мучеников, но пока что наиболее заметным в житийном жанре стало житие-фикшн — роман Евгения Водолазкина «Лавр». О нем немало писали как о литературном произведении, но, на мой взгляд, роман представляет собою также значительный духовный акт, ибо воспроизводит порядок ценностей, близкий той «сокровенной» Руси, что именуется святой. Со времени Петра I в сонме русских святых на первое место вышел Александр Невский (что аналогично западному обычаю, где больше всего среди святых феодальных князей и воинов). Эта традиция возобновилась в недавние годы. А в «Лавре» выведен иной тип святого — целителя и юродивого. Князь-воин мечом отстаивает веру и родную землю, заслуживая тем самым признание народа. А юродивый, на свой особый лад «сильная личность», выбирает крайнюю аскезу и самоуничтожение, что далеко не всегда бывает понято народом; особенно когда он сознательно навлекает на себя поношение от людей. Так создается равновесие, особенно характерное именно для православия (в католичестве юродивый — крайне редкая фигура): величие и слава империи на одном полюсе — и смиренная святость на другом. «Лавр» — «запрос» на

возрождение святорусской духовности, обращенный к широкому читателю и усиленный литературными достоинствами романа. Здесь есть искусно рассказанная история любви (парафраз подлинной истории св. Ксении Петербургской). И есть череда приключений, связанных с паломничеством Лавра в Святую землю. Кстати, удачно выбрано время действия: XV век. Это время, пожалуй, наивысшего подъема русской религиозности.²⁸ То, как создаются образы святых, чрезвычайно важно для будущего. Петражицкий писал, что для человека вообще первостепенна эмоциональная мотивация, и прежде чем поступить тем или иным образом, он имеет перед глазами «образы поступков». Еще один классик русской юридической мысли П.И. Новгородцев указывал, что как в юридическом, так и в метаюридическом (религиозном) поле наиболее эффективным оказывается «непрямое обучение» — трансляция чувств. Ветер с Востока (который ощущается уже сейчас) и ветер с Запада (который, думаю, тоже даст себя почувствовать в недалеком будущем) должны поспособствовать тому, чтобы у нас был восстановлен в правах Закон. Но живая вода может пробиться только из родного, до времени заваленного камнем источника. Слепая Иоланта в опере Чайковского прозрела силою любви рыцаря Водемона, а не пользованием «великого мавританского врача» Эбн-Хакия, хотя и не без некоторого его участия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. — Париж, 1937. С. 501.

² Гальцева Р. О симптомах реставрации и симптомах новой цивилизации. — Посев, 2013, № 7. С. 10.

³ Цит. по: Poggioli R. Teoria dell'arte d'avanguardia. — Bologna, 1962. P. 85.

⁴ Кстати говоря, военная мощь главной страны Запада, Соединенных Штатов, в глазах остального мира сейчас, возможно, преувеличивается. Техническая ее составляющая, действительно, впечатляет, а вот с человеческой составляющей дело обстоит гораздо хуже. Растущее мужеподобие военнослужащих женщин не может компенсировать растущее женоподобие военнослужащих мужчин. Вполне вероятно, что в самом близком будущем Соединенные Штаты станут, говоря по-китайски, «бумажным тигром».

⁵ Berman H. Faith and Order. New York: Wm.B.Erdmans, 1993. P. 53.

⁶ Следующие слова Кальдерона относятся к отдельно взятому человеку, но могут быть отнесены и к человеческим обществам: «Цель рожденья — / Вынести рока превращения / Отгадать и умереть». Самое важное слово здесь — «отгадать». Хотелось бы только слово «рок» (если именно оно стоит в испанском оригинале) заменить другим — «Провидение».

⁷ Кстати, во Франции еще в первой половине XIX века отце- и матереубийцам, перед тем, как предать их смерти, отсекалась правая рука. Ну, конечно, тут дело шло о преступлениях, несравненно более тяжких, чем воровство.

⁸ В Техасе сохранился архаический закон, позволяющий мужу «учить» жену палкой «толщиною с большой палец руки». Нынешние законодатели, узнав об этом, подивились, но вместо того, чтобы отменить его, дополнили: теперь и жене позволено «учить» мужа палкой вдвое более толстой.

⁹ Имеется в виду: первый раз — с Пиренейского полуострова в конце XV века, во второй — с полуострова Балканского в начале XX века (во втором случае, правда, «не вчистую»).

¹⁰ <http://www.brusselsjournal.com/node/3837>

¹¹ Географически это Юг и часть Среднего Запада. Но этот термин можно понимать также и метафорически — без географических ограничений.

¹² О возрождении пуританства я писал в статье «Нерон высадили в Америке». — «ДН», 2013, № 8.

¹³ Но ошибается норвежский исследователь Торкель Брекке, автор книги «Фундаментализм» (*Brekke T. Fundamentalism. Prophecy and protest in an Age of Globalization*. New York: Cambridge University Press, 2012), полагающий, что новоявленные пророки, подобно своим ветхозаветным предшественникам, пытаются «заново прочесть послание, исходящее от Бога» (р. 268) и тем самым идут наперекор институциональной религии. Современные американские пророки, если уж так их называть, призывают «всего лишь» к возрождению христианства и если порицают религиозный истеблишмент, то за отступления от него.

¹⁴ Знамя Халифата, дотоле белое, стало красным после взятия Константинополя. Позднее, уже в XIX веке, оно стало зеленым.

¹⁵ <http://www.usachristianministries.com/US-history-quotes-about-god-and-the-bible>

¹⁶ По-французски: Кальвен. Русское «Кальвин» — от латинизированной формы его фамилии Calvinus.

¹⁷ Первое из религиозных Пробуждений (Awakenings) пришлось на 1730-е годы, второе — на конец XVIII и начало XIX века, третье — на середину XX века.

¹⁸ <http://endtimepilgrim.org/puritans.htm>.

²² Уэльбек М., Леви Б.-А. Враги общества. М.: Иностранка, 2009. С. 244-245. Стоит привести автопортрет атеиста, набросанный Леви: «На моем примере мы видим *отъявленного атеиста* во втором поколении — атеиста не только религиозного, но и политического. На этой стадии атеизм безрадостен, лишен героизма, ни от чего не освобождает. В нем нет даже антиклерикализма, боевой пыл угас окончательно и бесповоротно. Он холоден, безнадежен и проживается как чистейшее бессилие, белый туман, в котором продвигаешься с трудом, как зима без конца и без края» (там же, с. 248).

²⁰ <http://old.nasledie.ru/persstr/persona/bestush/article.php?art=57>

²¹ Отрицание отрицания (лат.).

²² Этика преображенного эроса. М.: Республика, 1994. С. 20.

²³ Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 454.

²⁴ Штраус Л. Естественное право и история. М.: Водолей, 2007. С. 79.

²⁵ Барт К. Оправдание и право. М.: ББИ, 2006, с. 140.

²⁶ Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси. Париж: 1956. С. 49.

²⁷ «Комсомольская правда» от 12 декабря 2013 г. Забавно, что это пишет газета, бывшая когда-то органом воинствующих безбожников.

²⁸ Характеристика Федотова: XV век — «век свободы, духовной легкости, окрыленности, которые так красноречиво говорят в новгородской и ранней московской иконе по сравнению с позднейшей» (Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 томах. М.: Мартис, 2000. Т. 8. С. 161).

Никита Трофимович

Не хочу числиться ни героем, ни жертвой

Стихи и правда Никиты Трофимовича

Поэт говорит о себе дважды: словами и стихами. Случается, оба эти дискурса идеально совпадают. Но чаще — удивляют различием. Кто из них более реален: тот, который в чеканных строчках на белом листе, или тот, который — неверным шагом по жизни? Сначала я увидела Никиту Трофимовича, искореженного болезнью молодого человека в инвалидном кресле. Потом — услышала его стихи: настоящие мужские стихи победителя. А потом — поговорила: и здесь не было никакой борьбы и победы, и даже не всегда были стихи. И если иной раз хочется отделить поэзию от того, кто ее создал, с чем прекрасно справляются восторженные барышни на школьных уроках литературы, Никита Трофимович, безусловно, заслуживает целостности.

Анна СЕВЕРИНЕЦ

О болезни

Никакой борьбы с болезнью и победы над ней не было по одной простой причине — никто не знал, как и с чем воевать. Никто не знал никаких правил или условий войны. Все происходило путем проб и ошибок. Поручни в общем коридоре, шведскую стенку — все это отец придумывал заново, потому что никто никому ничего не рассказывал. Ну, и я, понятное дело, ничего не знал — у меня ведь не было опыта жизни без болезни. Не было ни борьбы, ни победы, была просто жизнь.

Первыми начали жить с моей болезнью мои родители. И это с них началось. Меня и моих братьев — старшего, Степана, и моего двойняшку, Федора, который старше меня на две минуты — учили всегда: Никита — может быть, и странный, но — такой же, как все, и, кроме нас, у нас никого нет. Отказаться от кого-нибудь из нас и послать все подальше мы не можем. И когда я потом в детстве слышал от врачей, что в семи из десяти историй такой болезни, как моя, не вписан отец — это ведь не вопрос самой болезни, или медицины, или героизма и борьбы, это просто выбор каждого человека. Кто-то уходит, а кто-

то остается. Мой отец остался со мной. В противном случае, первая часть моей жизни была бы совсем иной.

Не только по телевизор,
Реклама громче спектакля,
Мой дом напоминает дворец в Виндзоре,
Хвалят, радуются и кричат,
Звезда Давида близнец Пентакля,
Если не учишься отличать.
На полу не пылинки,
Кровати убраны,
На кухне галдѣж и раздражѣнное «Мама!»
«Во-первых, потише».
Разными судьбами семья живѣт
Под одною крышей.
Трагедия. С перерывами на рекламу.

Один раз меня возили в интернат — посмотреть. Была мысль: а вдруг там будет лучший уход? Но почему-то меня там не оставили. Я не знаю, почему. И я думаю, они и сами не знают рационального объяснения этому. Просто не оставили — и все.

Я попал в те десять процентов больных, у которых по счастливой случайности остался незатронутым мозг. Это — вопрос случая. Меня ломали, но хуже, чем колымского лагерника или узника Аушвица. Где здесь моя борьба? Это просто случай. Другой вектор развития истории.

Мне вот этой мыслью нравится Варлам Шаламов, из всех лагерников он мне нравится больше всех. Если у тебя что-то получилось, значит, тебя просто плохо ломали. Никакой ты не герой, потому что если бы ломали хорошо — то сломали бы.

Об отношении к людям с ограниченными возможностями

В жизни, кстати, я пока не встречал злонамеренной, умышленной дискриминации инвалидов. В основном — из-за незнания, из-за невежества, или — из-за первичной реакции сочувствия, желания помочь. Мне сегодня важно, чтобы в отношении к людям с ограниченными возможностями был определен такой тонкий, но критичный момент, как допустимый предел помощи. Когда его чувствуют, тогда инвалиду не говорят: мы будем делать все за тебя. Его учат: убирать дом, обращаться с деньгами, устраиваться на работу, четче выговаривать звуки, общаться на приемлемом социальном уровне. Там, где ты не можешь — рассчитывай на помощь. Но там, где ты можешь — делай сам. Это ведь нормально работает в случае с обычными людьми: мы помогаем человеку низкого роста достать товар с верхней полки, например. Но не будем же мы бросаться помогать ему снять пачку сока с нижней полки. Не жалость, только не жалость — нам нужно всего лишь нормальное взаимодействие с учетом каких-то наших физических или психических особенностей.

Нарушена подвижность языка,
Слова иссякли, он парализован,
И даже время, для которого не ново
Наше молчание — выходит прочь,

До скорого. Рывка, когда вернутся краски,
Топот.
Маски.
Ругань посторонних.
Мы обнялись,
Со стороны — нескромно. С их стороны, которая не наша.
Я так молюсь, я в запахе живу, твоей рукою сочиняя марши
Моих побед. И не прошу тебя терпеть молву,
А вопрошаю:
Где была ты раньше?

Что мне нравится в Европе: там никто не пялится, никто не предлагает денег... Когда ко мне в магазине подошла продавщица, она не спросила, потерялся ли я и хватит ли у меня денег, она сказала: если вы отвернете вот эту штучку, вы сможете померить то, что выберете.

Правила отношения к инвалидам очень простые. Такие же, как и правила отношения общества к любому человеку.

Во-первых, пусть во мне видят просто человека. Спрашивают, например, что-то не у сопровождающего, а у меня. Допускают, что я живу в тех же координатах. Считают меня равным. Требуют от меня навыков и соблюдения принятых правил. Понимают, что мне тоже нравятся красивые девушки и вкусное пиво. Я ничем не отличаюсь в своих основных пристрастиях, желаниях, стремлениях от здоровых людей. Как-то раз мне понадобилось что-то оплатить — и наша белорусская женщина, очень добрая, очень хорошая, жалостливая женщина сказала: ой, ребята, не надо ничего платить, я посмотрела на парня — и так расстроилась! А в Европе единственный случай, когда на меня посмотрели и расстроились, был с малышом одним: он посмотрел на мою коляску, потом на свой велик, и понял, что у меня круче. И расстроился. Вот что такое — как к обычным людям.

Я скучаю по тебе быстро.
Чтоб сократить расстояние,
Я бы угнал самолёт
Британского премьер-министра.
Узнаешь, что я лечу,
Меня в новостях покажут,
Мне по плечу
Улыбнуться
С каждого гаджета.
Английский чиновник,
Красивый и импозантный,
В разгар синдрома, забыв о возмездии,
Скажет: «познакомь меня с этой Анной,
Вы здорово смотрите вместе».

Еще, например, безбарьерная среда для инвалидов. Когда в инвалидах станут видеть обычных людей — окажется, что необходимо создавать безбарьерную среду не потому, что она нужна инвалидам, а потому, что она нужна всем. Чем помешают пандусы и дополнительные поручни мамам с колясками, старушкам, тем, у кого какая-то временная травма? Посмотрите на трудности инвалидов, экстраполируйте их на проблемы обычного человека — и окажется, то, что неудобно для человека с недугом, неудобно для всех. Просто у нас принято, что простой человек уж как-нибудь перетерпит. Так вот — нужно ли терпеть?

Или вопрос с работой. Мне повезло — я сегодня уже могу устраиваться на

работу, искать приработок по рекомендациям. А некоторые люди с инвалидностью пытаются устроиться годами, из-за недоступности образования, из-за того, что им в свое время никто не помог задуматься, поверить в себя и научиться доказывать, что «инвалид» не равен «безумцу». Справляться самому — почетно, но силы на это не всегда есть, я благодарен всем, кто поддерживал меня и поддерживает по сю пору.

Почему копирайтером не может быть инвалид? Может. Но нам говорят: нет, вы не сможете ездить в офис и поэтому не сможете проникаться командным духом. Как будто все, кто сидит в офисе, переполнены командным духом. Когда же к нам относятся как к обычным людям, нас «собеседуют» на компетенции и способности, а не на возможности ездить в офис.

Во-вторых, людьми (в скобках скажем — инвалидами, но это не только про инвалидов) надо интересоваться. Мы ленимся, не находим времени сейчас разговаривать. Нам кажется, что все должны все соображать, обо всем догадываться, все улавливать из контекста. Мы ленимся выяснять. Мы хотим не выяснить, а донести. Мы слушаем других не для того, чтобы понять, а для того, чтобы ответить на реплику. Нам не интересны другие, зато мы крайне интересны сами себе. «Мы остались в живых. Стала легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много». Знаете эти строки? Так вот если всего лишь выслушать человека с недугом, всего лишь спросить у него обо всем, что тебе кажется непонятным, отношения с ним станут максимально простыми.

Один волонтер мне рассказывал, что в первый год работы в летнем интеграционном лагере для здоровых и людей с недугом он каждый день к вечеру падал от усталости, потому что, каждый раз, когда что-то с кем-то из колясочников случалось, мчался помогать. И только потом понял: каждый раз — не надо. Я, например, уже научился: если я вдруг где-то падаю в наших непростых условиях, надо сразу выставить вперед руку, мол, не надо, я встану сам, это мне и проще, и полезнее. Мне важно справиться самому. Не нужно бежать на помощь.

Мои правила — это правила не для инвалидов, они — для всех. Ни я, и ни любой человек с инвалидностью — никакой не герой, никакой не особенный. Просто в связи со своей ситуацией какие-то общечеловеческие мелочи от нас требуют большего внимания. И все. А относиться внимательно хорошо было бы ко всем. Если рассматривать широко — это отчасти наследие советского прошлого. Эгоизм был возведен в ранг порока. Человек должен думать о других, подстраиваться под большинство. Так из общения ушла узнанность. Мы слушаем, чтобы ответить, останавливаемся на близости. Узнаем человека лишь до той меры, где понятно, что он может нам дать. Ни шагу дальше.

Между прочим, в моем положении есть и плюсы. Я, например, в очереди на почте не стою. Тоже большое дело.

О дружбе

Я собрал вокруг себя людей, которые все понимают про меня, и я понимаю про них, они мне приятны, понятны, они могут мне сказать что-то моими словами.

Вот была у меня в гостях одна девушка, и у меня спросили: ну и что за

девушка? И я рассказал: вот представь. Ты три недели трудился. Три недели трудился, и не было у тебя ни одного свободного дня. И сели у тебя батарейки. И вот спустя эти три недели выдался у тебя свободный день. Ты выспался. Солнечное утро, большое окно. Ты сидишь на подоконнике, пьешь капучино и смотришь на светлый, полный жизни город. Вот такая была девушка. Те, кто может это понять — мои друзья.

Этой фразе в стих не попасть,
Кроме тебя, читателя не найдёт,
Напоминаю, как я люблю,
Даже если близких мне и не сто, а лишь
Двадцать пять.
Я тебя приравняю к нулю,
Той, с которой начну отсчёт.

Было время — я ощущал себя очень одиноким. Семья — она есть всегда, но микроклимат в ней критически зависим от привитого предками типа любви. Иногда просто глупо, неправильно ожидать, что тебе будут давать что-то большее, чем еду и чистую постель. Дают то, что могут и как могут. Той близости, которая мне нужна, семья дать не может. Вероятно, это нормально. Закономерное одиночество. Знакомиться и дружить, как это делают другие люди, у меня тоже не получается — я не могу тусоваться, встречаться в кафе или во дворе, ходить на прогулки. У меня немножко другой опыт дружбы. Я разработал, как бы сказать, целую технологию дружбы. Началась она с того, что я дал себе клятву: никто из моих друзей, если они у меня появятся, не должны почувствовать себя такими одинокими, каким однажды почувствовал себя я. Однажды я признался своему вологодскому другу Диме, что у всех людей есть история дружбы (мы познакомились там-то, а помнишь, а вспомни), а у меня нет. Он сказал мне: «Так напиши свою легенду, в чем проблема?» И тогда я каждому из своих друзей заказал у мастера пару перчаток без пальцев с вышитым символом того, что именно они привнесли в мою жизнь. Символы взял из японской клановой геральдики. Теперь у каждого моего друга есть легенда, связанная со мной.

Нас ждёт ковбойская дуэль,
Очарование старой школы.
Поединок и есть моя цель,
Дразню тебя, звеня шпорами.
Выстрел часов. Наступил полдень,
Он даёт нам время проститься,
С теми, кто бросает на землю блёклую тень,
Всегда умея остановиться.
Щелчок курка («моя девочка!»), ловкие пальцы,
Я горжусь тобой и люблю тебя,
Одними губами, забыв испугаться.
Чужое движение, свежее, новое,
Для старого пса припрятала новый трюк,
Попадаешь мне прямо в голову.
Буду жить как на пляже.
Теперь есть люк, чтобы смотреть на небо.
А в нём проносится чей-то плач,
Сомнения, праздники, запах хлеба,
И то, как забыв о приличиях,

Без прелюдий попросил тебя раздеться.
Я попал. Туда куда целился.
В сердце.

Еще важно: прощаясь, всегда говори людям самое важное. И я всегда говорю — не стесняюсь. Как человек мне нужен, как он мне дорог. Некоторые считают, что я этим обнаруживаю свою слабость. Это не слабость — откуда мы знаем, когда мы пообщаемся в друзьями в последний раз? Еще у меня есть особенный сундук с артефактами от моих друзей — подарки, сувениры, открытки, записки. Каждому другу я дал имя, которым называю его только я (такая традиция была у викингов и индейцев). Еще я стараюсь вести счет настоящим событиям. Не большим, важным, эпохальным сдвигам, а всяким мелочам, которые однозначно не дотягивают до выпуска новостей: прочитал хорошее стихотворение, увидел красивую картинку, поговорил с подругой. Общение с другим человеком, с другом — ведь это всегда событие! Друзья для меня — это люди, с которыми мы находимся на одной волне, резонируем — в разговорах, в действиях, в пристрастиях. Говорим одним языком. Понимаем какие-то странности и чудачества друг друга. Знаем, что и откуда в нас берется. Я думаю, мне повезло, что у меня в жизни было время на то, чтобы понять ценность и важность человеческих отношений. Благодаря особенностям своего физического состояния, я свободен от множества суетных действий и телодвижений — поэтому я могу всерьез заниматься дружбой, например.

Падение. Nomen
Бросает Omen,
С высоты пьедестала
В зиму дороги грязную,
Связь не рвалась — растаяла,
Близкий становится омофоном,
Звучим одинаково, означаем уже по-разному.

Я ищу адекватных людей повсюду. Я много езжу в летние лагеря, на встречи, семинары, которые проводятся фондами, и даже не для того, чтобы чему-то научиться — все это можно узнать и самостоятельно, а чтобы найти одного, двух человек, с которыми ты сможешь быть на одной волне, стать своим. Как ни удивительно, короткая жизнь свела меня с большим количеством радикалов. Я прошел путь от бешенства и желания их исправить до чертовой усталости. Теперь — учусь их не замечать. Перефразируя поговорку про собак и караван, нужно понимать — лаять на тебя могут только псы, а не люди. Не тратьте времени на бешеных собак.

Свои — это здорово. Здорово, что ты можешь им прощать. Здорово, что ты можешь на них рассчитывать. Здорово, что ты можешь считать себя чьим-то другом.

Я не боюсь отказов в дружбе. Они, конечно, случаются — людей пугает моя откровенность, мои слишком «книжные» письма, подарки, да и вообще — не все люди могут передружиться... Но отказ — это всего лишь то, что приближает нас к настоящей дружбе. В книге Аллана Пиза, известного бизнесмена, есть такая хорошая история. Я, вспоминает Пиз, перестал бояться отказов в двенадцать лет. Я тогда зарабатывал тем, что ходил по квартирам и продавал губки, обычные мочалки для кухни. Спустя пару недель я вычислил, что в день зарабатываю

примерно одинаковую сумму. И я понял: каждый отказ всего лишь приближает меня к тому моменту, когда кто-то — согласится. Ведь я все равно заработаю эту сумму? Значит, отказ — всего лишь ступенька к успеху. Вот к непониманию — я долго привыкал. К тому, что кто-то не понимает стихов, которые мне нравятся. Не понимает моих стихов. Не понимает моего отношения к жизни. Суть подобной кафкианской глухоты, она ведь не в разнице вкусов, а в том, что не видишь в человеке равного. Злиться надо в лицо, с формулой обвинения — знакомить. Видеть равного. Иначе — это кристаллизованная подлость. Та, которая ни опытом, ни возрастом, ни намерениями не оправдывается. Нельзя быть слегка нацистом. Немного предателем тоже стать нельзя.

В красивых глазах никаких пророчеств,
Закроешь лицо белым берегом чашки,
Сообщение не прочитано.
Я увидел лишь многоточие,
Тонко, упруго, значительно,
Как проволока растяжки.
Может еще чайку?
Вернул на круги своя
Чеку.
Сглотнул, прогоняя
Внутреннюю морозность.
Стучу пальцами по столу.
«Понимай меня».
Будто бы азбукой Морзе.
Не выдержав звона прессующей немоты
Медленно выдал «Ты...» Приказом стучит в голове «Понимай меня!»
«Ты что-то сказать мне хочешь?
Говори и не пялься, я не Красная площадь».
Ты — моя Анима.

Вообще если говорить об измерении дружбы, то хорошо бы, чтобы люди не делали друг другу больно ни при каких условиях. *Больно* — это чуждая категория для дружбы. Зачем тогда дружить? Друг, если он настоящий, он не делает больно. Он — всегда с тобой, где бы ни находился. Я своих друзей всех ощущаю внутри, вмещаю в себя. А еще настоящий друг дает тебе веру в то, что у тебя все получится. И ты уже не можешь его подвести, просто потому, что он в тебя верит. Верит вот в такого, настоящего, не потому, что ты как-то особенно хорош, или тяжело болен, или в инвалидной коляске, а потому, что ты иногда даже бываешь отвратителен — но ты им друг.

О литературе

Мы с братом оба оттолкнулись от классической филологии, но он — языковед, а я — социолингвист и дискурс-аналитик. Федор изучает язык как знаковую систему, а я — текст и контекст, симбиоз текста и контекста. Мне интересен не язык как таковой, а то, на что раскладывается текст, на, так сказать, активные гиперссылки, которые несет в себе любой текст.

Мне нравится сравнение Витгенштейна. Он как-то сказал, что философия похожа на надпись на Лондонском вокзале. Вместо «В добрый путь» там написано: «А вам действительно нужно ехать?» Вот так я и смотрю на язык: вы действительно уверены, что здесь сказано то, что сказано?

Я теперь не могу по-другому смотреть на текст — только как на дискурс. И это — одно из самых больших моих удовольствий в жизни. Понять не смысл, а алгоритм, не только суть, но и закономерность, вписанность в систему. И я рад, что это теперь — моя работа, хотя как назвать удовольствие работой? Я маркетинговый консультант — в бизнесе, в маркетинге и рекламе лингвистики больше, чем кажется. Нельзя строить продуктивное общение с клиентом, не вникая в язык и контексты.

Одно время, кстати, я считал себя большим умником. В этом смысле мне очень помог Хайдеггер. Открой его или, например, Канта, в чьих книгах — чудовищный по плотности цитатный объем, — и ты сразу поймешь, что ты неуч и туземец, образованный не просто дурно, а преступно недостаточно.

Превратить бы себя в нарратив,
Спокойно ходить мимо окна.
Я был жесток и глумлив.
«У раны есть не смертельная глубина», —
Объяснял я тебе, размахивая ножом.
Никакого не хватит «прости»,
Документов о том, что я поражен,
Отравлен и ранен.
Это «был» я пытаюсь фиксировать,
Словно сизифов камень.
Перенёсший муки — лучший палач,
В беге от прошлого утративший себя, прежнего,
Умоляю тебя — не плачь,
Научи меня — нежности.
Обрати, сделай еретиком,
Помоги рабской сути дышать на ладан,
Иначе —
Огонь моей жизни сделается костром,
Моим наставником был Торквемада.

Если выбирать между типажам Холмса и Ватсона — я, скорее, Ватсон. Не чувствовать, но — знать. За что я благодарен людям, которые учили меня, — помимо отношения ко мне как к ребенку, помимо темы моей болезни, помимо всего и всего, у нас внедрена одна очень важная категория. У меня мать — филолог, доктор наук, да и отец, по профессии дальнбойщик, Лескова с Достоевским ранее читал увлеченно и проникновенно. Так вот, в моей родовой (категория сродности к крови и генетике отношения не имеет, чаще всего) системе координат чего-то не знать — неприлично. Не знаешь — признай и научись, спроси. Не суди, если не знаешь. Не суди, если не способен предложить альтернативу. Не суди, «если перестал быть учителем», как в знаменитом советском фильме «Доживем до понедельника».

Поэтому я все время что-то стремлюсь познать. Всего знать невозможно, но никто же не отнимает у нас возможности учиться.

Хотя есть такой момент. Например, одно время я всерьез занялся русской духовной литературой. Начал читать с начала, но на оптинских старцах — остановился. Я понял, что во мне ничего не резонирует с более ранними христианами. Исааком Сириным, Иоанном Дамаскиным. Я не могу воспринять их духовный опыт, отозваться внутренне на их проблемы. Это мне пока не близко. Поэтому я пока их отложил.

Это как с Пушкиным. У меня пока ничего не отзывается внутри на Пушкина. В своем познании русской литературы я иду как-то наоборот: я

прекрасно понимаю и внутренне отзываюсь на век двадцатый, а девятнадцатый для меня — пуст. Золотой век литературы... я понимаю его величие, но для меня он — мертвый.

Мне интересны ломающие язык Северянин, Хлебников, Маяковский, я хочу понять их эксперименты, их отношение к языку, и, может быть, через них прийти к классическим образцам.

Я вот сейчас из себя старательно вытряхиваю Маяковского, потому что он мне до того нравится, что я теряюсь сам. Маяковский... Вот мимо Пушкина я бы на улице спокойно прошел. А с Маяковским — я бы стал рядом и дрался бы за кого-нибудь, надо — денег бы дал, пил бы вместе, он очень во мне отзывается.

Как для меня открылся Бродский? Я вдруг понял, что он склеивает метафизику и быт: «Ведь пространство сделано из коридора и кончается счетчиком». И — оп-па! — у тебя в одной стороне космос, а в другой — электрический счетчик. Или вот Алексей Никонов: «Я проткнул свою руку шилом, и теперь вся ладонь занемела, я хотел, чтобы было красиво, хоть и выглядело скверно, пьяная мразь злорадствовала: тоже мне, горе... а кровь текла по канализации в Балтийское море». Быт, дурацкая выходка, кровь — и море, космос... Вот это во мне резонирует, эта обоюдная острота: в твоём пустяшном — космические высоты.

Не могу сидеть просто так,
Не спасают статуи скорби,
Горя, потери и тихой обиды.
Я покажу тебе добрый знак,
С арийским (в исходном значении) корнем
Сочетание «мэр» — это исчезновение из вида,
Все живы. Пока мы их помним.
Корень «мэр» — основа сумерек,
Это только луна на посту заменяет солнце,
Ты запомни, никто не умер.
Отошёл. Прогуляется и вернётся.
Умоешь меня слезой.
Головы коснулся безвольный кулак,
Что может о быте на кладбищах знать,
Молодой. Твой. Дурацкий дурак.
Ничего. Незнание моё не глупее
Картинок с черепом, котлов, где якобы
Грешников губят.
Я знаю. И я уверен — людей, которые любят,
Простят даже живущие в небе.

Сейчас я читаю Платонова, Гаспарова, Мамардашвили. Это какие-то такие языки, благодаря которым ты как будто проходишь инициацию — познаешь что-то невероятное... Это тот же эффект, что и в случае с Маяковским или Бродским: ты понимаешь, что человек пишет просто куском своей вырванной — немедленно же! — плоти, кровоточащей, живой, пульсирующей... А Пушкин — вскрыл вену, нацедил стаканчик, залечил рану, наложил шов, посмотрел, чтобы не было послеоперационной инфекции — и написал. За что мне в свое время не нравился Есенин? Я защищаю формально красивые решения. По аналогии с шахматистами: если можно достичь результата более краткими усилиями, то надо достигать, а все остальное — некрасиво. Или как говорил английский архитектор Бакминстер: «Я никогда не думаю о красоте, когда решаю проблему,

но я знаю, если решение некрасиво — оно неправильно». Так вот Есенин мне казался избыточным с точки зрения формы. В нем чувствовался излишний размах перед ударом. С точки зрения механики боя, размах — избыточен. Стих должен быть более кратким. Но потом я понял, что это просто другая тактика. Не бой, но драка. Он переломал традицию потому, что он не знал, как. И этим он мне близок.

О себе

Для меня самым сложным было — разрешить себе чувствовать то, что чувствуют другие люди. Перестать себя сдерживать, перестать говорить самому себе: этого тебе нельзя, и вообще надо потише себя вести, ты же не такой... Ожидал знака свыше, какого-то позволения... Да, в семье меня никогда не останавливали, но доброжелатели с улицы, другие такие же, с таким же диагнозом, дети в коллективе — они всегда с удовольствием говорили: «Это ты пока такой солнечный мальчик, маленький принц, но через пять лет — все. Все от тебя уйдут, бросят, забудут». Так и говорят — с формулировкой: «Мы бережем тебя от разочарований». Иногда добавляют: «Доживешь до наших лет — поймешь, что мы были правы». А про себя думают: «Но ты не доживешь». А еще говорят: «Ты — трус, потому что ты думаешь о жизни лучше, чем она есть на самом деле, избегаешь людей, которые говорят тебе неприятные вещи».

Но я действительно избегаю неприятных мне людей. Я понял, что это нормально: есть я, а есть люди, живущие параллельно со мной, и я не обязан ввязываться в праздные споры или ради уникального опыта преодоления себя бросаться в общение с ними.

У меня дед был военный моряк. Именно поэтому, я думаю, я в некоторых вещах абсолютно непреклонен. Например, мне говорят: мы тебя познакомим с настоящим фашистом, он тебе все спокойно объяснит, и ты поймешь, чем хорош Гитлер. А я отвечаю: нет ни одного человека, который объяснит мне, что в отношении к Гитлеру есть какой-то другой вариант. Я в своем сознании даже не допускаю такой опции — принимать или не принимать Гитлера. Только одна опция — не принимать. А дальше — как на рабочем столе, неактивные значки. Я нетерпим к грубости, упрощению в слове, неточность по отношению к слову для меня не ошибочна, но преступна. Как говорил Григорий Померанц, «стиль спора всегда важнее предмета спора». Еще говорят: «Зло начинается там, где на губах ангела выступает пена». Если хотят разговаривать, подыскивают слова. Называетесь циниками — понимайте, что цинизм — это предельность в точности словесных диагнозов. Если не хотят подыскивать слова — тогда незачем разговаривать. Я никому не бросаю вызов, не действую силой, я стараюсь договариваться о терминах, определяться в предмете спора... что угодно, но не опускаться до трамвайного хамства. Мне не нравятся экстремисты, радикалы, мне не нравятся превратные методологии. Я могу понять любую точку зрения, но если я вижу, что эта точка зрения добыта с нарушением процедуры исследования — это для меня корень зла.

Я считаю настоящим смертным грехом невежество. Все остальное — свойства человеческой натуры. Гордыню я могу понять — я сам с ней борюсь.

Я понимаю тщеславие, потому что я и с ним борюсь. Но невежество — это формалин какой-то, консервант для трупа. Я его не понимаю.

Я встречал изуродованных травмой людей — травмой физической или травмой духовной, людей, совершенно разуверившихся в жизни, в счастье, в дружбе. При этом у них могут быть на месте две руки, две ноги, позвоночник, живи, казалось бы, и радуйся — но нет, они смотрят вокруг с ненавистью и фальшивым, подростковым цинизмом. И мне все время хочется спросить: кто же тебя так напугал? Чего ты так боишься? Почему ты перевел опыт своего страха на всю оставшуюся жизнь? Страх и боль — это всего лишь рефлекторные реакции на переживание. Отдели боль и страх от уроков, вынеси что-то из своей боли и страха, разграничь опыт боли и опыт осознания ситуации — и твоя жизнь будет легче. Не проще, но легче и осознаннее.

Мы служили в одних войсках,
Слишком много похожих фраз,
Для газетчиков «братство», родство души,
Но это для публики, не для нас.
На месте хвалёной души у тебя отравленный шип.
Яд белковый или растительный?
Намибский паук, судя по маркировке.
Я засучил рукав. Улыбнулась.

Сравнили татуировки.
Пуля с ответом «тебя там не было».
Не покидает патронника.
Говорить бесполезно, они не знают,
Что в глазах твоих светит не солнце,
А в захваченных в плен японцах отражения света фар.
Моим же ночным кошмаром стал Мозамбик,
Не был ни разу ранен,
Лишь трижды убит.
Я там научился чувствовать.
Не рискуешь остаться искусственным,
Иначе старуха придёт и попробует,
На вкус незнакомый ей материал.
Милая, все мы кого-нибудь потеряли,
Сделав попутчиков,
(Или друзей) солдатскими матерями,
Путь наш отмечен минами.
Фугасными и пехотными,
Я такой же, как ты — испуганное животное.

Мне не хочется вписывать себя в координаты. Я и так кажусь маргиналом из-за своей болезни, а тут еще — герой, жертва... Герой, жертва — это ненормальные люди. Герой — ненормален с плюсом. Жертва — ненормальна с минусом. А я не хочу быть в тех координатах, где я мало того что болен, так еще и сверх того ненормален, потому что числюсь или героем, или жертвой.

Галина Зайнуллина

Да, тюрки — мы! Да — театралы!

Фестиваль является местом, где возможна «сверка художественных часов».

Виктор Шрайман

«Науруз» — не просто праздник весеннего равноденствия, а еще и явление, которое помимо языка объединяет всех тюрков. Не без оснований ЮНЕСКО в 2009 году включило «Науруз» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Не случайно и Первый фестиваль драматических театров республик Средней Азии и Казахстана, состоявшийся в 1989 году в Алматы, получил название «Науруз» — с глубокой древности празднование весеннего равноденствия было связано с театрализованными зрелищами.

Разноликость театральных коллективов и многообразие представленных на Первом фестивале зрелищ вызвали резонанс театральной общественности; успех «Науруза» подтолкнул организаторов к идее ежегодного проведения театрально-го форума. В 1990 году Бишкек, в 1991 Душанбе, в 1992 Ташкент принимали эстафету фестиваля.

Однако распад СССР и последующая трансформация социально-политического строя на постсоветском пространстве привели к разрыву многолетних культурных связей и прекращению многих творческих начинаний. Так произошло и с фестивалем «Науруз», который, возникнув как ежегодный, не проводился пять лет.

Возрождение произошло в 1998 году благодаря инициативе Марселя Салимжанова, главного режиссера старейшего театрального коллектива России — Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Учредителем «Науруза» стала также Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ. Было принято решение о проведении VI международного театрального фестиваля тюркских театров в Казани. Чтобы подчеркнуть преемственность театрального форума, была сохранена сквозная нумерация. Фестиваль получил статус международного и проводился раз в четыре года. В 2011 году было решено проводить его через год, чередуя с театрально-образовательными форумами.

Открытие фестиваля проходит на площади перед Камаловским театром и напоминает теплую встречу давно не видевшихся родственников. Юбилейный X «Науруз» совпал с Годом великого татарского поэта Габдуллы Тукая, объявленным в странах-членах ТЮРКСОЙ. На открытии тогда выступили артисты из

Азербайджана, владеющие древним искусством мугама, башкирские кураисты, горловики из Тувы и турецкие дервиши.

Первые фестивали казанского периода были построены так, чтобы показать все театры тюркского содружества, что, по мнению Фарида Бикчантаева, художественного руководителя «Науруза», делало его скорее фестивалем дружбы народов, нежели театральным. По этой причине после VIII фестиваля решили ограничиться квалифицированным разбором режиссерских решений и актерских работ коллегией критиков. (Невозможно записать в одну весовую категорию, к примеру, недавно образованный Гагаузский драматический театр им. Михаила Чакира и Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури, имеющий давние традиции.) А в 2013 году отбор спектаклей стал более жестким, чтобы понять, как развивается театральный процесс в тюркском мире.

Так эйфорию тюркского братания сменила отрадная тенденция — у мероприятия сформировалась фестивальная публика. Десять лет зрители заполняют фестивальные площадки: большой и малый залы Татарского академического театра им. Г. Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Казанский театр юного зрителя, Казанский академический русский драматический театр им. В.И. Качалова и Татарский театр кукол «Экият».

Каждый «Науруз» имел «лица необщее выраженье», во многом определяемое мозаикой тематических сгущений: то проявлял повышенное внимание к «смертельным любовным союзам», то зашкаливающий интерес к классике мировой драматургии, то удивлял инсценировками произведений русских писателей. При этом каждый театр вписывал в фестивальную летопись казанского периода свои неповторимые страницы.

Турция

«Амплитуда тюркских театров больше, чем восточный театр».

Анна Степанова

Турецкое театральное искусство ярко заявило о себе в 2002 году спектаклем **«Я — Анатолия!»** по пьесе Гюнгора Дилмена. В спектакле Анатолийского государственного театра история Малой Азии — с древнейших античных времен до сегодняшних дней — была представлена в монологах семи актрис. Богиня Кибела, жена троянского героя Гектора Андромаха, византийская царица Феодора, супруга Ходжи Насретдина, поэтесса Халида — все плоть от плоти анатолийской почвы: пространство сцены задрапировано коричневой материей. Семь актрис скупыми сценическими средствами передают дикие нравы почти первобытного общества, пышность императорского двора, безысходную атмосферу военного госпиталя... Лирические, исповедальные мотивы и шокирующие сцены сплетаются в масштабное эпическое полотно. От монолога к монологу прослеживается угасание красоты, мощи и подмена витальной энергии истерикой вырождения.

В 2005 году Стамбульский государственный театр драмы вновь показал необычный спектакль — **«Самоубийца Бенерджи»** по роману в стихах Назыма

Хикмета «Почему Бенерджи покончил с собой?» Как и роман, спектакль пронизывала полемика с мещанским ощущением мира: на сцене отсутствовали театральные красоты: огромный маховик — вот и вся сценография. Актеры, находясь меж лопастей, вращали его. Возможно, это была метафора механизма писательского воображения — на авансцене, стуча пишущей машинкой, турецкий поэт-коммунист рассуждал о замысле книги: как на примере революционно-освободительного движения индийского народа против колониализма показать пути турецкого революционного движения? Тернист и трагичен путь оппозиционера: любимая может не выдержать тягот и уйти — этот удар Бенерджи переживает, но когда отрекаются друзья, обвинив в предательстве, он наложит на себя руки. Автор возмущен таким решением и в смятении бежит от своего героя.

Надо отметить, что напряженный трагизм в спектакле «Самоубийца Бенерджи» передавался не буйством страстей, а достоверностью физических усилий актеров, совершающих акробатические номера в маховике. Решение не бесспорное, но, несомненно, любопытное.

В 2013 году Стамбульский театр драмы повторил попытку донести до фестивальной публики эпохальность романа Назыма Хикмета: **«Самоубийцу Бенерджи»** на этот раз демонстрировали опен-эйр — в амфитеатре на берегу озера Кабан.

Азербайджан

«Даже когда речь идет о самом высоком эпосе, нельзя забывать о таких вещах, как развитие и психологизм».

Алексей Бартошевич

В 2002 году драма **«Махмуд и Мариам»**, казалось бы, явила вопиющий случай попрания всех законов театрального искусства. На авансцене актер в деловом костюме монотонно зачитывал отрывки из романа народного писателя Эльчина — события азербайджанской истории XV века. Когда он замолкал, начинали наигрывать и жестикулировать персонажи. На заднике красовалась огромная карта с Карабахом — жанровый вброс агитационно-политического театра.

Лишь татарстанский критик Айгуль Габаши сочла «Махмуд и Мариам» спектаклем необычным, требующим большого духовного напряжения. По ее мнению, спектакль отметал театральные шаблоны и в полной мере воспроизводил традиции восточной литературы с ее неспешным развитием действия, развернутыми лирическими и публицистическими отступлениями, причудливо орнаментированными языковыми оборотами. Любовь принца-мусульманина Махмуда и дочери христианского священника Мариам была обозначена как повод для размышлений на религиозные, социальные, философские темы. Что есть истинная праведность: готовность пойти за свою веру на бесчеловечные поступки или же принятие мира таким, каким его создал Бог, во всем многообразии и неоднозначности?

Романтическая приподнятость, органичный пафос контрастировали с привычным Западу бытовым реализмом в спектаклях азербайджанских театров и в последующем.

Туркменистан

«Я не говорю, плох или хорош туркменский театр, но я просто до сих пор не имела представления о подобном».

Анна Банасюкевич

Главный драматический театр Республики Туркменистан носит имя Сапармурата Туркменбаши Великого. Всеведущий интернет хранит сведения о том, что назвать театр именем президента в 2007 году предложил главный руководитель академического театра Тачмаммед Мамметвелиев.

За два года до того, на VIII фестивале тюркских театров, можно было познакомиться с творчеством Мамметвелиева (пока еще режиссера академического театра драмы им. Молланепеса). «Придворный дворцовый спектакль» — так определили московские критики жанр спектакля «Неджеп Оглан». В общем контексте этот театр действительно смотрелся необычно. На авансцене, по центру, сидел бахши — народный сказитель, — играющий на дутаре. А актеры, вооруженные элементами разобранной юрты — ук — иллюстрировали богатые изобразительные возможности предмета: тонкие изогнутые жерди длиной 2–2,5 метра становились арками, опахалами, верблюдами и конями. При этом светопостановка и художественное оформление не играло в «Неджеп Оглани» никакой роли — функцию сценографии в пустом пространстве брали на себя национальные костюмы.

В кулуарах фестиваля поговаривали, что сам туркменбаши Ниязов отобрал «Неджеп Оглан» для «Науруза». Это как-то объясняло пыл, с которым Мамметвелиев надерзил московским критикам: дескать, в наше время художественное мастерство для театра — не главное, а гораздо важнее определение его сути. И ранние «Наурузы» начала 90-х уделяли внимание подобному поиску. Ведь сейчас не эпоха развитого социализма, чтобы заниматься постановкой Шекспира. Дорога восточного театра — в дастанах-сказителях.

Нурхан Карадаг, критик из Анкары, поддержала туркменского режиссера: «Не представление, а восхождение к небесному» — так она определила жанр спектакля.

Уфимский театровед Дина Давлетшина разделила тоску туркменского режиссера по дастану. Потому что аналогичная традиционная форма существовала и у башкир: вокруг сказителя (сэсэна) рассаживались зрители, в кульминационные моменты он пел, имелись помощники, которые пластически иллюстрировали эпизоды; шутки импровизировались в зависимости от контекста. Считается, форма изжила себя в XX веке, но туркмены своим театрализованным представлением поставили под этим утверждением знак вопроса.

Казахстан

«Легенда о Коркыте — один из стержневых компонентов казахской ментальности».

Чохан Валиханов

«Мощный казахстанский выдох» потряс в 2002 году председателя коллегии критиков Виктора Калиша: «музыка речевой партитуры, гортанные звуки,

взрывающие пространство» — это он о спектакле **«Легенда о Коркуте»**. «Как, — изумлялся Калиш, — Коркут — декадентская фигура тюркской мифологии — кому-то до сих пор интересен? Ну, значит, Казахский академический театр для детей и юношества им. Габита Мусренова живой».

Напомним, Коркут — легендарный тюркский поэт-песенник IX века, создатель кобыза, покровитель поэтов и музыкантов. Согласно преданиям, он смолоду не мог примириться со скоротечностью человеческой жизни. Мучимый мечтой о бессмертии, выдолбил из дерева первый кобыз, натянул на него струны и заиграл, изливая мучительные чувства. Чудесные звуки дошли до людей и пленили их. С тех пор его мелодии и созданный им кобыз странствуют по земле, а предание о Коркуте — духовное тюркское «эсперанто» — популярно почти у всех тюркских народов.

В 2005 году интерес театроведов вызвал фарс **«Буча»** Кызылординского областного музыкально-драматического театра им. Н. Бекежанова. Агрессивную шаржированность соц-арта казахи объединили с критическим реализмом и сопрягли в разных стилевых решениях дореволюционное прошлое, годы коллективизации и дикий капитализм современности. Действие, детерминированное социально-исторически, с использованием традиционной одежды, игралось перед тонким суперзанавесом. Но стоило ему подняться, как учащенная ритмика фарса поглощала естественное течение жизни. Начиналось супрематическое действие красных и черных форм: алым цветом маркировались костюмы красноармейцев, пиджак председателя колхоза, пулемет, серп и молот, расположенные на черном заднике, — большевистская идея поглощала бытие! В финале красный сменился голубым: на иностранных буквах, рекламных щитах, больших денежных купюрах. Новые знаки стали выполнять ту же функцию атрибутов власти и манипулирования общественным сознанием.

В 2013 году казахи вновь вернулись к выдающемуся мыслителю огузов. Для инсценировки легенды Коркута о богатыре Босате и одноглазом циклопе Кызылординский областной казахский музыкально-драматический театр имени Н. Бекежанова пригласил турецкого режиссера Хусейна Эмир-Темира. Драматическая легенда **«Одноглазый»** была поставлена в рамках совместного проекта Акимата Кызылординской области и Международной организации ТЮРКСОЙ для участия в программе фестиваля фольклорного музыкального искусства тюркоязычных государств «Коркут и великая мелодия степи».

Киргизия

«...но очищение — прежде всего в наших сердцах».

Чингиз Айтматов

Тема спектакля **«Ак-Меер»** Молодежного театра «Учур» (Бишкек) — неравные отношения в социуме. Табунщик молод, красив, но беден и кроме всепоглощающей любви ничего не может предложить любимой. Его благородство оценила не только Ак-Меер, но и ее старый муж, хан Жантай, в последний момент осознавший, что власть, сила и богатство не гарантируют поклонения бедных, но гордых влюбленных.

Поверх мезальянсов и социальных противоречий в спектакле выстраива-

лась вечная, тема — *красота спасет мир*. Вывод театрального критика Нины Карповой был категоричным: «В актеры нужно брать прежде всего красивых, а только потом талантливых и умных», — так потрясли ее статью и длинными косами молодые киргизские актрисы. А Розу Усманову они сразили «величавостью, неспешностью и мощной генетической связью со своим фольклором».

Похоже, именно красота сберегла Киргизию во время великих потрясений. В марте 2005 года в республике свершился государственный переворот из серии «цветных революций», а уже в июне Киргизский национальный театр им. Т. Абдумомунова (Бишкек) благополучно показывал на фестивале тюркских театров **«Короля Лира»**.

В 2009 году событием «Науруза» стала драма-притча **«Долгая дорога в Мекку»** Молодежного театра «Учур». Таджикский режиссер Барзу Абдураззоков и драматург Султан Раев (советник президента Киргизской Республики) «разорвали круг исторического времени, чтобы прорваться сразу к концу времен». Семеро полубезумных персонажей двигались в Мекку, находясь в пространстве одной комнаты. С каждым шагом тяжесть духовного пути возрастала и вместе с этим нарастала и потребность в любви как в спасении.

В 2009 году интересным новшеством стало включение в программу «Науруза» площадного Зеленого театра Бишкека с народной притчей **«Карагул ботом»** (автор спектакля Темирбек Бирназаров). Спектакль игрался на площадке перед театром им. Г. Камала, вбирая в себя окружающее пространство: гладь озера Кабан, неоновые названия банков, отелей и ресторанов, шум проезжающих автомобилей...

Тува

«Тюркским театрам просто необходимо было разобраться со своим прошлым, вспомнить своих репрессированных гениев».

Анна Степанова

Смелым шагом со стороны главного режиссера Тувинского музыкально-драматического театра имени Виктора Кок-оола (Кызыл) Алексея Ооржак был выбор для показа на VII «Наурузе» спектакля **«Свидетель — темная ночь»** по пьесе Чылгычы Ондара. Неоднозначное восприятие вызвали трактовка темы сталинских репрессий, спроецированная на Туву, взаимоотношения ее со «старшим братом» накануне вхождения республики в состав СССР. Негативный образ беспринципного московского советника приобрел для зрителей символический смысл: все плохое, разрушающее традиции народа, шло из Москвы.

«Зажгли» тувинцы и на VIII фестивале в 2005 году. Перед началом первого акта **«Короля Лира»** «включили» зрителя запахами благовоний — зажгли степные травы. По залу поползли дым и душок гари. Возможно, то была сценическая метафора возбуждающего запаха власти. Московские критики запаниковали, так как привезли с собой «ощущение каждого дня как последнего» после энергетической катастрофы, произошедшей в столице в мае 2005-го. Тем не менее москвичи сумели оценить высокую эклектику спектакля: трагедийный характер исполнителя главной роли, горловое пение, ритуальный танец орла, Гонерилью в образе японской гейши — и дали совет: «Глубже сохранять свою природу, сохранить ядро и не перенимать механически европейские элементы».

Алексей Ооржак внял совету и представил на X фестивале тюркских

театров **«Культегина»** по эпической драме Эдуарда Мижита. Спектакль рассказывает о жизни древнетюркского общества, раздираемого внутренними конфликтами, которые умело подогреваются правителями могущественного соседа — Древнего Китая. В **«Культегине»** было скрыто послание всем мировым политикам: «Зрелость вождей, больших и малых, заключается в их умении ставить интересы народа выше даже собственной жизни».

Хакассия

«Мы полны желания помочь народу, глубже познавать свою многовековую историю, культуру. И через это идти к пониманию души других народов».

Василий Ивандаев

Знакомство с театрами Хакассии поначалу не предвещало сюрпризов: в 2002 году Хакасский национальный драматический театр привез на фестиваль Гоголевского **«Ревизора»**, в 2005 году на VIII **«Науруз»** — комедию первого художественного руководителя театра, драматурга Александра Топанова.

Его пьеса **«Одураченный Хорхло»** уникальна тем, что написана в 1941 году, — это единственная хакасская комедия военного времени. Тем удивительнее обилие песен и народного юмора. Однако у каждого национального театра есть подобная визитная карточка. Театроведы мягко пожурили спектакль за эстрадное приукрашивание обрядов и похвалили за этничность органики, особенности которой техносфера не успела стереть.

«Открытия чудные» начались в 2011 году с появлением Хакасского театра драмы и этнической музыки **«Читиген»** (Абакан). Вызывал любопытство выбор режиссера Андрея Асочакова — новелла **«В чаще»** Рюноске Акутагавы. По ее мотивам он поставил драму **«Суд»** с использованием элементов японского архаического театра: бунраку и кабуки. Сложилось впечатление, что **«Читиген»** пытается рассказать об острых проблемах современности, смешивая формы театральной архаики разных народов, — то есть всеотзывчив. Оказалось, не совсем так.

В 2013 году Хакасский театр драмы и этнической музыки поведал историю японских Ромео и Джульетты, основываясь на поэтической драме Тикамацу Мондзаэмон **«Самоубийство влюбленных на острове Небесных Сетей»**. Героям японской трагедии не позволила быть вместе принадлежность к разным сословиям: Дзихей был торговцем бумагой, Кохару — гетерой, наложницей «дома любви». Завораживающим эффектом спектакль **«Остров небесных сетей»** был во многом обязан оркестру национальных инструментов и музыкальному оформлению композитора Олега Чебодаева, в котором в хакасский мелодический рисунок органично вписались мотивы японской музыки.

Критики Надежда Стоева, Виктор Шрайман и Ольга Кораблина остались после просмотра в замешательстве: какую задачу ставили создатели — игровое освоение японской культуры или показ своей, хакасской? На их вопрос неожиданно взялся отвечать директор театра **«Читиген»** Виталий Канзычаков, да с таким митинговым пылом, что все опешили. Канзычаков заявил, что хакасам нечему учиться у японцев — это они должны учиться у великого хакасского народа.

Алтай

«Для алтайцев-язычников Алтай — живой дух, щедрый, богатый, исполин-великан».

Григорий Гуркин

Национальный драматический театр имени П. Кучияк восходит к вершинам театрального совершенства неспешно, как на священную гору. Это и отметил столичный театровед Николай Жегин в 2005 году при анализе спектакля **«Байлыгым»**: «Ритмы однообразные, движение медленное, но сегодня важна неторопливость, она вызывает уважение к событию».

Спустя шесть лет на X «Наурузе» к исторической драме **«Восхождение на Хан-Алтай»**, посвященной творчеству алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, критики отнеслись суровее, хотя режиссер-постановщик был именитый — министр культуры и духовного развития Якутии народный артист РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ Андрей Борисов, под стать личности Григория Ивановича Гуркина (1870 — 1937): алтайского художника, потомка теленгетского хана Конная, представителя рода чорос.

Благодаря живописным полотнам Гуркина слава о своеобразной красоте Алтая стала всеобщим достоянием. В 1897 году он предпринял попытку поступить в Академию художеств, тогда-то его рисунки попали на глаза знаменитому пейзажисту Ивану Шишкину, и тот пригласил Гуркина в свою мастерскую. После революции художник занялся на родине общественной деятельностью, стремился к осуществлению лозунга «Право нации на самоопределение». Это было связано с деятельностью Алтайской Горной Думы, председателем которой он был с 1917 по 1919 год.

«Восхождение на Хан-Алтай» — спектакль огромной познавательной ценности, подробно воссоздающий каждый этап биографии художника: детство, труд в иконописной мастерской, петербургский и монгольский периоды. Неподдельно трагичны финальные картины: в 1937 году Чорос-Гуркин арестован как «враг народа», обвинен в создании буржуазного государства в границах старого Джунгарского ханства под протекторатом Японии и расстрелян.

Масштаб личности главного героя в спектакле был таков, что художественные огрехи казались пустяковыми камушками у подножия величественной горы. Зал Театра Тинчурина наэлектризовало зрительское внимание редкого качества — интерес к истории страны.

Республика Саха

«Якуты, саха жили оторванные от мира, всего остального мира».

Николай Лугинов

Суровость природы и судьбы — главное мерило восприятия якутского искусства. Поэтому каждая постановка из Республики Саха воспринимается на «Наурузе» с особым любопытством. В 2002 году — это спектакль **«Захотевшие ребенка»** Государственного театра юмора и сатиры (режиссер Валентина Якимец). То был даже не спектакль по произведению Платона Ойунского, а

зрелище-камлание, пропитанное фольклорной музыкой и шаманскими ритуалами. На «Наурузе-2009» был показан спектакль-метафора **«Согретые надеждой»** Студенческого театра якутского колледжа культуры и искусств «Этюд» (по мотивам ранних рассказов народного писателя Якутии Николая Лугинова). Режиссер Ольга Стручкова аккумулировала в молодежной постановке все достоинства студийной работы — радость первооткрытия, незаштампованность.

Роскошным подарком XI «Наурузу» стал моноспектакль **«Медея-Керчик-тэр»** (режиссер Шамиль Дыйканбаев). Степанида Борисова — всемирно известная поющая драматическая актриса Якутского академического театра имени Ойунского — почетный гость фестиваля — в процессе вокальной импровизации изливала болезненную память души Медеи. При пении народная артистка России использовала якутскую национальную технику горлового пения тойук.

Чувашия

«Стоящие часы два раза в день показывают
правильное время».

Олег Лоевский

Медленное остывание исторического времени в драме **«Голос печального вяза»** Чувашского государственного академического театра им. К. Иванова не поддавалось объяснению. Режиссер Валерий Яковлев воспользовался не соцреалистической прозой, а «перестроечной» — Д. Гордеева и Г. Кириллова, — посвященной событиям 1953 года в чувашской деревне: у Анукки муж, старший сын и сноха сгинули в сталинских лагерях. Младший сын Симон накануне свадьбы тоже гибнет от рук злодеев, за него мстит невеста Майкка.

Тем неожиданнее было видеть на сцене любовно воссозданный советский театр 40-х—50-х годов: перспективные декорации с писанным задником и стволami «натурального» леса на среднем плане. В момент появления призрака Симона под музыку Верди на стволах сосен загораются гирлянды и скользят сильфиды в белых пачках. В их танец вплетается оперативно-розыскная суeta милиционеров в ретро-форме.

Целостное мифопоэтическое сознание пронизывает здесь Историю, примиряя огромный портрет Берия с ликом Богородицы, сильфид — с милиционерами. «Национальным достоянием» назвал чувашский спектакль Павел Руднев, — его впечатлил «темперамент, замороженный на двести лет»: сухой пафос актерской игры, проистекающий из эпичности духовного пространства героини. В Чувашском театре Руднев узрел «Малый театр», которого в самом Малом театре уже нет.

Спектакли Чувашского государственного академического драмтеатра имени К. Иванова на Фестивале тюркских театров частенько удостаивались похвалы: **«Дом Бернарды Альбы»** (2005), **«Ханума»** (2011), **«Баба Шанель»** (2013), **«Серебряное войско»** (2009) — легенда о чувашских амазонках Молодежного театра имени М. Сеспиля.

Всякий раз событием «Науруза» становилось участие Веры Кузьминой. Заслуженная артистка Чувашской АССР и РСФСР, народная артистка РСФСР и СССР бессменно работает в Чувашском государственном академическом драматическом театре с 1947 года; ее художественное чтение является образцом чувашской сценической речи.

Башкортостан

«Башкиры — люди космоса, их тела пронизывают стихии; закрытости и защищенности на их сцене не должно быть».

Пауза Султанова

Самобытность башкирского театра не назовешь «почвенной», непосредственной. Уникальность конструируется аналитически, в процессе творческого поиска. Ведь башкиры не имеют древней традиции народных театральных представлений, свой театр у них появился только после революции и с самого начала формировался в едином русле «интернационального социалистического искусства».

Это, конечно, не помеха для создания Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури ярких самобытных спектаклей. Как, например, действо-притча **«Последнее море Чингисхана»** в постановке кыргызского режиссера Нурланова Абдыкадырова. Роль Тэмужина (Чингисхана) в исполнении Хурматуллы Утяшева была признана лучшей мужской ролью VII «Науруза».

Дальнейшие успехи Башкирского государственного Академического театра драмы имени М. Гафури на Фестивале тюркских театров были связаны с режиссером Айратом Абушахмановым.

Автобиографическая повесть Мустая Карима, послужившая основой спектакля **«Долгое-долгое детство»** («Науруз-2005»), была благодатным материалом для традиционного соцреалистического прочтения. Однако Абушахманов предпочел сделать «красивый спектакль-аккорд». Наблюдая за переплетением больших и малых событий: голодное детство, обиды сверстников, трагедия Отечественной войны, горе Ак Йолдыз, потерявшей мужа, ее сомнения в справедливости создателя — не ожидаешь с нетерпением развязки, а просто любишься эпическим потоком.

Музыкально-романтическая драма **«Шауракай»** («Науруз-2011») создана на основе башкирской песни. Основной конфликт в ней возникает между чувствами молодых людей и вековыми обычаями. Закономерно, что «Шауракай» — музыкальный спектакль; артисты в нем не только сами поют, но еще и играют на старинных музыкальных инструментах, которые сегодня практически нигде не услышишь, воспроизводят обряды — которые не увидишь.

Башкирских Ромео и Джульетту — Акъегета и Зубаржат (Руслан Хайсаров и Алтынай Юнусова) — в трагедии Абушахманова **«Затмение»** центральными не назовешь. Одна из причин — разлитое море сценографии (художник-постановщик Варвара Чувина). Тут и динамические падуго с черно-белыми трещинами, и огромная луна, на которую проецируются эпизоды теневого театра.

Вторая причина — избыток атрибутов, наполняющих спектакль подтекстами: красный пояс, удочки-поводки, серые тумбы-булыжники. И это не всё. Настоячивый рефрен спектакля — статисты с бутафорскими головами животных: овечьими, лошадиными, клюворылыми. Это образ людского стада, обличаемого в спектакле, — безликая безумная толпа, которая не дает проявиться индивидуальности. Первое агрессивное дефиле звероловлей происходит после

пролога-притчи об орлице, растерзавшей своих детей, подчеркивая пронзительность рассказа Диваны (Урал Аминев). Но в дальнейшем звероголовые статисты становятся избыточными — дублируют ведьм, внедренных для лобовой параллели с «Макбетом».

Назовите все перечисленное свалкой метафор, но результат один — отвлечение от главного: героев и жизни их духа. Не случайно «охранители классики» вынесли спектаклю Абушахманова вердикт: «Затмение национальной сцены!» Дело в том, что трагедия Мустая Карима «Ночь лунного затмения» для башкирского театра является таким же философским материалом, как «Гамлет» для мирового.

И все же в «Затмении» состоялись яркие актерские работы. Удивительно хороша была Танкабика Сары Буранбаевой: в начале — красивая, статная, уверенная в каждом своем слове матрона, в кульминации-середине — убитая горем мать, в конце — искупившая грехи страданием, устремившаяся к вечной жизни.

Дервиш — в исполнении народного артиста РБ Алмаса Амирова — один из самых сложных образов в пьесе: святой человек, на склоне лет испытавший крах веры и, как следствие, нравственный крах.

Танкабику и Дервиша затмевает (вот оно истинное затмение!)... конь по кличке Дастархан — чемпион мира по прыжкам. На сцене он появлялся дважды, оседланный призраком покойного бая. Не с целью покарать грешную Танкабику, наоборот — наградить вечным покоем. Мощное красивое животное среди театральной условности вызвало ужас, восторг и парадоксальный эффект фантастичной нереальности. Это был триумф первозданного, архаичного над всей цивилизационной надстройкой, может быть, даже и над самим театром.

Татарстан

«Казанские татары — потомки земледельцев и с трудом принимают пустое пространство, привыкли к интерьеру и расчлененности».

Рауза Султанова

Для татарского театра на Фестивале тюркских театров поначалу все складывалось неплохо: победа в 2002 году в номинации «За лучшую режиссуру» спектакля **«Рыжеволосый насмешник и черноволосая красавица»** (основан на серьезном изучении суфизма и попытке нащупать исконно тюркские театральные формы); «Науруз-2005» — Гран-при за мюзикл **«Черная бурка»** (режиссер Фарид Бикчантаев).

Однако в 2009 году, как только отменили жюри и соревновательность, разыгралась бурная драма столкновения театральных идей.

Страсти кипели вокруг постановок периферийных татарских государственных театров: Оренбургского драматического им. М. Файзи, театра драмы и комедии им. К. Тинчурина (Казань) и Драматического театра из Набережных Челнов. Недостатки спектаклей первых двух — **«Нас было 12 девушек»**, **«Бешабашная юность моя»** — проистекали из обращения к устаревшим пьесам 70-х годов классиков татарской драматургии — Аяза Гилязова и Туфана Миннуллина.

«Такое впечатление, — отметил Павел Руднев, — что у татарского народа нет иной проблемы, кроме: "Возможны ли половые отношения вне брака?"» Также была отмечена «зубодробительная серьезность», с которой режиссеры подходят к неактуальным проблемам, что не дает на сцене возможности «выйти на радугу жизни» и поставить художественные задачи.

Суть претензий к спектаклю **«Мухаджиры»** (по роману Махмута Галаю) Мензелинского татарского драматического театра им. С. Амутбаева заключалась в недопустимости противоречия между трагичной историей о бедных людях и элементами сталинского ампира: героиня уходила на тот свет, как «умирающий лебедь», в изысканно красивом платье, хореографические вставки напоминали балет «Красный мак».

Самая острая дискуссия развернулась вокруг спектакля **«Одержимый»**. В одноименном трагифарсе Туфана Миннуллина главный герой Виль сходит с ума, прочитав полное собрание сочинений Ленина; он решает поселиться в деревне и с пением «Интернационала» проповедует идеи социальной справедливости. Критик Алена Карась сочла, что драматург в пьесе создает устаревшую ситуацию и направляет талантливый коллектив на решение несуществующих проблем. Руднев же заподозрил «развесистую клюкву» в том, что по селу может расхаживать «новый татарин» в дорогом костюме, поедая голландскую клубнику. «Одержимый» стал для него ярким примером безболевого драматургии и того, как комфортные отношения театра с драматургом ведут к не комфортному сосуществованию театра со зрителем, в конечном счете — к творческому застою.

Коллектив ТГАТ не согласился с такой оценкой. Актеры доказывали, что татарская деревня значительно отличается от русской. Туфан Абдуллович в пылу дискуссии назвал москвичей «аудиторами искусства», которые знают жизнь и театр теоретически.

Итоги «Науруза-2009» для татарского театра были противоречивыми. С одной стороны, критики требовали от национального театра темпа и ритма сегодняшнего дня, нового театрального языка, с другой — звучала мысль о том, что татарский театр испорчен влиянием русского и не нашел форму консервации национальной самобытности. Сравнивая татарскую драматургию с выдохшимся шампанским, уповали на приход молодых драматургов и в то же самое время тосковали по архаике, которая «сердце радует».

Однако в 2011 году деятели татарского театра взяли штурмом такие эстетические вершины, что заставили говорить о себе как о лидерах тюркского театрального искусства. «Спектаклем-событием», по версии жюри республиканской премии «Тантана», стала постановка петербургского режиссера Искандера Сакаева пьесы **«Ашик-Кериб»** в Альметьевском татарском государственном драматическом театре.

«Ашик-Кериб» — легенда о любви, созданная по мотивам иранских, киргизских древних национальных легенд, азербайджанского дастана и турецкой сказки, обработанная и переведенная Лермонтовым на русский язык. Старую как мир историю о препятствиях, с которыми сталкиваются влюбленные, Сакаев (выпускник режиссерской магистратуры при Школе-студии МХАТ) рассказал современным сценическим языком. Он расположил зрительские ряды прямо на сцене — на одном уровне с артистами, словно «внутри» спектакля.

В результате провинциальные актеры преобразились, режиссер вывел их из тупика надрывного психологизма. Ему удалось сделать актеров единым радостным целым.

Театр для Сакаева не диалог, не интрига, а искусство других возможностей

и задач. «Хочу вырвать у татарского актера сердце и заставить работать другие органы!» — в такой, намеренно шокирующей форме, сообщил о своей цели режиссер на XI «Наурузе», когда коллегия критиков настороженно отнеслась ко второй его постановке в Альметьевском театре. На этот раз Сакаев с помощью приемов биомеханики выстроил **«Мещанскую свадьбу»** Брехта.

Между тем в том же постдраматическом направлении, но своим путем, двинулся Фарид Бикчантаев. В его спектакле **«Однажды летним днем»** на второй план ушел линейный сюжет — сюжетными перипетиями стали единые со зрителем пространство и время. Иначе и быть не могло при постановке норвежского авангардиста Йона Фоссе. Сюжет его пьесы... бессюжетен: героиня переживает события молодости, пытаясь понять, что побудило мужа исчезнуть из ее жизни. Смысл задан в переходах-настроениях ритмической прозы, в бесконечном самоистязании, придающем жизненные силы.

Театроведы с восторгом приняли «Однажды летним днем»; председатель коллегии критиков Ирина Мягкова назвала его «европейской прививкой к татарскому театру».

А на итоговой пресс-конференции XI фестиваля Мягкова отметила: «В каждой языковой группе всегда есть "театр-патрон". В тюркском мире одно время лидером был турецкий театр, но по художественным параметрам их театр сложно отнести к лидерам. Казань взяла на себя организацию "Науруза" — это огромная ответственность и одновременно политическая заслуга. Я однозначно могу сказать, что сегодня лидером является Татарстан и Татарский театр имени Камала».

Тысяча дыханий и один голос

«Вывести результаты «Науруза» за рамки фестиваля, чтобы он не остался ритуальными плясками в резервации».

Виктор Калиш

Есть театры, которые не могут себе позволить визит на фестиваль. У них просто нет на это денег. За пределами нашего рассмотрения остались Дагестанский кумыкский музыкально-драматический театр имени Алим-Паши Салаватова, Гагаузский драматический театр имени М. Сакира (Молдова), Крымско-татарский музыкально-драматический театр (Симферополь) — которые появлялись разово. Крымско-татарский театр ярко заявил о себе в 2002 году спектаклем **«Кармен»** по новелле Проспера Мериме. Он не был совершенным: действие то и дело выходило из берегов, захлестываясь музыкально-танцевальным половодьем. Однако публика, собравшаяся в Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина, устроила крымским татарам часовую овацию, перешедшую в митинг. Критики не разделили этого восторга, прозвучало замечание о недопустимости митинговых страстей, чуждых настоящему искусству. Но жюри не смогло не поощрить фаворита зрительских симпатий: спектакль из Симферополя получил Гран-при, а Алия Амирхаева (Кармен) стала лучшей исполнительницей женской роли.

Но и без театров, не балующих «Науруз» регулярным участием, из обзора казанского периода Фестиваля тюркских театров возможно вывести кое-какие закономерности.

Новейшее время привнесло нивелирующие тенденции глобализации, испыта-

ние многообразием возможностей. В такой ситуации обращение к традициям для тюркских театров стало последним шансом выработать самобытные формы, выйти к истокам своих потенциальных возможностей. Поэтому некоторые театры обращены в прошлое, выполняют функцию сохранения фольклорного и исторического наследия в стилизованном виде. Поначалу к этой тенденции тяготели хакасский, азербайджанский, алтайский, туркменский театры.

А вот татарский, башкирский, якутский театры всегда предпочитали жить сегодняшним и будущим. Фольклор в чистом виде, иллюстрация обрядов им не интересна. Это меняет подход к постановочной работе, требует нового сценического костюма, выходящего за рамки фольклорно-обрядового, даже социально-бытового.

Еще в 2002 году Виктор Калиш как положительный отметил процесс углубляющейся децентрализации, регионализации тюркских театров, которые не держат курс на имитацию той или иной русской школы, а развивают свои особенности.

Также «Науруз» выявил странную закономерность: мелодика языка, древние речевые структуры и пентатоника слабовато объединяют тюрков. Как язык межнационального общения — в данном случае обсуждения спектаклей — побеждает русский. Это видно по преобладанию фамилий членов коллегии критиков «Науруза». В ее составе по большей части авторитетные театральные критики Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, гораздо меньше — Казани и Уфы. Театроведы Турции, Азербайджана и республик Средней Азии появляются эпизодически.

Таким образом, на «Наурузе» оценка спектаклей основывается на европейских эстетических представлениях, и, соответственно, похвалу получают спектакли, лучше всего соответствующие именно западным канонам театрального искусства. Бесспорно, они того заслуживают. Но вместе с тем оригинальные, самобытные постановки, создатели которых не идут проторенным путем, а ищут свой, выстраданный сценический язык, не всегда встречают понимание. Они привержены к декларации красоты, которая является особенностью восточной ментальности, имеющей позитивистские ориентиры. В искусстве тюркских стран с трудом приживаются такие эстетические категории, как «безобразное», «низменное», «ужасное». Это отметил мудрый Виктор Калиш: «Существует зазор между русско-еврейской ментальностью и тюркским миром».

Может быть, организаторам «Науруза» стоит присмотреться к опыту других тюркских театральных форумов, например, к Международному театральному фестивалю «Тысяча дыханий и один голос», который проводится в турецком городе Кония; каждый театр-участник приезжает на него со своим авторитетным театроведом. При такой организации исключены попытки трактования богатства и непредсказуемости разных культур из некоего универсального центра.

Впрочем, вопреки общеизвестному «вначале было слово» азербайджанцы и гагаузы, башкиры и киргизы, казахи и турки, хакасы и чуваша на Фестивале театров тюркских народов понимали друг друга без труда, и всё благодаря невербальному языку театра — пластическим образам.

Что же касается участников из Российской Федерации и стран СНГ, бывших союзных и автономных республик, то им общий язык помогает находить не до конца утраченный стержень былой гражданской самоидентификации.

Портрет Дориана Уайльда

Рубрику ведет Лев Аннинский

Лицо, выразительно глядящее на нас с обложки, многозначно для знатоков. Прищур, в котором светское доброжелательство граничит со светским же высокомерием. Роскошная шевелюра, свисающая до плеч, с двух сторон одевающая лицо в рамку модного вернисажа. Для знатоков и так все ясно; для прочих любопытствующих — заглавие книги, звучащее как пароль: «Оскар Уайльд».

Книга издана в малой серии «Жизни замечательных людей». Насыщена английской фактурой до предельной плотности, а читается — легко и с каким-то даже задором. Чувствуется опытный автор: Александр Ливергант. Это его третья книга в «ЖЗЛ» — после «Редьярда Киплинга» и «Сомерсета Моэма». Своеобразное английское зеркало для нашего самосознания.

Строго говоря, Уайльд не англичанин. Ирландец! В иных внутрибританских разборках различие непременно. Но, явившись с берегов туманного Альбиона завоевывать Америку, блистательный импровизатор литературных собраний и законодатель эстетской моды не скрывает, что за плечами его — Англия.

По-настоящему-то любит — Францию (где и упокоится измочаленный жизнью, не достигнув пятидесяти и не дотянув до наступавшего XX века каких-нибудь четырех недель), но из Англии этого блестящего интеллектуального завоевателя вселенной не изъять.

Как не изъять Англию из истории нашего самосознания. Не только Россия — весь мир учился у англичан. Например, парламентаризму и логике выборной власти. Мы, правда, в области государственной кое-чему научились и у французов, например, свергнутых императоров ставить к стенке. Что же до этики, то замороженно созерцали загадочную викторианскую мораль, перенимать которую при нашей русской непредсказуемости не могли, и потому разоблачали ее с тем большей неистовостью.

Интересовался ли Уайльд Россией? Немножко. В сентябре 1880 года — дописывает пьесу из русской истории «Вера и нигилисты» и утверждает, что это «громогласный крик народов, требующих свободы». В России в эту пору идет громогласная охота на царя-освободителя, его вот-вот утробят. Выведя в своей пьесе нигилистку Веру (и заменив ей фамилию «Засулич» на более откровенно русскую «Сабурофф»), Уайльд полагает свою задачу выполненной.

Годы спустя он выказывает интерес к русской литературе, проницательнейшим образом охарактеризовав Достоевского.

Но не эти контакты существенны в нашем диалоге, а та поистине легендарная слава, которая разносится по читающей России (по рядам русской либеральной интеллигенции) уже после кончины кумира, когда до нас доходят его виртуозные тексты, и лучшие русские переводчики признают в нем (и справедливо) великого романиста.

Облик блестящего виртуоза слова и законодателя светской моды сохраняется в памяти наших (и зарубежных) ценителей изящного, хотя самые непримиримые ценители подозревают, что это мошенник, шут гороховый, фигляр и даже в известном смысле прохвост. Охмуритель публики.

Как теперь сказали бы, законодатель *тусовок*. Ливергант время от времени вставляет в свой текст современные словечки (каждый раз особо указывая читателям на эту вольность). Это важно потому, что по глубинному внутреннему заданию книга Ливерганта обращена не только к хранителям отечественной культурной памяти, но и к нынешним малопредсказуемым ее наследникам. Знающим, что такое тусовка.

Одно место из книги Ливерганта хочется особо откомментировать.

«Любимая тема — соотношение фактов и идей, к этой теме Уайльд возвращается постоянно: "Тот, кто уделяет слишком большое значение фактам, страдает нехваткой идей". "Нет ничего проще, чем собирать факты, и ничего труднее, чем пользоваться ими" — это нехитрое, в сущности, соображение повторяется не один раз. А вот та же самая мысль, выраженная куда более образно и витиевато: "Факты — лабиринт; идеи — связующая нить". И еще раз — но какова метафора: "Факты, — пишет Уайльд, — это масло, коим историческая муза питает лампу; однако свет дают не факты, а идеи"».

Подозреваю, что это рассуждение Ливерганта имеет скрытой мишенью общеизвестное ленинское: «Факты — упрямая вещь». И рискну заметить, что факты были для Ленина неотменяемой почвой именно потому, что у него имелась железная идея, которой надлежало стать материальной силой.

У Уайльда что же, нет идей, ради которых можно так пренебрежительно шутить с фактами? Да он же углубленно изучает философию древних греков! Он, попав в Лувр, часами простаивает перед Венерой Милосской, разгадывая секрет ее воздействия! И в лучшем своем романе — в «Портрете Дориана Грея» — объясняется исчерпывающе насчет идей, вложенных в роман:

«Не бывает книг нравственных и безнравственных... Не искусство подражает жизни, а жизнь подражает искусству... Искусство совершенно безразлично к фактам... Искусство и мораль несочетаемы...»

Прочтя такое, мы записываем Уайльда в декаденты и аморалисты. Что соответствует ситуации, когда пишутся энциклопедии и справочники в духе соцреализма.

Но в том же «Портрете Дориана Грея» ходом вещей вскрываются и противоположные закономерности. «Искусство дает ответы еще до того, как жизнь задает вопросы». Просто вопросы и ответы никак не сцепятся во что-то логичное. А только в нечто ложное. Поэтому надо выйти за пределы «ханжеской викторианской морали».

Прочтя такое, мы записываем этого героя в число жертв викторианского ханжества.

А вот и факт: в урочный час Уайльд «с помпой празднует бриллиантовый юбилей королевы Виктории».

И все это не мешает нам видеть в его наследии такое сцепление идей и такое бешенство фактов, которые уже после его смерти, став материальной силой, обходятся человечеству в две мировые войны.

Он до проклятого века не дожил. Но успел под самый конец жизни хлебнуть лиха. По причине, которая в наше время может показаться смехотворной. Сел в тюрьму за гомосексуализм. Да сегодня эти самые однополые связи уже и законами оправдываются...

А ему — за что такое наказание?

Объяснено. Не за то, что «содомит», а за то, что *вел себя как* содомит.

Повторюсь: книга Ливерганта адресована современному читателю.

Интересно: современный подражатель давешнему законодателю моды, завоевывая свою тусовку, что же, непременно станет извращенцем? Да нет же. Но *прослыть* извращенцем постарается. Чтоб заметили и оценили. Чтоб обратили внимание.

Чтоб на истину обратили внимание, напоминает Ливергант, надо перевернуть ее вверх ногами. Очень актуальная рекомендация. И куда менее опасная, чем во времена Уайльда. Он-то, попав в тюрьму, горько плачет. От вони, которой приходится дышать. От работы, которую приходится выполнять. А более всего, кажется, от тюремной стрижки. Лишившей баловня моды его неотразимой шевелюры.

По выходе из заключения сам он лучше всех сознает смысл произошедшего.

«Люди гибнут от греха гордыни. Я вознесся слишком высоко — и был втоптан в грязь».

Грязь можно стерпеть, если понимаешь, как говорил наш классик, что это грязь реальная.

Гордыню можно стерпеть, если понимаешь, что вознесясь над реальностью, никуда от нее не денешься. Она ждет тебя. Не чтобы втоптать, а чтобы дать опору.

Summary

The Golden Pages

Under this heading we recall in this issue some poems of the wonderful poet Yaroslav Smelyakov and the much-talked-about novel by Anatolij Ribakov "The Children of Arbat" which is reread by Evgenij Abdullaev.

Svetlana Maximova. The Humming-Bird Blues

In "the hard nineties" a young Moscow poetess went to Latin America to help an old Russian emigrant to sort out and systematize his voluminous family archives. She came back with heaps of manuscripts. And it's twenty years now that she has been "sorting out" her personal archives. We have published the first novel of her "Venezuelan Chronicles" in 2003. Here is the second one.

Poetry

In this issue we complete the little anthology of the modern Russian poetry of America "The Wind from the Hudson" undertaken by our magazine together with the magazine "Interpoetry". More than 20 poets of different generations living in the USA and writing in Russian took part in it. (See the beginning in "DN", 2014, 6).

We also present some poems by Alexander Kabanov from his new book "The Magi in the Planetarium" and — for the first time at our pages — lyrics by Irina Kotova.

Igor Bogatskij. The Notes of a Geologist

"Did any of you ever visit if only one nuclear proving ground? I have visited three," — so begins his notes Igor Bogatskij. Indeed, it's a reason to feel proud. But you'll find neither boasting nor heart-rending unmasking in the text. At the secret units as everywhere else the usual Soviet life was running. And that's what is interesting in "The Notes".

Yourij Kagramanov. The Phantom of the Law

The well-known publicist and culturologist is meditating on the subject of the revival of primordial and searching for new spiritual and moral reference-points in the modern western world.

Alie Alieva. Sketches of the Bygone and Today's Life of a Crimean Tatar from Uzbekistan

"In our class there are only three Russians but my grandson: Tolick Pak, Marat Garifulin and Arsen Adamyan," — told the grandmother of a boy in whom Jewish and Crimea-Tatar blood was mixed. To those who used to live in our multinational country there is no need to explain that the boys in question are a Korean, a Kazan Tatar and an Armenian.

Crimean Tatar Alie Alieva in her simple but fascinating and sincere essay through the life of her own family shows the long-suffering history of her people and the intricate interethnic relationships in today's Uzbek provinces.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На журнал «Дружба народов»

можно подписаться с любого месяца во всех отделениях

Почты России

подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» —

70250

подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» —

91826

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

В ближайшее время мобильная версия «ДН» станет доступной для электронных устройств на платформах iOS и Android

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой